

НИЖНИЙ  
НОВГОРОД

N I Z H N Y   N O V G O R O D   2 ( 9 ) / 2 0 1 6



ВАЛЕРИЙ  
ПЕТКОВ  
РИГА

4



ДЕНИС  
ЛИПАТОВ  
Нижний Новгород

58



АЛЕКСАНДР  
КАБАНОВ  
КИЕВ

63



АЛЕКСАНДР  
АМЧИСЛАВСКИЙ  
КАНАДА

67



ПАВЕЛ  
ТУЖИЛКИН  
САРОВ

90



ВЯЧЕСЛАВ  
КИЛЕСА  
СИМФЕРОПОЛЬ

95



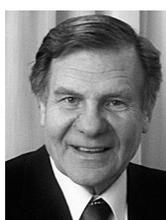
МАРИНА  
КУДИМОВА  
ПЕРЕДЕЛКИНО

107



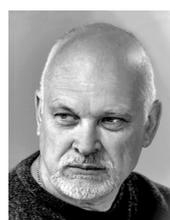
ТАТЬЯНА  
ВОЛЬТСКАЯ  
С.-ПЕТЕРБУРГ

116



АЛЕКСАНДР  
БОБРОВ  
МОСКВА

190



ВАЛЕРИЙ  
БАСЫРОВ  
СИМФЕРОПОЛЬ

198



ЕЛЕНА  
БАЗУРИНА  
Нижний Новгород

205



НИКОЛАЙ  
БЕНЕДИКТОВ  
Нижний Новгород

205



ЕВГЕНИЙ  
ЗРАСТОВ  
Нижний Новгород

216



ДМИТРИЙ  
ЛАРИОНОВ  
Нижний Новгород

249



ВЛАДИМИР  
ЯНЦЕВ  
Новосибирск

258

## В НОМЕРЕ

### Проза

<b>Валерий ПЕТКОВ</b> ХИБАКУША . . . . .	4
---	---

### Поэзия

<b>Денис ЛИПАТОВ</b> МЫ БУДЕМ ВЫХАЖИВАТЬ ЭТОТ ПРОСТОР... . . . .	58
<b>Александр КАБАНОВ</b> ЛЮБЛЮ У ПУШКИНА СОВЕТСКИЕ СТИХИ... . . . .	63
<b>Александр АМЧИСЛАВСКИЙ</b> В ТУ НОЧЬ БЫЛ ДОЖДЬ... . . . .	67

### Проза

<b>Марина ВОРОНИНА</b> ПОПУТЧИЦЫ . . . . .	72
<b>Роман БОГОСЛОВСКИЙ</b> В ПОЛЕ . . . . .	82
<b>Павел ТУЖИЛКИН</b> ДУРАЧОК . . . . .	90
<b>Вячеслав КИЛЕСА</b> НЕВИНОВНЫЕ . . . . .	95

### Поэзия

<b>Марина КУДИМОВА</b> ВРЕМЕНИ НЕТУ, ДА ЖИЗНЬ КОРОТКА... . . . .	107
<b>Татьяна ВОЛЬТСКАЯ</b> НЕ РАЗУМА ПРОШУ – ПРОШУ БЕЗУМИЯ... . . . .	116

### Публицистика

<b>Сергей ЕСИН</b> ДНЕВНИК-2014 . . . . .	121
<b>Юрий НЕМЦОВ</b> ЗВУК . . . . .	184

### Юбилей

<b>Александр БОБРОВ</b> ТОСКА ПО КРАСОТЕ К 80-летию Виктора Лихоносова . . . . .	190
--	-----

## Стихи по кругу

<b>Людмила ТОБОЛЬСКАЯ</b> . . . . .	196
<b>Денис БАЛИН</b> . . . . .	196
<b>Валерий БАСЫРОВ</b> . . . . .	198
<b>Мстислав ШУТАН</b> . . . . .	200
<i>Стихи лауреатов VII бард-фестиваля «Музыка сердец»</i>	
<b>Нара ФОМИНСКАЯ</b> . . . . .	202
<b>Ольга ТЕЛИЦИНА</b> . . . . .	203
<b>Ирина АНТОНОВА</b> . . . . .	204

## Вехи памяти

<b>Елена БАЗУРИНА, Николай БЕНЕДИКТОВ</b> ШАЛУНОК У БОГА К 160-летию со дня рождения Василия Розанова . . . . .	205
<b>Евгений ЭРАСТОВ</b> ОДИНОКИЙ ВОЛК РУССКОЙ ПОЭЗИИ Воспоминания о Юрии Кузнецове . . . . .	216
<b>Рива ЛЕВИТЕ</b> «В НАШЕМ КРУГУ ЦАРИЛИ ПРАВДА И ИСКРЕННОСТЬ» . . . . .	233

## Литпроцесс

<b>Роман СЕНЧИН</b> ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ . . . . .	244
<b>Дмитрий ЛАРИОНОВ</b> МАРИЕНГОФ, КОРНИЛОВ, ЛУГОВСКОЙ. ТРИПТИХ О книге Захара Прилепина «Непохожие поэты» . . . . .	249
В ЭТОЙ КНИГЕ ЖИВУТ ЛЮДИ. ЭТО МЫ О новом сборнике стихотворений Алика Якубовича «Быть» . . . . .	252
НИШТЯКИ МАКОШИ О сборнике прозы Олега Макоши «Нифиля и ништяки» . . . . .	256
<b>Владимир ЯРАНЦЕВ</b> НЕСЛАБАЯ КНИГА «Жених и невеста» Алисы Ганиевой. Из дневника . . . . .	258

## Валерий ПЕТКОВ

Родился в Киеве в 1950 году. Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации. Работал на предприятиях Риги, в редакциях газет, редактором главной редакции информации Латвийского радио, занимался радиационно-химической разведкой в Чернобыле.

Публиковался в изданиях «Сибирские огни», «Белый ворон», «Северная Аврора», «Особняк», «Хрустальная медуза». Автор книг «Скользкая рыба детства», «Мокрая вода», «1000 + 1 день», «Бегал заяц по болоту...», «Старая ветошь», «Оккупанты», «Камертон». Живёт в Риге.

Роман «Хибакуша» публикуется в журнальном варианте.

## ХИБАКУША

*Эта книга о первых, самых трагических днях и неделях после катастрофы на Чернобыльской АЭС.*

*О подвиге и предательстве, преступной халатности и благородном самопожертвовании, о верности и вероломстве, о любви и Боге.*

Автор

Свистопляска с ликвидацией последствий в Зоне в какой-то момент стала для меня привычной, рутинной. Будто всё это происходит, но не со мной.

Пока однажды – старлей, этот сумасшедший!

Из штаба сектора. Залихватский, стремительный наскок.

Примчался в полк таким чёртом, вместе с ротным к комполка, в палатку штабную заскочил накоротке. Всё – бегом. Взбудоражил роту, мол, оперативный дежурный срочно требует уточнить обстановку. Академик прилетел, требует свежие данные.

Обстановка постоянно менялась. Зависел этот процесс от многого. Прежде всего погода. Самые простые факторы – ветер и дождь.

И – пыль, конечно.

Наша рота радиационно-химической разведки обследовала плановым порядком Зону, делала замеры, наносились данные на карту.

И вот – он! Экипаж быстро выкликнет, построит, инструктаж короткий и – вперёд! Труба зовёт!

Беспокойный старлей – право слово.

И всё норовил проехать через «рыжий лес», от виадука в город Припять, направо от станции Янов и неширокой полоской вдоль бетонно-

го забора АЭС. Влево – Мёртвый Город Припять. Можно было с этой стороны к блокам проскочить. Сразу через горбатый путепровод, если через город. Мост сильно фонит. И ничего с ним уже не сделать. Легче разобрать, чем дезактивировать.

Всё-таки через Янов не так опасно, как через Припять. Особенно – первый микрорайон сильно запачкан. Старались его объезжать, лишний раз без надобности там не появляться.

Грунт в «рыжем лесу» сняли уже метра на полтора, опасность – реальная. А он – упрямый! Словно и не видит этого...

– Вперёд, боец! – кричит старлей водителю. Красивый, как бог, на фоне безоблачного белого неба. Ветер ему в лицо и оглобля в бок.

Мимо брошенных вагончиков строителей. Лысых собак.

Расступались деревья, взбегали на живописный склон, и вот она, деревня Чистогаловка. Дальше, вправо – Киев. Осталась деревенька на стороне. С холма прекрасный обзор на страшную, зияющую развалину четвёртого блока.

Труба – горизонтальные красно-белые полосы. Красные обозначают «советский», белые – «мирный атом».

Я буду сюда возвращаться – потом.

А пока – двойной поворот. Сначала направо. Потом резко налево и – вдоль всех четырёх блоков. В белёсой такой мути. И странное возникает ощущение – нереальности, эйфории оттого, что ворвались в некую запредельность, и жутко интересно – чем наш очередной налёт закончится?

В висках стучат молоточки, в кислород что-то подмешалось незаметно, пока мы суетились, приборы включали.

Блоки в одну линию соединены последовательно. Чудом эта «бомба» из четырёх реакторов не взорвалась тогда.

Два страшных пожара было в мае. Про них в новостях не говорили. Но это отдельная история.

Самое первое сообщение, на фоне кусочка географической школьной карты за спиной диктора – длилось семнадцать секунд. Программа «Время».

На компьютере слушаю, раз за разом...

Нумерация блоков от речки Припять. Мы вылетали с другой стороны, на тот самый, четвёртый, раскуроченный. И дальше, к первому, у реки. Асфальт зыбкий, даже сидя в машине, ощущаешь, какой он горячий.

Потом резкий разворот – «газон» чихает, вот-вот заглохнет. Воздух звенит невидимой струной на пределе натяжения. Так бывает, когда под линией высоковольтных проводов проходишь и волосы дыбом на голове произвольно поднимаются: сейчас начнут искрить, потрескивать бенгальскими огнями.

Замолкаем, просто верим в удачу. Всё внимание сосредоточено на том, как ведёт себя движок.

Потом кричим – у-р-р-ра! Вынес – верный «конёк-горбунок». Не заглох! Советский – значит надёжный.

Так нам говорили.

Пётр, водитель, бывший «афганец», скалится. Лицо белое, длинный нос, рванный кривой шрам розовеет слегка. Худой, жилистый. Глаза безумные – руль у него и судьба наша тоже.

Душман!

Все как сумасшедшие становились, неузнаваемые – в эти мгновения.  
Жара сильная, вода с нас течёт!

Упоение на краю бездны – рухнем или нет?

Пока четвёртый блок в декабре не закрыли саркофагом. Мы этого уже не застали. К июлю – наелись нуклидов, от шейки до хвоста!

Заменили нас в плановом порядке.

\* \* \*

Даже сам удивлялся – ну почему меня это всё не беспокоит? Особенно первое время после возвращения задавался постоянно этим вопросом. Потом и думать перестал про все эти страсти.

Вроде – забылись, начисто. Только через много лет стала какая-то муть брезжить, блажить, при переходе границы яви и сна. Такой же мутный обморок. Наплывает вкрадчиво, беззвучно – туманом сначала, потом потрескивание характерное нарастает. Как там, в разведке.

Я это ни с чем не спутаю!

А уж потом – долбит в подкорку, склёвывает невидимый дятел зёрна нуклидов.

Они всякий раз – другого цвета. Их много, ватные, невесомые, как попкорн, только мелкие очень. Не шуршат, лишь дозиметр потрескивает где-то рядом, как дрова смоляные в костре.

Бликуют, слепят. Дождём-сеянцем. Ждёшь звуков, шуршания, а ничего нет! Тишина. Падают, падают, засыпают меня. Пока дышать не становится трудно. Тяжесть на грудь наваливается, хотя каждая частица кажется бестелесной. А все вместе – плита железобетонная.

Звонко, клювиком тонким, изящным – тук-тук, тук-тук. И всё не успевают склевать их эта птица невидимая. Их подсыпает кто-то сбоку, подсыпает. Я ладони подставляю. Зёрна микроскопические блестят лаком, переливаются, сквозь пальцы сыплются. Я спешу, боюсь наступить, испортить их глянец, представляю, как они обидно захрустят под ногами, складываясь в красивые снежинки.

Кроваво-красные. Почему?

Напрягаюсь. Одеревенелой плахой лежу, руки-ноги не ощущаю. Мышцы свело. Руки массирую – не чувствую себя. Ляжки в это время пульсируют, икры – ходуном. Сами, произвольно. И не могу унять эту трясучку. Как шаровары свободные, широкие на ветру полощет. Противно от бессилия.

Злость гонит с кровати. Вскакиваю и хожу – босиком, чтобы мышцы занять, загрузить напрягом.

Мышечная дистония.

Невозможно терпеть эту боль. И хожу, хожу – по комнатам, на кухню загляну, в коридорчик сунусь к подоконнику, на двор поглазею. Воды попью. Стараюсь тихонько, чтобы никого не разбудить.

Мышцы сперва не чувствую, потом они становятся пластичными, успокаиваюсь.

Говорят, если ноги в воде судорогой свело, надо опуститься и резко оттолкнуться от дна. Или булавкой мышцу уколоть, снять напряжение. Это – спасение.

Обычно около трёх часов ночи просыпаюсь. Скорее – в пол пятками упереться. Вынырнуть.

И сна как не бывало. Да и был ли это – сон? Если не принёс он отдыха...

Доктор сказала – молочной кислоты в мышцах мало. Выписала лекарство. Вот я зёрнышко алпразолама – бледно-зелёное, крохотное, маковое – проглочу! Дня два-три таблетка действует. Даже днём в сон гонит. Часа на два могу отключиться. Ночью потом мучаюсь от бессонницы.

Думаю – ерунда это всё, с кислотой. Это мышцы вспоминают мой... свой бег, напряжение, усилия, которые тогда пережили. Тогда. Это же был пик моей жизни! И по возрасту, и по смыслу!

Даже камни имеют свойство запоминать. По-своему, конечно.

Это сейчас я несусь очумело. С горушки, с высоты возраста, и нет никаких блоков, изгаженных липкой, вкрадчивой смертью нуклидов. Есть – скромная пенсионная «хлебная карточка». А страшно-то именно сейчас, а не тогда! Хотя давно уже гоню прочь плохие мысли. Может быть, поэтому и прожил столько годов после Чёрной зоны.

При «засорённых фильтрах» организма – печени, щитовидке, почках.

Официальный диагноз: «Эрозия поверхности нервных окончаний».

Опять они – нервы. В них всё дело.

Взрываюсь до ослепления вроде бы от безобидной ерунды. Постоянно это меня настигает без всякого предупреждения.

Вот оно как страшно: со временем – возвращается содеянное, пережитое. А быть может, это время возвращается, чтобы понять, что же было на самом деле?

А тогда – дух захватывало! И покалывание в ступнях, кончиках пальцев рук – опасность, адреналин! Страх отступал куда-то! Да не было его – вовсе!

Мышцы молодые, упругие, стальными листами торсионов скручивались, чтобы распрямиться, принять на себя удар, ответить на него. Восстановить первоначальное положение. И двигаться дальше – железным маршем.

Сминались пластины, а мы задыхались от переизбытка сил и собственной крепости. Смеялись. И верили беззаветно в то, что так будет всегда.

Сверхчеловеки.

Мы много тогда смеялись. Весёлая удадь обречённых.

Да и уверены были – никогда не устанем в этом изматывающем «заезде».

Может, от небольшой дозы радиации так происходит?

И мы, бесконечно смешливые идиоты – окна эрхашки – нараспашку, брезент почти белый, выгорел на солнце, трепещет, хлопает по раме – аплодирует героям! Бывало, и без респираторов даже! Вопреки всем инструкциям.

Гортань сухая, жёсткая, горло трубой гофрированной, губы пересохли, ошмётки с них зубами рвём, закусываем выпитое зелье.

Глотаем этот смертельный коктейль на полной скорости, зонды приборов высунули наружу, стрелки дозиметров скачут, в наушниках треск – высокий уровень! Ну – ещё глоток! Один – хмелея от её неуловимости, понимая страшную сердцевину – но отодвигая мысленно последствия! Слишком они умозрительны, невидимо растворены в зыбком, густом, тягучем зное.

Под белым небом Зоны.

А вдруг барабан крутанётся чуть-чуть быстрее? Хорошо смазан! И – мимо пронесёт, а эта ячейка окажется на удачу – пустой! И нет в ней мягкого, тупого сосца пули, к которому припадём напоследок! Где-то

он рядом, для другого раза? Другого человека? Кого-то, кто сейчас сидит рядом и смеётся! Не ведая этого. И мы – не ведаем, что творим, в забыты добровольного наркоза.

Любимчики Зоны – химики-разведчики! Гордость полка гражданской обороны. Сталкеры-ликвидаторы.

Нукледаторы, сами себя в шутку окрестили.

Веселуха в разгар чумы! Смешно – череп бы не лопнул, не раскололся от напряжения. Смех разряжает внутреннее давление. И оглушает от частой беспричинности.

От смеха умереть – что же тут героического? Это прививка от смерти героической в грязной Зоне.

Только там всё – страшнее и проще. Дышишь, а радиация рубит хромосомы, гасит аминокислоты, прожигает насквозь «ядерным загаром» – до черноты обугленной головешки в костре.

Поломанные, искрошенные, жалкие кирпичики в основе фундамента жизни – гены. И не существует какой-то малой, безопасной дозы ионизирующего излучения, от которой риск заболеть, даже лейкозом, был бы равен нулю.

Мы все повязаны одним, но каждый будет спасаться, отползать в одиночку из общего окопчика.

Как говорил Фома Аквинский в книге «О смертных грехах»: «Но у человека всегда есть выбор между добром и злом».

Алпразолам – лекарство хорошее. Только не надо часто применять. Не чаще раза в три-четыре дня и делать перерыв. Иначе проблемы будут. Теперь уже – с психикой!

Часто просыпался я с пересохшей глоткой, не чувствуя языка, гортани. Жевал эту деревянность, лёжа на белых простынях, не ощущая вкуса.

\* \* \*

И вот – этот старлей, помначштаба, «чёрт на жёрдочке» – нет-нет да и вспрыгнет! В моё сегодняшнее, плавное житьё-бытьё.

Белозубый, красивый! Глаза – васильковые! Кинозвезда! Мотор – пошёл!

Я не знаю, когда это пришло. То есть не смогу точно назвать день, час, во что я был одет, в котором часу проснулся, выпил ли зелёный чай, как обычно.

Впрочем, там и тогда одет я был в гимнастёрку, сапоги, пилотку.

Была весна. Это – точно! Май, начало – месяц наших «крестин» в Чёрной зоне. Весной со многими что-то происходит. И ко мне это явилось.

Не сразу.

В то утро старлей ко мне вернулся. И беспокойство пришло вместе с ним.

Лежу, и кажется – нет стенок в спальне тесной! Потянуло не удержиимо в Зону выехать! За горло схватило это желание вместе с наваждением. И – такая тоска. Вряд ли оно реально исполнимо, это желание.

Но – мечтается вновь там оказаться, желаниям запрет неведом.

Бойтесь желаний, они исполняются.

Где он, старлей, сейчас? С такой белогвардейской фамилией... кажется – Свинцицкий... или Сосницкий... Даже имени не помню, толь-

ко фамилия осталась в памяти, да и та порой куда-то теряется, потом снова всплывает.

Щеголеватый, подтянутый. Столько в нём благородства, какого-то... старинного, настоящего! Не здешнего, не советского!

Из другого времени прислали в командировку – удаль продемонстрировать, показать, как надо не бояться врага! Любого. Даже самого сильного и коварного! Отец – солдату!

Сплошное благородство, до корней волос. Так им и лучится.

И не хочется ему лишний раз вопросы задавать! Надо занять своё место в экипаже, согласно расчёту, и мчаться на всех парах – в Зону! Хоть на смерть! Ур-р-ра, вперёд!

Не волноваться за себя, только за дело, а про медали не думать – вовсе.

Он тогда раньше нас всех понял, какой это кайф, настоящее упоение от погони за коварным, невидимым врагом! Промчаться вдоль всех блоков, невзирая на опасность!

И вот мы несёмся чертенятами следом, смеёмся, кричим несурзное, друг от друга заводимся, натурально – пьяные!

Потом сильнейшая опустошённость, ступор.

Горят веки, натёртые невидимым песком, ломит виски. Внутри у каждого разгорается негасимый костёр.

Твой личный костерок.

А общий психоз проходит. «Психическая атака» захлебнулась! До следующего раза.

«Ядерное бешенство»! Ложный свертонус нервной системы.

Депрессия. Потом – неоправданные, необузданные вспышки гнева. И промежутки между ними всё короче, короче. Пока вообще не превращаются вспышки в один сплошной удушающий психоз.

Причина? Радиация с кровотоком несётся к самым тонким нервным окончаниям, вкрадчиво движется по ним, добегают до самых дальних, тончайших, исчисляющихся миллионами. Постоянно течёт, забивает кровотоки невидимой дрянью, как речка, которая наносит тихим течением ил.

Густой, пульсирующий воздух – кипящий компот большой дозы радиации. Он входил в нас властно невидимым ядом, завораживая, и не было сил сопротивляться.

Сильнейший наркотик!

Старлей тот первым подсел на него! Хотя и слова такого тогда не было в нашем лексиконе.

Позже оно пришло в «массовое советское сознание».

Иногда думаю – может быть, сомневался старлей, вдруг откажемся ехать? Не захотим совать башку в самую пасть, на погибель. Кому охота! Там же считанные метры оставались до этой «пасти» раскуроченной, до взорванного блока.

Вот он – знаменитый, возвышается над бетонным забором. Весь мир увидел его на фото.

Многих хватали за руки и вели в военкоматы. Но потом-то пришло осознанное желание – сделать своё дело. Кто-то откосил, но и тех, кто честно отпахал – тоже было достаточно!

Мешки с карбидом, песком, гранитным щебнем, свинцовой дробью – с вертолётов...

Жерло пульсирует малиновым, негасимой топкой. Сотни рентген. Всё, что высыпали, смертельно рискуя, – тысячи тонн песка,

гранита, свинцовой дроби – поднимается вверх невесомыми ядовитыми хлопьями.

И оседает где-то. Где?

Рыскаем по всему сектору, засекаем, сообщаем по радиии, где разлеглось.

Коричневым латексом сверху поливают территорию самолёты: пыль – один из главных врагов. Потом дождик пройдёт, нескоро, но прольётся обильно, и земля примет в своё лоно отраву, понесут её воды грунтовые далеко, другим на погибель.

Люди кладут в вёдра, носят – куски графитовых твэлов, искорёженные циркониевые оболочки. В ящики специальные сыпают этот страшный урожай. Утилизировать.

Чистят территорию, крышу. Разлёт большой циркониевых трубок, в которые таблетки радиоактивные засыпали. Потом они спеклись от температуры в сплошную массу, внутри трубок.

Твэлы – тепловыделяющие элементы причудливой формы, в которых происходит деление тяжёлых ядер урана-233, -235, -239; плутония-239.

И мы – с «трёхлинейкой» против танковой колонны!

Ничего потом про этого загадочного старлея не слышал. Каждый год встречаемся, расспрашиваю наших – плечамижимают неопределённо.

Мы так рвались попасть с ним в один экипаж! Это был знак особенной доблести и невероятного доверия – сгонять в «Чернуху» со старлеем.

\* \* \*

Весна пришла. Та самая, беспокойная.

Решил – надо звонить срочно, с кем-то поделиться, а не то черепок лопнет, взорвётся от напряжения.

Захотелось вдруг съездить в наши старые казармы. Откуда вся эта история началась. Куда привезли в автобусе, ночью, из военкомата.

Позвонил Егору – второму взводному. У него «бамбук-седьмой», навороченный. Ехать-то всего ничего. До окраины города полчаса да оттуда столько же. Озеро большое обогнуть.

Егор обрадовался, согласился, даже загорелся этой идеей. Он в морском порту, бригадир грузчиков.

– Ты не переживай, я сам позвоню.

И пропал, Змей Горыныч, на всё лето. Мол, работы выше головы.

Думаю тогда, надо Гунче позвонить. Гунтису – первому взводному. Он всё поймёт как надо. Он вот такой – правильный, но не противный, а организованный в главном.

Предложил съездить на пару, на автобусе. Тем более что проезд бесплатный.

Пчёлами занялся Гунтис. Так что всё опять отложилось.

Позвонил Саня Бармин – ротный наш бывший. Договорились. Встретились в кафешке. Чай зелёный попили. Он рассказал, как клапан сердечный ему заменили в известной клинике.

– Я теперь там всех знаю! Могу тебя устроить.

Добрая душа.

– Спасибо, Санёк, такой блат мне не нужен!

И разбежались по домам.

Неловко мне стало – чего большого беспокоить!

А мне так невыносимо захотелось окунуться вновь в произошедшее когда-то. В Зону съездить нереально, но увидеть бывшую в/ч, из которой нас отправляли на ЧАЭС – вполне.

С соседом Семёном потолковал, он тоже инвалид, по профнепригодности.

Едем на его «ласточке», радуемся оба.

Предчувствую, что одни развалины меня встретят, в снегу – ну что я там разгляжу? А всё равно...

Так и оказалось.

Немного меня расслабила эта экскурсия. И потянуло на воспоминания.

Тут Саня позвонил:

– Слышал, зам? Полищук объявился. Сколько лет ни слуху ни духу, а тут – вот он!

– Я уж думал, он в ямку завалился. В железобетонном гробике, чтобы не фонить на погосте. И где же носило этого бисова сына?

– Сроду не отгадаешь!

– Слышал, что он вроде бы с женой развёлся. Кого сейчас этим удивишь! Ты, командир, не тяни Яшу за...!

– В Чёрной зоне! Где-то за Диброво, не доезжая Лубянки. Точно не скажу. Развёл там сад-огород! Письмо прислал... До-во-о-олен!

– «Невидимый град Китеж».

– Где?

– Это я так, к слову. Ну, он всегда был хозяйственный. Должно быть, одичал, озверел там – в лесах?

– Нет! Вполне себе ништяк. Живёт с какой-то тёткой местной. Подженился. Говорит, что давно с ней познакомился. Ещё когда был ликвидатором. Здесь квартиру жене, дочери – всё оставил. Натуральное хозяйство там развёл – куры, живность. Я не могу! Ты чё-нибудь понимаешь, зам?

– Что-то такое было. Он мне, правда, особенно не рассказывал.

– Слышишь, – засмеялся Саня, – пишет – не могу без этого жить! Ты понял?! Зараза какая, а? Психбольной!

– Врачи утверждают, что среди «чернобыльцев» стало меньше суицида, но возросла онкология. Иммуитет сильно ослаблен.

– Полищук там законсервируется окончательно.

Распростились с ротным.

Я же не удивился поступку Полищука, и была на то причина.

Только ещё сильнее потянуло в Зону.

С этого дня старлей уже не уходил, всегда был рядом.

– Ты в порядке? – прервал мою задумчивость Семён.

Кивнул ему головой, улыбнулся. Хороший человек – мой сосед!

\* \* \*

...Полищук. Сержант... высокий, белобрысый, улыбчивый и исполнительный. Дозиметрист. Я – замкомроты РХР, лейтенант запаса, Владимир Викторович Петраков...

Обезлюдившее село. Радио на столбе бормочет сонно, колокольчик-говорун, вещун белибердени, бодреньких новостей.

На заборе выцветший боевой листок: «...Сегодня при зачистке заражённой территории отличились...» Фамилии, бойкий рапорт о том,

что скоро люди вернуться в свои дома, снова заживут, как прежде, а в перспективе – ещё лучше.

Стоят огромные ульи. Сад. Гудят пчёлы. Ветки яблонь клонятся к земле. За сараем военный «виллис» врос в зелёную траву.

Какими извилистыми дорогами времени занесло его сюда и сохраняло так долго?

Химрота провела обеззараживание. Сотни людей привезли на грузовиках. Соскоблили лопатами верхний слой во дворах, на дороге. Зачем? Если всё остальное вокруг: сад, воздух, крыша, деревья – «грязные». Какой смысл вывозить землю, гонять заражённую пыль?

Взрыв страшной мощности разрушил стены клетки, безумный зверь вырвался, неуправляемый, и пространство стало другим во времени. Исказилось непоправимо.

А бороться вышли с лопатой наперевес.

Глупость смешна до трагичности.

Вырезка из газеты «Правда» прикинута под стеклом доски объявлений. Крупный заголовок. Буковки мелкие.

### ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В Чернобыле в доме номер 61 по улице Советской, где раньше размещалось районное управление Госагропрома, начал работать Припятский горком партии. Он переехал сюда из Полесского, где временно находился после эвакуации из Припяти.

– До АЭС рукой подать, – говорит секретарь горкома А. Веселовский, – теперь мы в самой гуще событий.

Едва перебравшись на новое место, немедленно развернулись отделы организационно-партийной работы, промышленно-транспортный, пропаганды и агитации, партийная комиссия. Всего в Припятской городской партийной организации состоит на учете 2611 коммунистов, до сих пор установлено местонахождение 2434 человек. Из них в районах, где разместились эвакуированные, находится 207, на работах по ликвидации последствий аварии занято 442 человека, а остальные выехали временно в другие места, в командировки.

В этот же дом переехал из Полесского и исполком Припятского городского Совета народных депутатов. Здесь, вблизи города, его председатель В. Волошко чувствует себя гораздо увереннее, но и озабоченнее. Припять – вот она, рядом, со всеми её многочисленными проблемами покинутого населённого пункта. Главная сейчас забота городских властей – организовать жильё, питание, быт тех, кто будет обслуживать осенью первый и второй энергоблоки, которые планомерно начнут давать электроэнергию.

Пока решится вопрос о месте, где будут постоянно проживать вахтовые бригады, работающие на АЭС, решено разместить их на нескольких комфортабельных туристических теплоходах, которые будут сняты с рейсов и подогнаны по Днепру к Припяти. Уже сейчас надо продумать, где их пришвартовать, как подвести электроэнергию, связь, как обеспечить продовольствием, организовать питание. Проблема эта давно уже назрела, ибо пионерский лагерь «Сказочный», откуда бригады уходят на АЭС, перенаселен в 2,5–3 раза, а комплекс «Лесная поляна» находится далеко от Припяти.

Чернобыль не сравнить с тем, каким мы его видели в первые дни мая, когда он был полностью эвакуирован. На улицах сейчас оживлённое движение, работают кинотеатр, Дом культуры, в котором выступают бригады киевских артистов, организованы выставочные пункты, на улице можно в киоске купить свежую газету. В центре населённого пункта открыт пресс-центр, где получают нужную информа-

цию корреспонденты газет и журналов. Оживление царит и у местного ресторана «Припять». Здесь теперь столовая...

Правительственной комиссией создана группа по координации деятельности оперативных подразделений и ведомств СССР и УССР по приёму, размещению, организации питания, медицинского и бытового обслуживания всех прибывающих в район аварии. Мы присутствовали на первом заседании этой группы, которую возглавляет член коллегии Минэнерго СССР, начальник Главэнерго Д. Проценко. Руководители Припяти и Чернобыльского района высказали на заседании ряд конкретных претензий к членам группы. Говорили, что Минэнерго должно в новых условиях проявить максимум оперативности и распорядительности по организации приёмки предприятий, размещения, питания, медицинского, бытового обслуживания прибывающих людей. Особый счёт предъявлялся к начальнику Главурса Минэнерго СССР М. Хатину, на котором лежит большая ответственность за то, чтобы люди, работающие в зоне АЭС, были обеспечены всем необходимым.

Надо, чтобы каждый член группы, а это всё люди, занимающие высокие посты, заявил заместитель председателя Киевского облисполкома Н. Степаненко, был закреплён за определённым участком работы и конкретно отвечал за него. Практически же положение таково, что один кивает на другого, и все вместе занимают разговоры, в которых даёт о себе знать потребительская тенденция.

Заседание проводилось в кабинете председателя Чернобыльского райисполкома, и после того как оно закончилось, мы разговорились с его хозяином А. Щёкиным. Развернув на столе карту, он сообщил, что из 61 населённого пункта района, например из Горностаёполя, Дитяток, Страхолесья, люди не были эвакуированы, так как уровень радиации здесь был нормальным. В связи с огромной работой, проводимой на АЭС, степень радиации снизилась и в ряде других пунктов. После необходимой дезактивации решено возвратить часть эвакуированного населения в сёла Глинка, Замошье и Бычки. Это около 260 семей, работавших в совхозе «Комсомолец Полесья» и колхозе «Заповит Ильича». Сейчас они находятся в Бородянском районе.

Это отрадно. Люди ждут возвращения в родные места. В Чернобыльском районе возобновлена деятельность Госагропрома. Создан штаб, который руководит работой механизаторов. В колхозе «Шлях до коммунизму» строится база для техники, которой будут перепахивать землю. Анатолий Петрович Щёкин сообщает, что будут перепаханы лён, люпин, озимые культуры, скошенные с определённых площадей, пойдут после проверки на корм скоту. Все площади, которые должны были засеять кукурузой, займут многолетние травы. На картофельных плантациях будет проводиться обработка междурядий.

Руководители Припяти и Чернобыльского района говорили нам о том, что невнимание Минэнерго к вопросам жилья, быта, питания людей очень мешает делу. У строителей АЭС есть свой ОРС, но у него сейчас очень мало людей. Значит, надо искать их, заполнять существующие штаты. Ведь тысячи и тысячи людей шлют сюда заявления с желанием помочь АЭС, поработать на ликвидации последствий аварии. Говорят, нет жилья, но в Чернобыле, например, стоит недостроенный 95-квартирный дом. Почему бы Минэнерго не взяться за окончание строительства и ввести его в эксплуатацию?

Не за горами зима. Мы много слышали разговоров о топливе, в Чернобыле есть незаконченная строительством котельная на 45 гигакалорий. Почему бы не взяться Минэнерго за неё и не ввести в строй? Сейчас в Чернобыле много говорят о саночистке – в райисполкоме лежит готовая проектная документация на строительство очистных сооружений на 4,5 тысячи кубометров в сутки. Об этом говорили работникам Минэнерго, но ответа пока нет. Как и нет конкретного желания вмешаться, принять на себя груз ответственности.

Безусловно, сейчас на промплощадке идёт героическая трудовая битва, и энергетики там в первых рядах. Но ведь Минэнерго СССР – штаб отрасли, он должен думать не только о сиюминутных важнейших задачах, но и о том, что будет завтра, через месяц, через год. Думать о жилье, питании, бытовом обслуживании. А сейчас положение, например, с организацией питания далеко от желаемого. Вряд ли терпимы длиннющие очереди у этих пунктов. Словом, есть над чем задуматься.

М. ОДИНЕЦ.  
(Спец. корр. «Правды»)  
Чернобыль.

Вчитался внимательно, стало скучно.

Бумага выгорела, коричневая, буквы на этом фоне трудноразличимы.

Вокруг припылённые дома, старые, потемневшие, давно не пробежали по ним влагой обильные дожди, не стряхивали пыль. Буйная, беспорядочная зелень заполонила самозахватом дворы, улицы, только жёлтые колеи остались кое-где узкими полосками.

Солнце на закате, июнь. Какое отношение к аварии имеет то, что на этом «горчичнике» написано?

Бормочет репродуктор, развлекает.

Замеры сделали привычно – фон на уровне метр-полтора. На карте обозначили скоренько, перекур устроили.

Рядом эрхашка, зелёный «бобик» белеет выгоревшей крышей, готовимся сесть и уехать.

Устали. Смена к концу. Вечереет.

Радио на столбе бормочет, уже другие новости. Неизменно бодрым голосом. Смесь снотворного с тошнотворно-слабительным. Всё вместе, «три в одном».

«Пустые сёла. Вот к чему нельзя привыкнуть!» – думаю я через отупляющую усталость.

Секретарь сельсовета, молодая, ядрёная, дополна налитая здоровьем женщина. Не толстая, а именно – здоровая. Платье цветастое, слегка линияное, вот сейчас лопнет от края припотевших подмышек к ложбине на спине. Грудь выставила вперёд, крыльчком, вот-вот выкатится наружу из полукруглой выемки.

Притягивает взгляд. Давно без жён и подруг мы тут крутимся.

Печать сельсовета подсинила изнутри, запачкала чернилами прозрачный пакетик. На всякий случай с собой прихватила, вдруг понадобится что-то подписать.

Уверенно стоит на крепких бревёшках загорелых ног. Белые, почти новые босоножки. Пятки потресканные, как такыр, – несуразно смотрятся. Взгляд на себя отвлекают. Должно быть, по случаю нашего приезда принарядилась, поджидала – представитель местной власти. Руки загорелые, крепко-коричневатые. Живот чуть выдаётся плавно, и мысли про детишек возникают. Чудится вкусный запах молока и победительной жизни.

– Как там мои дóма? – тоскливо думаю, отвожу глаза, смотрю в сторону.

– Товарищу командир! А утош, у хати пусть хлопечь помериить. Зараз. Скоренько, вжэшь.

Просит тихо, не настаивает. Глаза тёмно-карие, южные, синеватым сполохом пламенеют. Чуть продолговатые, косточками чернослива.

Отказать невозможно.

Такое уже бывало в других сёлах, городках. Их много вокруг, особенно в Чёрной зоне. Только в село въезжаем, начинают бабы в голос выть: «Сынки, та ж не губите, не выселяйте ж нас!»

Успокаиваем. Потом ходят следом, просят «у хати» померить.

– Полищук!

– Я, товарищ лейтенант, – вскинулся ретиво. Морда круглая, как пустая тарелка, залоснилась от радости. Глаза на ней растворились в прищуре, и не стало видно глаз.

Респиратор на шее болтается.

– Замерь – в доме... ну ты знаешь всё. Аккуратно.

– Так точно! Я же – мухой!

Они поднялись на крыльцо. Хозяйка впереди – вплыла на крылечко пристройки, покачнула кормой на своей же волне, крылечко в ответ тоже колебнулось. Полищук чуть правее, под локоток ладошкой едва прикоснулся, изогнулся, «взял след». Оба габаритные, внешне чем-то похожие. Крыльцо сразу стало маленьким. Вздохнуло от веса, по старой памяти.

Боковым зрением я всё это отметил.

– Какая у вас грудь красивая. Изумительная, можно сказать! – услышал воркование Полищука.

– Ой! Ну, вы ж и скажите! – смущённо, даже загар не спасает – краснеет.

«От... засранец!» – подумал вдогонку и почему-то тоже покраснел.

Сел рядом с водителем. Пётр дремал на руле. Ценит время. Голову на руки положил. Руки большие, жилистые, вены синими дорогами выпирают через загар.

Усталость навалилась сразу. Намотали сегодня километраж. Я откинулся на спинку, запрокинул голову назад, чуть вперёд телом съехал, ноги в сапогах поджал. Тоже уже приловчился отдыхать в полевых условиях.

Подумал, пора портянки перемотать, сбились слегка – да лень двигаться. Жарко. Так и сидел в раздумьях.

Тишина. Отключился.

Разлепил глаза. Глянул на часы. Ничего не понял спросонья.

Пётр тихо посапывал рядом.

Вылез из кабины, потянулся сладко.

– Где там Полищук застрял? – спросил себя.

На крыльцо ступил сразу, через три ступеньки, одним махом. Тюль плотный на окошке веранды. Банка пол-литровая, рыжей воды в ней на треть, забита дохлыми мухами – бросилась в глаза на узеньком подоконнике. Двери обшарпанные, грязца вокруг ручки, вперекос от петель, голубые были когда-то.

Шагнул. Внутри душно, накалилась за день жестяная крыша.

Глаза поднял. Дверь в комнату приоткрыта. Посередине большой круглый стол, скатерть, вязанная крючком, белая. Фотография дальше в рамке. Какие-то цветочные композиции из маков и васильков на больших плакатах.

ДП-5Б рядом – раскрытый, стрелка колеблется чуть-чуть, живёт.

Полищук с голой задницей, странно-белой, галифе на сапоги съехали. Ноги в сивых редких волосах. Пилотка на затылке. Задорно так... залихватски.

И женские ноги. Большие, молочно-белые. Ноги сильно прижимают тело Полищука, обхватили клещами. С обеих сторон расстёгнутую гимнастёрку мнут.

Стол скрипит едва слышно, раскачивается в такт, как мачта под размеренным ветерком.

– Ты ж мий солодкий, – стонет, двигается женщина, – гарный... у-у-у... коханочку... мий. Подь до мэнэ... у-у-у... трошки... трощечку – отошь! Нэ журысь...

Вертит головой из стороны в сторону. Глаза прикрыты, лёгкая испарина над верхней губой, румянец играет ранним солнышком, нежный, едва коснулся щёк. Я замер, глаза опустил в пол, крашенный рыжей краской. Понял, что непроизвольно густо краснею со стыда.

«Какой пол неровный», – для чего-то отметил.

Тихо развернулся, постоял немного на веранде душной, и вышел.

Скрипнул доской уже на крыльце, вспотел мгновенно, зажмурился и снова для чего-то постоял, прислушался к жаркому шёпоту в хате, убедился, что не показалось, напрягся непроизвольно.

«Непохоже, чтобы... Нет – сама. Да – сама. Ну, Полищук!»

Возмущённо присел на командирское место, подвигался.

– Чё там, товарищ лейтенант? Трогаемся? – Очнулся Пётр, глаза разлепил, голову от руля приподнял. – Чего не едем?

– Да так... Полищука ждём. Замеры он делает. В хате, – ухмыльнулся осуждающе, – по просьбе сельсовета. В ширину и в глубину. Замеры.

– А-а-а. – Пётр зевнул протяжно, с подвывом, заразительно, снова голову на руки уложил аккуратно.

«Дурацкая, в общем, ситуация!» – подумал зло, но с какой-то внутренней завистью, и вдруг сам от этого ещё сильнее расстроился.

Полищук вылетел на крыльцо минут через пятнадцать. Громыкнул сапогами.

Раскраснелся, дышит через раз.

– Ну, я вам – доложу-у! Цветы бумажные, шторы... плюш кругом, игрушки мягкие, – глаза блестят, запыханный и радостный, – она мне говорит, от туточку... дэтыночки спали перед отправкой, на подушки показывает. Гляжу, а там – две ямки от головёнок... замерил. Ужас! Зашкаливает! Я ей говорю – всё в норме, только выкидывай весь этот... всю... плюш... этот. Дышать же просто нечем. – А шо там у тэбе каже? Аппаратик твой – шо вин кажэ? – Нормально, говорю, кажэ – чё её пугать – но убрать надо будет всё равно. Помыть водой хотя бы... – выпалил одним махом Полищук.

Пётр завёл «бобик».

– И дальше? – спросил я, не глядя на Полищука.

– А что – дальше? Ну, это... пошла, искать ведро.

– Что-то мы её не встречали – с ведром. Каким ведром? Бред! – проворчал я тогда. – Ладно. Дома поговорим. – Пропустил Полищука на заднее сиденье.

Потом молча проехали через КП «Третьего сектора». Тряслись на просёлочной дороге.

«Доволен! Котяра!» – заводился молча, вспоминая.

Сдерживался, чтобы прямо сейчас не наорать от души на Полищука, и завидовал его такой лёгкой победе. Сорвал банчок завоеватель.

Потому злился, молчал. Хотя и казнил себя за это в глубине души, удивлялся.

Не выдержал:

– Знаешь, Полищук, я пацаном к деду в деревню приехал. Школьник. Всё интересно, каждую козявку, тычинку-пестик готов был в

лупу разглядывать. И тут как-то на глазах одна пчела в другую как врезалась! Потом отпала, покрутилась и сдохла. Я деда спрашиваю – это она на таран пошла? Дед смеётся, говорит – это трутень ей... как бы это поточнее – засадил. С лёту. Под кожу! Так и будет теперь летать! А он – издох.

– Достойная смерть для мужчины! Меня разок в деревне так покусали! – засмеялся Пётр. – Морда как подушка, глаза не открывались... Хорошо мерину – он кастрированный! – подытожил он свои наблюдения.

– Я тоже пчёл люблю. Правда, мёд – больше! – вежливо засмеялся весёлый Полищук.

«Дуриком прикидывается. Мол, война всё спишет, – подумал уже без прежней злобы. – Ну что вот делать в такой ситуации? Рушить чужое счастье? И так всё – скоротечно!»

И решил волну не гнать. Сделать вид, что ничего не было... Хотя бы – до поры.

\* \* \*

В лагере я вымылся. Потом переоделся в чистое. Прилёт на нары в палатке, закрыл глаза...

Сон не шёл. Вспоминал.

Вот он, последний мирный день...

Конец апреля. Канун праздников. Впереди лето... Кому охота трудиться? Но спешат люди привычно на работу, обозначая некую условную черту, за которой длинная череда застолий, отдыха.

«С утра выпил – весь день свободен». Хороший лозунг. Вот и я везу в холщовой сумке на работу глиняную корчажку, завязанную плотно. В ней салат «Генеральский». С вечера жена выдумала сделать. В отделе намечался междусобойчик, складчина, кто что придумает из домашних нехитрых разносолов, заготовок.

Вышел из троллейбуса. У киоска «Союзпечати» передо мной пара человек. Центральные газеты я не покупал.

Уже в трамвае нашёл местечко, раскрыл «Новости Монголии». Её печатают, должно быть, на фронтовом ротапинтере. Много пропусков, «очепятков», вспрыгивающих в середине слова заглавных букв, смысловых непонятностей и несуразиц.

Это всё станет предметом обсуждения на весёлом перекуре.

Разворот занят материалом о совместном проекте ленинградских архитекторов и монгольских строителей. Серьёзно рассматривается возможность изготовления железобетонных юрт. Пятиугольные панели привозятся с комбината, монтируются в степи, состыковываются и – готово! Живи, радуйся! Идёт активное обсуждение всех «за» и «против». Странников новаторского подхода – значительно больше.

Удивляюсь, смотрю в окно. Там унылая тоска промзоны, краны в порту, колченогие «Гансы» наклоняются в трюмы стрелами-клювами, ископаемыми птеродактилями склёвывают ненасытно пакеты груза. Корабли у причалов всплывают медленно, обнажают ватерлинии.

Нежилая окраина.

«Странно, – думаю я, – ведь вся прелесть юрты – в овечьей кошме. Лёгкая, тёплая, удобная при сборке и доставке. И скорпионы как чумы боятся запаха нестираной овечьей шерсти. Веками это всё проверялось –

не просто так. Даже я это понимаю! Они что – под гипнозом?» Ещё раз перечитал некоторые места. В сумку газету положил, подремал немного.

На работу надо было к восьми, но я приезжал минут на пятнадцать раньше.

Толкались от безделья по отделу, часто выходили курить, женщины стол накрыли всякими вкусностями, принесёнными из дома.

Посуда разнокалиберная, уютно расставлена, будто на кухне в панельной многоэтажке присели. Если бы не рабочие столы – одна большая семья собралась праздновать.

Настроение приподнятое.

– Фирменный рецепт! – объявил я. – Героический салат под названием «Генеральский»!

– Ну-ка, ну-ка... – полюбопытствовали сотрудницы. Стали накладывать в блюдца, пробовать.

– У-у-у-у! Вкусненько-то как! И запах... пикантный такой.

Тут же кинулись записывать. Я диктовал, стараясь ничего не пропустить из того, что делал вчера под руководством жены.

– И всё поверху...

– Майонезом! – хором закричали сотрудницы, засмеялись.

– Маладца! Товарищи трудящиеся женщины! – похвалил я.

– Госсподи! – запричитала Оленёва Вера. – Где же столько майонеза набраться?

– Как где? Где все – там и ты! В магазине! Зато остальные продукты – всегда под рукой.

– А яйца?

– О! Про яйца! Пока не забыл. Армянское радио спрашивают – что было раньше: курица или яйцо? – Паузу выдержал. – Раньше всё было, отвечает армянское радио!

Посмеялись.

– Всё бы ладно, да только вот – лучок... да редечка, – засомневалась Ванёва Нина.

– Значит, надо всем салат кушать, чтобы если целоваться, никому бы обидно не было! – засмеялся я.

\* \* \*

Выпили за Первомай, который «шагает по планете», потом за все майские праздники. Сперва чохом, а уж потом по отдельности.

Потом пошли курить в конец коридора. Бесконечного, как пространство Соляриса.

Домой мне идти не хотелось. Не оттого, что поругался с женой, а просто сама эта мысль была почему-то сегодня необъяснимо тягостной, мешала полностью сосредоточиться на застолье.

Машинально передвигался по отделу, что-то говорил и даже смеялся, но всё это было где-то на поверхности.

Приглашены были на вечер к тестю, обмыть его орден ВОВ второй степени и праздники майские – всё чохом.

В идеале было бы ехать туда сразу с работы.

Пытался жену уговорить, но она противилась. Это было важно для неё. Вот так – всем прийти, с алыми гвоздиками, радостно...

Если бы она знала, чем закончится этот мой подскок домой.

Тогда я рассчитал так, чтобы накоротке заскочить домой, переодеться и к застолью. Не толкаться бестолково на подхвате у жены, пока она перед зеркалом закончит «поиски лица».

Жена уже несколько раз отзвонила с работы, даже согласилась дочку забрать из садика. Попросил коллег передать, что уже выехал, но всё тянул, пропускал по рюмахе не спеша. Остальные почти все разбежались, и становилось одиноко и всё более тоскливо.

Наскоро убрали со стола.

Ключи на вахте сдали.

\* \* \*

Я мог сейчас куда угодно пойти, только домой по-прежнему не хотелось. Забрёл по дороге в знакомое кафе, на «комплексный обед» – пятьдесят водочки, бутерброд с килечкой и кругляшок варёного яйца с хрупким солнышком желтка по центру.

В кафе было пусто, душновато. Какие-то шлягеры звучали невразумительно. Лениво разматывалась светло-коричневая плёнка в прорезях магнитофонных бобин.

Место привычное. Сюда забегали иногда даже во время обеда, но как правило – после работы здесь заканчивалось то, что начиналось на работе.

Сглотнул обильную слюну, прогоняя тошнотный ком к низу живота. Лёгкая испарина окатила тёплой волной.

Тягостное ощущение неотвратимости нависло здоровенным валуном.

«Что же я тут делаю?»

Пригнулся, будто вопрос этот мог ударить меня по затылку, и ощутил тупую головную боль.

Встал за высокий стол. Выпил залпом, бутерброд ополовинил, вздрогнул непроизвольно: «Какая мерзость!»

За соседним столиком, крепко сжимая в руке пустой стаканчик, клевал носом мужичок невзрачного вида. Пальцы синие, зарисованы коряво, сразу не прочесть, что там колышек изобразил. Чубчик короткий, прямой, жёсткий, вперёд «kozyрьком». На столе теснились несколько сухих стаканчиков, мелких «мерзавцев» – гранёные стенки мутные, захватанные грязными пальцами, блюда стопкой.

– Повторить! Срочно! – решительно вскинулся мужичок.

Официантка недовольно сморщила личико цвета серой бумаги, повозилась руками под стойкой, глянула мельком в зал.

Принесла на маленьком подносе, не расплескала доверху налитую рюмку, громко на столик блюдце вбросила от края. Оно крутнулось, слегка проехало по сальной поверхности, остановилось.

– Я за всё плачу сам! – потыкал неуверенно пальцем в подвядший бутерброд, стараясь попасть в центр желтка, спросил серьёзно: – Свежий?

– Тебя с вечера дождался. – Официантка отсчитала необходимую сумму, остальное назад пододвинула брезгливо, демонстративно. Вернулась за стойку.

Я со стороны наблюдал вполглаза, собирался уже выйти на свежий воздух.

– Чума несётся... выше облаков... двенадцать километров по небу! – громко заорал мужичок. – С Украины в Швецию. Хана – всем! Накрыло! Европе хана! Одно спасение. – Мизинец оттопырил, закинул одним

махом водку в чёрный провал беззубого рта, небритость мелькнула, пальцами по граням стаканчика поиграл, какую-то блатную мелодийку выстукал ногтями.

Забормотал невнятно, упал лицом на столешницу. Затих.

Жалкий подранок – залётный гамаюн.

– Который день уж наливаются по самые гланды. С утра приходит и безумствует, – пожалала плечами официантка. – Голосов разных... заслушается, зовёт всех куда-то. Срочно спасаться! Горячка уже начинается – это точно!

А я всё тормозил, не спешил, словно в салат «Генеральский» подмешалось вместе с майонезом зелье неведомое и плавно действует сейчас, гасит мою волю, желания.

И долго будет вспоминаться это сонное передвижение по городу, заторможенность и отсутствие ясной мысли и желания что-то предпринять.

И сейчас, и в те самые сумасшедшие восемьдесят суток в Зоне, и потом – нет-нет да всплывёт в память ленивым сомом из чёрного омута, озадачит и вновь скроется до поры на глубину неуловимая рыбина.

\* \* \*

Домой заявился в седьмом часу и, конечно же, получил нагоняй. Потом расчмокались, жена поморщилась, перегар уловила, жидкая пудра блеснула неровным слоем на крыльях носа. Смолчала, но всем своим видом дала понять, что осуждает.

Дочь стала прыгать на руки от радости, вертелась маленькой обезьянкой, смеялась. Я тоже был рад, смеялся громко, до слёз, в сторону дышать старался, но что-то мешало окончательно расслабиться и быть вместе с семьёй.

Квартира новая, кооперативная, всего-то два года как въехали, отшумело несколько новоселий, ещё не надоела, было и что-то недоделанное, но именно сегодня меня не тянуло домой, как в другие дни.

Всё уже было приготовлено, через десять минут я взялся за ручку, чтобы открыть дверь и выйти. Жена в новом сарафане «Монтана» цвета болотной травы, фирменные лэйблы на всевозможных местах красуются – один оклад моряку заграники на него спалили. Сегодня – первый выход, повертелась – мол, как, глазоньками похлопала вверх-вниз для эффекта. Дочка в клетчатой юбочке – бордовой с тёмными полосами, кофточка с рюшами, колготки белые с двумя бомбошками у колен, косички тугие заплетены... Коленочки смешные, обцарапанные, но чистые и темнее, чем ножки, может, оттого, что торчат и ближе к солнцу? Я загляделся на них, улыбнулся:

– Страшная сила – красота! Просто – разрушительный термояд! – сделал огромные глаза.

Раздался долгий звонок в дверь. Мы с женой вздрогнули вместе, переглянулись – кто же это мог быть?

На пороге стояли двое мужчин. Рубахи светлые навывпуск, льняные, карманчики по бокам, у пояса.

При несхожести фигур оба смотрелись почти одинаково. Явно отставные военные. Отвыкли за многие годы от каждодневной «гражданки». Кисти рук тёмные, клинышком загар на груди.

– Здравствуйте.

– Здравсьте, – засмеялась дочь.

– Петраков Владимир Викторович? – достал из дерматиновой коричневой папки бумажку тот, что был поближе, с серебряной густой шевелюрой, слегка полноватый.

– Это я. Вы проходите. Через порог общаться – плохая примета. Что случилось? На нас напала Дания?

– Ничего особенного, – ответил первый без улыбки.

– О! – заулыбался второй из коридора. – Да вы ещё и в приметы верите!

Шагнули вперёд и оказались в прихожей.

– Вам повесточка. Срочно надо поменять мобилизационное предписание. Офицерам запаса персонально разносим. Остальным – в почтовый ящик. Уж извините – учения, всем неудобства... Временные, знаете ли.

«Повесточка» – словцо, уменьшенное суффиксом, красная полоса наискосок – насторожили.

Я знал, что, получив такую повестку, надо немедленно явиться в военкомат.

– Чего так срочно-то? – с тревогой спросила жена. – Всё-таки праздники как-никак.

– Это недолгая процедура, уверяю вас. Одну бумажку вынут, другую вклеят в военный билет. Формальность. Семь минут делов-то. Вот тут распишитесь в получении. – Подтиснул листок, ткнул в нужную строку.

– Я бы посоветовал сегодня этот вопрос закрыть, потому что после праздника будет в военкомате настоящее столпотворение. Большие учения, на уровне Прибалтийского округа, – строго глянул первый. – Вам же спокойнее.

Вроде бы и не приказал, но акцент сделал.

Я взял в руки повестку, рассматривал её и не видел. Сложил, сунул в карман рубашки.

Сходил в большую комнату, достал из секретера военный билет. Вернулся. Квартиру оглядел перед тем, как на ключ закрыть. Такой она вдруг показалась сейчас большой, уютной, но в мгновение ставшей чужой, и именно сейчас мне совсем расхотелось уходить. Даже к тестю, к праздничному накрытому столу. Лечь на диван и валять дурака у себя дома.

Царапнуло внутри злой заусеницей.

«Что-то я перемудрил с нетрезвой-то головы», – грустно подумал и вытер лоб.

– Ну, что ты там закопался? – спросила жена.

Мы вместе спустились в лифте, дочка пряталась за спину жены, на суровых дяденек поглядывала.

А дяденьки пошли к соседнему подъезду плечом к плечу. Молча, сосредоточенно, и только привычно поймали шаг под левую ногу, плечи распрямили, сами того не замечая. «Двое из ларца». Со стороны забавно, но не смешно, а немного страшновато отчего-то. Что-то было зловещее в этой суровой, решительной поступи.

Мы с женой до перекрёстка молча дотопали, дочка между нами, держала за руки, снизу вверх посматривала то на маму, то на папу. Родной человечек, повисеть норвила, покачаться на руках, пригибая родителей к себе, смеялась.

– Ну что? Сгоняю, может быть... наскоряк? – спросил жену. Похлопал рукой по карману под курткой, где военный билет лежал.

Она уткнулась лицом мне в грудь, руки на плечи положила, обречённо, тихо всхлипнула, почти неслышно. Это движение поразило меня и расстроило окончательно.

Потом заплакала молча, по-настоящему, слёзы из глаз брызнули.

– Да я и впрямь быстро! Чего тут – пять остановок туда да шесть назад. И сразу к вам... к столу. На штрафную рюмаху...

Стало невыносимо больно стоять перед женой, надо было что-то сделать сейчас, стряхнуть оцепенение целого дня, вырваться из непроходящего сонного гипноза, утвердиться... в чём?

– Мам, ты чего? – захныкала дочь, прижалась к коленкам, сарафан новый потемнел от слёз, бант несуразный торчал, головы не видно, косицы снизу круглятся. – Вы что – с папой поразругались, да?

– Нет, доча, мы с мамой не ссоримся. И даже не собираемся ссориться вообще! Впредь! На пятьдесят лет вперёд!

– Ну, не реви, – смахнула крупные слёзы жена, – папа скоро вернётся, придет к дедушке. А мы его там будем ждать. И снова будем все вместе.

Троллейбус с перекрёстка тронулся к остановке.

Я резко рванул, влетел запыханный, даже собственный перегар уловил в пустом салоне. Закачало меня, понесло, будто на гребне волны, скидывая на неровностях асфальта, по обезлюдевшему городу.

Успел.

Оглянулся.

Жена крепко держала дочь за ручку, а та головёнку наклонила, словно к чему-то прислушивалась, смотрят вслед внимательно и растерянно. Пустынная улица. Светофор мигает бесполезно, с тупым постоянством, перед свободным перекрёстком.

Сглотнул, покаяло наждаком сухое горло.

Который час? – глянул на пустое запястье. Часы забыл в ванной, когда мыл руки после прихода домой.

Отвернулся к кабине водителя, полез за талончиком в карман. Вдруг увидел в руках складной зонтик.

Зачем? Когда он оказался у меня в руках? И почему жена этого не заметила, не сделала по обыкновению замечания?

Сунул с досадой под мышку, и неожиданно получилось больно и обидно.

«Членовредитель!» – подумал про себя зло.

\* \* \*

...Перед военкоматом большущая толпа перекрыла неширокую улочку. Гул, волнение, постоянное движение людей. Мелькают встревоженные женские лица, грустные, заплаканные. Военный билет изучили, внутрь запустили через вертушку. Дворик небольшой. Забор каменный, похож на восточный дувал.

Регистрировали на вахте и больше уже никуда не выпускали. Накапливали на заднем дворе военкомата, за высоким белым забором, преодолеть который было невыносимо.

Незаметно стемнело. Нас провели в вестибюль, потом в длинный коридор на втором этаже, построили, списки вновь проверили, в который уже раз.

Решётки на окнах – обратил внимание, хотя и не высоко. Почему подумал об этом?

Потом сразу загрузили в старенький «пазик». Автобус бойко побежал по пустынному городу, выскочил на окраину, на берег большого озера, обогнул его, мимо каких-то дачных домиков, в полк гражданской обороны.

Я бывал здесь однажды на трёхдневных курсах «Выстрел», как офицер запаса. Тогда кого-то то и дело ждали, время шло, занятий не было, сидели в классе, смеялись, много курили, валяли дурака откровенно.

Так и не поняли смысла тех сборов.

Для галочки, но с сохранением средней зарплаты по месту работы.

Запасников было много, даже стояли в проходе. Толком никто ничего не знал. Говорили, что начинаются окружные учения, будет большая «война» и манёвры, приедет министр обороны.

Пьяных не было. Несколько человек в канун праздника были слегка выпивши, но многие пришли с повестками сразу после работы, чтобы поскорее уладить формальности.

Видно, «вербовщики» были опытные, многих уговорили это сделать сейчас.

Народ был разный. По возрасту около и после тридцати. Тех, что постарше, было немного, но они сразу выделялись полным отсутствием выправки и вислыми подушками мирных животных. Хотелось глянуть им на ноги – может быть, там домашние тапки?

Был поздний вечер, но в части наблюдалось большое движение, суета, окна штаба светились ярко-жёлтым светом в холодноватом воздухе первых майских дней. Потом и он исчез за плотной светомаскировкой кабинетов.

Фонарики замелькали светляками тут и там, словно следопыты укладывались на ночлег в вигвамы из хвои.

Приехавших первым делом построили, занесли в списки и отпустили к полковой курилке – большая бочка, врытая в землю, лавочки полукругом, проход со стороны штаба и беспрестанно мелькающая дверь, люди в форме снуют туда и обратно.

Курили много, слонялись, чего-то ждали, начали как-то знакомиться, негромко переговаривались, вспоминали срочную службу – как не вспомнить!

В бочке вяло тлели обрывки каких-то бумаг. Едкий дым лез в глаза, меняя направление.

Лица снизу резкими бликами коротко от центра подёргивались, искажались странной мимикой, меняли выражение, становились другими. Даже и не по-военному, скорее по-походному всё это смотрелось.

В полумраке и дальше, в темноте высоких сосен, мелькали беспокойные тени.

Ясности не было, и атмосфера становилась тревожной.

Но странное дело, я вдруг успокоился. Так бывает, когда глянешь на дорогу, увидишь, как далеко она может завести, и понимаешь, что единственная возможность её пройти – принять такой, как она есть: все её ухабы, рытвины. Ведь другой-то нет.

– Обещали обмундировать с вечера, – чей-то голос из полумрака.

– Кормить сегодня будут? Чего-то голодно. Только на стол глянул, слюни пустил, а тут под белые ручки и вывели! Снова страна в опасности!

– Да обещали. Списки утрясут, поставят на все виды довольствия и поведут.

– Н-да. На все виды удовольствия.

– Удовольствия закончились! Забудьте об них! Хана, ребята! Ох – чую, беда подкралась, бойцы! Размером с это озеро. Новости кто смотрел? Чё там – в стране? Какая политическая обстановка?

Оказалось, что смотрели многие, но ничего не высмотрели.

Озеро серебрилось в лунном свете внизу, между высоченных сосновых стволов, забор под бугром не мешал любоваться этой картиной. Переплыть этот рубеж было невозможно, да и солнце майское воду ещё не прогрело. Этот вариант отмели сразу. Красоту не замечали. Лес и лес!

Ночь. Одна радость – короткая в мае. Может быть, грядущий день привнесёт ясность? Конечно! Да кто же знает – не лучше ли эту ночь продлить подольше. Вдруг она – невесёлая, последняя?

– Ты не паникуй, братан! Хорошо, что не в зиму призвали. Я как-то попал на сорок пять суток! Целый день в снегу барахтаемся, промокнем до трусов. В палатках колотун, толком не просушиться... – Засмеялся неожиданно: – По снегу босиком драпанули! А к лету-то ништяк! Прокантуемся незаметно... Грибы да ягоды... Отоспимся, нагуляем брюхо к зиме!

– До лета ещё месяц.

– А всё равно не зима!

Повздыхали. Приумолкли, каждый со своими мыслями, переживаниями, наедине с неизвестностью, переполненные горьким табачным дымом.

В часть продолжали подвозить всё новые и новые партии запасников. Глубокой ночью построили на полковом плацу, ещё раз списки сверили. Кого-то уже недосчитались, потому что приписной состав по ведомству военкомата был самый свежий, а в часть давно никого не привлекали на сборы. Была неразбериха, несмотря на неторопкую дошность военных и кажущуюся основательность.

Поротно повели переодеваться. Выдали каждому по вещмешку. Там всё необходимое для каждого. «Гражданку» в мешок сложили, сдали в специальную каптёрку. Взамен – жетончик с номером, таким же, как на мешке, чтоб забрать потом, не перепутать по возвращении. Сержант оценивал с одного взгляда, цепко глазами пробежал, вписывал в журнал ФИО, в кучу позади себя метал, не глядя. Приличная уже куча поднабралась.

И он на вершине этой кучи. Гордый и важный.

– Гляди – шея голая, как у стервятника, чтобы башку в задницу жертве удобней засовывать и пировать, объедаясь вкусной требухой... – тихо сзади сказали.

– А я думаю – чё у них шея такая голая! – удивился кто-то в ответ.

Я отвернулся, слишком явственно всё это представил.

Деньги оставляли при себе – купить пасту, щётку, материал для подшивки подворотничков.

Баня холодная, скорее покойницкая, просто чтобы на улице не переобмундировываться.

Больше свою любимую синюю ветровку я так и не увижу. И джинсы, и рубашку – тоже. Да и зонтик. Удобный, компактный – привыкаешь к вещам.

После возвращения будет в этой каптёрке полный бедлам развороченной гражданской одежки. Жалкой, никчёмной, истоптанной кирзачами. Горы её на полу, вокруг пустые полки деревянные и где-то да-

леко – сержант-мародёр с друзьями-дембелями. Но той ночью всё это смотрелось солидно, с бирочками, организованно.

И с кого – спрос?

\* \* \*

Стояли в строю, переговаривались тихо.

– По-олк, рывня-я-я-йссс! Мир-рна!

Поворачивали головы направо, ненадолго становилось тихо, но вскоре всё опять повторялось. Несерьёзно, как на школьной линейке.

Форма, старая, лежалая и сильно мятая, пахла затхлостью, плесенью. Тёмно-зелёная, почти чёрная, галифе широченные, противогаз в карман сунешь и не заметно будет со стороны. Новенькие портянки, белоснежные, мягонькие по-домашнему, как детские пелёнки, кирзовые сапоги – заусенцы торчат отовсюду усами рыбы с плоской мордой, так и хочется их пощипать, удалить.

– Вопросы есть?

– Разрешите обратиться?

– Обращайтесь.

– Можно идти домой?

– Отставить! Почему вопрос?

– Меня не назвали.

– Как фамилия?

– Петраков Владимир Викторович, лейтенант запаса. ВУС номер...

– Сейчас уточним. Ах, да! Вот! Нашёл! Идёте в распоряжение капитана Бармина. Рота РХР.

\* \* \*

Выдали матрацы, подушки твердокаменные, с плотными кулаками старой ваты внутри свободного пространства грязноватой полосатой ткани.

Одеяла. Синие, с тонкими белыми полосками по низу, линючие. Ворс скатывался скрутками, липли они к форме мелким репейником, даже с сапог их было не отклеить, и казалось, что от них вовсе не избавится. Вот такая весенняя линька синих одеял.

Серая картофельная масса под названием пюре, по виду – подмоченный цемент, небольшими кучками из котлов переместилась в миски алюминиевые и по большей части так там и осталась. Ели в основном разваренную рыбу, шкурку с перхотью чешуи убирали. Подгорчённая пластинка чёрного хлеба – давно не ел. Чай с белым хлебом.

Коричневый такой чай. Сорт называется «Пыль грузинских дорог». Язык сразу деревенеет, кору дубовую, что ли, в чан натолкали, но сейчас – вкусно. И просто пить уже хотелось, вдохнуть горячего аромата, хоть и банным веником, лиственной прелью отдаёт слегка. Шли за добавкой, и наливали без ограничений.

Асфальтовая дорожка вела по тёмному лесу в сторону от штаба. Впереди мелькал костерок небольшой. Странная толпа, накрывшись матрасами, передвигалась по ночному лесу. Приглушённые голоса.

Пламя расплывало косые разрывы тёмных теней, аспидные капшоны раскрывало или сдиало шкуру с фантастического зверя, трепетало невесомыми перепонками летучего дракона или огромными крылами ангела ночного –лика не видно.

Я поднял голову. В светящейся пыли колнучего света были видны мелкие точки звёзд. Они переливались, искрились зёрнышками сахарного песка на чёрном небе.

«Кто-то промчался от звезды к звезде, пыль поднял. Пока уляжется».

Под ногами сплошная темнота, ступать надо было осторожно.

«Черника вбирает этот мрак по ночам, делает его вкусным, таинственным, нежным и хрупким».

Глубоко вздохнул чистый, холодный воздух леса. В темноте красивыми, стройными рядами располагались палатки. Они были установлены на сколоченные квадратами настилы. Доски серые в темноте, из палаточного нутра виднеются, долго, видать, ждали своего часа. Их развернуло кривыми пропеллерами, концы некоторых своевольно вытянули гвозди из брусков. Между высоких сосен прокопаны канавки, дорожки присыпаны весёлым песочком.

Луна нахальная выкатилась, светила мощным прибором ночного виденья сквозь высокие стволы, будоражила неласковым, холодным серебром мертвенного сияния.

Огоньки сигарет красными тихими трассерами рисуют причудливые извивы, высвечивая губы, подбородок. Часть лица выхватит коротко совсем, не узнать человека. Затяжка, ярче, и снова алая точка темнеет, наливается бордовым чуть в стороне от говорящего, кривой невесомый цилиндрок пепла изгибается, бесшумно падает во мрак под ногами.

– Давно не выбирался на природу. Вон сколько восторгов! – подумал я.

Поначалу спать прилегли, завернувшись в одеяла, не снимая сапог. Прямо на матрасы. Доски жёсткие, щелястые. Ночь холодная, от озера тянуло студеным неуютом, прозрачным, вурдалачьим туманцем заползавшим на склон горушки.

В палатку набивались новые люди, видно, на всех не хватало места. Вскоре расселись внутри кружком, спина к спине вокруг центрального стояка, сжались, чтобы сберечь тепло, хоть как-то согреться. Забывались коротким сном, кто-то соскальзывал, падал с настила, перегруппировывались, ворчали во сне незлобно, поджимая ноги под себя. Маята и возня постоянная, беспокойная, как в курятнике без крыши и на тесном насесте.

Сквозь чуткую дрему были слышны приглушённые звуки: кто-то в темноте перелезал через забор, гремел сапогами по доскам, подтягивался вверх. Потом доносился из леса глухой топот, хлёсткие звуки веток наперекор, будто комаров отгоняют. И снова – беспокойная тишина.

Под утро раздался сильный треск и грохот. Спросонья повскакивали, боролись с одеялами. Вываливались из палаток, путались в шторках, переполошились, решили, что проспали тревогу. Смешно, как-то по-домашнему озирались очумело.

Оказалось, несколько человек разом влезли наверх, один пролёт забора не выдержал, вывернулись винтом верхние крепления из балок, торчали из бетонных столбиков вырванные пластинки. Через эту могучую брешь, сильно топая, застоявшимися за ночь ногами в сапогах умчалось в рассвет много людей. Кто-то был в форме, а кто-то ещё в гражданском платье. Лихим лосиным стадом, не таясь, даже не заботясь о маскировке, ломая в отчаянных прыжках ветки, петляя, махая руками, молча, но стараясь не столкнуться с другими. Некрасиво, постыдно и не по-мужски.

И досада, что сон утренний потревожили, с таким трудом занявшийся на ласковом раннем солнышке.

Лёгкий иней посеребрил снаружи линялую ткань палаток. Туман белый почти незаметно напозл невесомой периной, прикрыл людское безобразие, крадясь между высоких стволов. Лес редкий, сосновый, деревья высоченными мачтами, ветки только вверху.

Может, и не к месту, но трудно не заметить искристую эту красоту.

– Через два часа придут в плен сдаваться, – тихо сказал кто-то сзади, позёвывая.

– На губе – не в окопе. И к кухне поближе!

– Не скажи, на какого выводящего нарвёшься! Да и неизвестно – поймают их или нет!

Нехотя занялся рассвет. Беготня прекратилась. Следы в зелёной траве местами были ярче, без росистой проседи. Там, где пробежали отчаянные «партизаны».

Пришёл дородный старшина, морда красная, усы в седой муке, и с ним белобрысый гибкий сержант.

– Всё дерьмо в озеро унесло, – присел старшина, глянул на пробелы в траве. – Ничё, всплывёт вскорости!

Со стороны леса в пролом вошёл худощавый мужчина лет двадцати трёх. Загорелый по-южному, до коричневой смугловатости. Роста чуть выше среднего, черты лица правильные, славянские, если бы не нос, слегка удлинённый к низу, несколько унылый, отчего в лице просматривалось что-то восточное. Форма сидела на нём ловко, не мешком.

– Решил вернуться? – засмеялись ему навстречу с помоста.

– Передумал? Совесть загрызла?

– Старшины испугался!

– Да не-ет! Видишь – с соседнего хутора, с танцев возвращался, да заблудился! – возражали другие. – В густой чаще немудрено!

Весело его приветствовали, словно и обрадовались даже, что не все одинаковые тут. И стыдно было за ту кодлу – вполне могло быть и так, только об этом промолчали мужики, позабавились вслух, солидно, не пацаны ведь уже, а тут – всё развлечение какое-то.

Без этого тоже нельзя в окопе.

– Пробежался с утра, – серьёзно ответил незнакомец, зарумянившись сквозь загар. – С утра привык трёшку бегать. – Рукой махнул в сторону озера.

– От! Не все же гады! – сказал старшина с гордостью.

– Чем больше дырок в заборе, тем труднее скрыться, – сказал я.

– От это уж точно! – согласился старшина. – Толкотня начнётся. Я молодой когда был, на танцы пойдёшь, бывало, ну как на танцах не подрасться! Это ж, значит, и нет танцев, без драки. Так быстро скумекал – чем больше об тебя жelaющих кулаки почесать, тем меньше синяков получишь! Вот такая философия жизни! – закончил многозначительно и непонятно.

Привлекли четверых человек. Потом ещё несколько бойцов захохотились помочь, должно быть, чтобы согреться, подвигаться. Кое-как прикрепили пролёт к столбам.

– Закатать палатки! – скомандовал старшина.

Пологи приподняли по сторонам, обжигаясь холодной с ночи тканью.

На помостах молчали, зябко ёжились, пытались выкроить немного сна. Там была своя правда, но уже вставали, понимая – сна не будет.

Разминались, хрустели трескучими склейками затёкших суставов, бегали, впечатывая сапоги в песок, махали руками по-птичьи, кровь разгоняли, уснувшую ночью, стараясь согреться.

На том берегу озера просыпался город, неслышимый отсюда, беззвучной картинкой плавно плыл на понтоне белого тумана, розовеющего с одного края нежным оттенком утреннего света.

Воды не видно, но это она – парит: крышку слегка приподняли, и пар выплывает медленными клубами из огромной кастрюли глубокого озера.

Вставало солнце, тепло прокрадывалось робко к веткам черничной поросли под ногами, сгоня студёную росу между редких сосновых стволов к верхушкам кустов. Кошмар странных видений и прохлады ночи отступали. Становилось веселее. Вот уже и вода заблестела ярко, но обманчиво, ещё не прогрелась до песчаного дна.

Пели птицы, сходили с ума от своих песен. Весной природа распахнута навстречу любви и уязвима в этой открытости миру.

Знали бы, что не скоро птиц услышат, может, и спать бы не легли вовсе...

Люди в измятой несуразице хаки слушали, не замечали, а прислушивались к чему-то со стороны штаба, копили тепло впрок, аккумулировали, как солнечные батареи.

– Скоро такие трели услышим... – тихо предрёк рядом незнакомец и руку протянул: – Пётр.

– Владимир. – И спросил вдруг: – Тебя кто прислал?

– Жена.

– Чья?

– Твоя.

– Не понял? – насторожился я.

– Береги, говорит, мужа моего. Один он у меня. От так. И – к тебе... к вам, то есть – направила. Шутка. – Улыбнулся.

Криво получилось из-за скошенного носа, но как-то доверительно. Хотя оброненное «к тебе» не удивило.

– Шутишь?

– Серьёзно. Скоро поедем.

– Куда?

– На погибель! – И глянул серьёзно, глаза в глаза. – К херувимам. На всю оставшуюся жизнь хватит.

Он знал тайну, но пока не делился.

\* \* \*

В роте радиационно-химической разведки тридцать человек. Два взвода.

На завтрак скомандовали. Прошли условным строем, вразвалочку, не особенно утруждаясь выправкой.

Завтракали уже вместе, своим составом. Ряды столов, скамейки. Днём веселее, тепло. Котлы с горячей водой, кран открываешь – красота! Пар горячий в радость. Так бы и плескался, согреваясь сам, через руки. Рукава засучили, солидол с новеньких котелков отмывать начали. Вроде бы не пахнет смазкой.

Я себе навалил пюре, синеватого, но ещё тёплого. После сна в лесу – объеденье! И килька в томате. Когда же её в последний раз ел? Кажет-

ся, на втором курсе. Вкусно-то как! «Студенческий лосось», «на рубль тыща голов»!

Ходила между котлов женщина-прапорщик. Маленькая блондинка в тесной форме. Приятно ей: столько мужиков – внимание!

Весёлая, щекастая, упругая, как теннисный мячик в кулаке. Внесла оживление в сугубо мужской коллектив, спросила:

– Вкусно, бойцы? Добавка есть! Можно подходить!

Бойцы молчали, ели. Она несколько раз повторила это предложение, пока кто-то не нашёлся, пошутил ей в спину:

– Мужчины готовят лучше, а женщины – постоянно.

И засмеялись, дружно грохнули, раскатистое эхо между сосенок по-скакало весело, разрядили обстановку.

– Остроумно! – покачала она головой, мелькнула на висках заколочкой пёстренькой из-под пилоточки кокетливой, пошла по дорожке к штабу.

Командир – кадровый, капитан Бармин Александр Сергеич. Худощавый, лысина, кисти рук большие, лопатой. Похож на художника Рериха. Только нет козлячей бороды, и скулы поменьше.

Остальные из запаса. Возраст разный. Почти все семейные, дети есть. У троих даже по трое, у одного – четверо, у многих по двое детишек. Как-то сразу про себя отметил это обстоятельство, список просмотрел, фамилии пока не запомнил, а это тут же щёлкнуло.

«Не должны были брать, если двое деток, таков порядок. Но уж если загребли, значит, и впрямь не так оно всё гладко», – так решил про себя.

Нашлось и мне место в строю – заместитель командира. Списки, списки. Командир часто убегал в штаб, остальные тянулись к нему, спрашивали, а он толком ничего не говорил, может, туману нагонял, а может, не велено было пока доводить до личного состава.

Главное преимущество личного состава – всё доведут. В своё время!

Пётр оказался в моём подчинении, водителем. Ходил всё время где-то рядом, за спиной.

Грамотно ходил, не путался, не мельтешил. Ординарец. Положено заму командира роты в боевых условиях.

Потом на технику, в парк двинулись. Предстояло расконсервировать ротный БТР.

Конечный итог усилий назывался безлико – погрузка личного состава в эшелон для следования в район сосредоточения. Где этот район?

Для чего и почему там сосредотачиваться надо? Вот что было главным, заботило!

– Ну, съездим, поживём в палатках, не убудет же. В кои-то веки. Может быть, зря себя терзаю, не так всё страшно.

А уже летели и ехали врачи-гинекологи к месту аварии, срочные меры принимать. Всем беременным до трёх месяцев – аборт. Скрытно, без громких заявлений. И гнали эшелон со спецназом запаса, порядка шестисот человек, чтобы охраняли они будущих ликвидаторов, а попросту – зэка. Однако отказались спецназовцы наотрез, пусть, мол, ВВ этим занимаются, «высокая вышка», внутренние войска. И отпустили грозную силу, только приказали в случае острой необходимости явиться незамедлительно.

Так тоже могло быть.

А сейчас в ангаре знакомились, но – без списка, узнавали друг про друга. Держаться уже стали наособицу от других, своим подразделением.

Между тем техника задымила, изрыгнула брызги масла, сизое облако из порыжелой выхлопной трубы выстелилось по бетонке перед боксами, затарахтела, затряслась припадочно, но ожила, потом успокоилась, вошла в нормальный ритм.

Ответственное хранение техники закончилось.

Где ритм – там жизнь.

Даже веселее стало немного, наметилась перспектива реального движения.

Ефрейтор Воронин, закоперщик процесса, невысокий мужичок-лесовичок, голубоглазый, ладный такой, вызывающий уважение молчаливой сосредоточенностью, поулыбался довольно.

– Можно ехать, – выкрикнул, руки ветошью обтёр неспешно, вокруг услышали, тоже заулыбались.

– Ну вот – есть у нас свой зампотех! – тоже улыбнулся ротный, фиксой жёлтой сбоку блеснул.

Три «козлика», ГАЗ-69, завелись быстро, ладный ГАЗ-66, бортовой – тоже не подкачал. Он мне давно нравился, помнил, как на таком возили обед по танковой трассе! Надёжный вездеход, маневренный, с хорошей проходимостью.

Незаметно для себя начал я думать об этом.

Пока возились с техникой, старшина получил суточные пайки в серых картонных коробках. Это уже в эшелон. Стали грузиться.

Команда на выезд поступила ближе к вечеру.

Полковая колонна состояла из нескольких грузовиков, нагруженных людьми, и «козликов» командования. БТР покатил под горочку, метров тридцать вправо заворачивать начал, но перед подъёмом неожиданно заглох. Дёрнулся в необъяснимой конвульсии и встал, потрескивая согревшимся нутром.

Колонна стала его объезжать, скучилась, застопорила движение. Воронин попытался завести.

– Не мучай животное, – сказал Пётр.

Воронин, раздосадованный коварством техники, которую, казалось бы, уже приручил, переживал.

– Ладно! Будет тебе – страданий! – повернулся Пётр. – Сдохла и ладно! Железо есть железо. Не взорвались – и то хорошо. Чего об нём страдать!

БТР отбуксировали в часть.

Выехали на трассу. Окна приоткрыты, ветерок.

«Как там мои сейчас? – подумал я. – Ни позвонить, ни сообщить. Наверняка волнуются».

Вспомнил мягкое касание рук жены, и захотелось заорать в окно, чтобы город прснулся от моей необъятной радости: «Мне здорово! У меня есть две любимые девчонки! Мои девчонки! Я один, но мне не одиноко. – Засмеялся. – Когда теперь свидимся? Никак не раньше сорока пяти суток».

И погрузился враз, задумался...

Пётр глянул сбоку внимательно, промолчал.

«Телефон ещё тестю не поставили. Жаль, – подумал я. – Всё обещают ветерану. Кому бы ещё позвонить? Через кого передать? Ночь. Переполошишь... Может, и не так оно страшно на самом деле? Чего будоражить, ведь толком ничего не известно».

Город мимо пролетал в конопущках пляшущих пятен вечернего освещения сквозь молодую листву. Переулками окраины доехали до

станции. На отшибе стоял эшелон, у погрузочной аппарели. Слева-справа гаражи металлические, зелёные, чуть впереди забор стадиона. Вышки чернеют, высоченные, вперёд наклонились, словно под ноги смотрят.

Я буду вспоминать, когда буду ездить в Зону, смотреть на загоризонтную антенну. Ажурную, метров пятнадцать высотой. Видную издалека.

На платформы грузили технику, полевые кухни, в теплушки заносили новые, белые, занозистые доски, сколачивали нары в два яруса. Слева и справа от дверей. Вагоны старые, расхристанные, изрешечённые долгой службой в непростых условиях, тёмно-коричневые в жидком свете пристанционных фонарей. Такие в последний путь отправляют – если уж на списание, то и не жалко.

Электричка промчалась последняя со Старого взморья. Высвистнула тонко, пронзительно, испуганным зверьком, окна освещённые смазались в одну жёлтую полосу. Редкие люди к окнам прильнули, любопытничали – что-то там, в стороне от станции творится? Да толком ничего так и не поняли.

«Спи спокойно, страна... Спи спокойно, страна...» – отзывалось из тёмного провала теплушки, третьей от края – без локомотива неясно, где голова состава – накладываясь на перестук уносящейся электрички. – «Спи спокойно, страна...» – вертелось в усталой голове. Хотелось спать и кушать одновременно...

Я выжидал, чтобы ротный остался один, но всё время вокруг него вертелись люди, технику крепили на платформах, брёвна в распор, проволока многовитковая, калёная, мягкая, перекручивалась ломиком в середине, белела, как пальцы, сжимающие на пределе большой груз. Ехать предстояло далеко.

Тут же был и командир второго взвода, бригадир стивидоров из морского порта – Егор Кондратюк. Смешливый, голова круглая, стриженный, хотя и лысеющий заметно. Без пинков и понуканий профессионально руководил погрузкой, удивлялся непониманию очевидного, а то и просто бестолковости отдельных бойцов.

Но люди-то – разные.

Я понаблюдал. Потом не удержался, отозвал ротного в сторону:

– Куда путь держим, командор?

Бармин взгляд выдержал, чего-то там отыскал в карих моих глазах, сказал тихо:

– Далеко. Оч-ч-чень далеко! Там-то мы, на месте, – определимся.

«Вот чёрт! – думал я лихорадочно, – может, добежать до тёщи? По короткому пути срезать, мимо металлобазы, через дворы – полчаса в одну сторону... – Глянул на часы. – Почти час ночи. Явно спят. Нет! Не стоит! Долгие проводы – лишние слёзы!»

И уже начинал жалеть, а позже и вовсе казнил многократно себя за эту нерешительность.

– Ты-то как? – спросил ротный.

– Что?

– Ну... со службой-то как у тебя? – глянул пытливо: – Знаком или так, слышал только?

– Да так... то в артиллерии, то в кавалерии. Сам знаешь, как в военкоматах дело поставлено. Один ящик с личными делами на столе, только руку протяни, а другой на шкафу. Так из какого ящика личные дела чаще вынимают? Чтобы задницу с табуретки не приподнимать лишний раз! Вот я из того ящика, что на столе.

– Сурово! Ну, я с военкоматскими манёврами не знаком, – сказал ротный.

– Да и мне бы их пореже видеть. Лучше скажи – там-то что? В оконцовке... по прибытии? Писец голубой – или белый?

– Да кто же это знает? Писец – он и есть писец, независимо от масти. Доведёт командование до личного состава. В своё время и узнаем. – И по плечу хлопнул крепко, аж пыль вспорхнула коротко, засмеялся нервно худым лицом, фиксой в темноте блеснул, точно лезвием. – Но, похоже, кашу завари-и-или! Физики-теоретики, экспериментаторы-инженеры!

– Чем больше дров наломаешь в этой жизни, тем жарче будет в другой, – сумничал я.

– Я не поп, не скажу точно! – сказал ротный.

«Хорошо ему! Так вот – просто и ясно! А хоть бы и неясно... опасно! Ну, что бы ты сейчас сделал, узнав, что там реально творится? – спрашивал я себя, но, к собственному удивлению, был спокоен. – Не всегда знание во благо!» – только и успел подумать...

– А вот и наш «профессор»! Знакомься! – сказал ротный радостно.

– Гунтис Орманис, – представился старший лейтенант в мешковатой форме «с филфака на фронт». Плотный, невысокий, весёлый пушок на голове просвечивает – фарами машины мелькают на погрузке. Лет ему точно за сорок. Глаза светлые, внимательные и добрые, впрямь – «учительские» глаза. – Командир первого взвода.

– Петраков Владимир. Заместитель.

– Ну что? Вперёд на войну, мужики? – улыбнулся Гунтис. – Смерть нуклидам!

– Без вариантов, – сказал Бармин.

\* \* \*

Начало светать. Робко, неуверенно. Тьма внешняя сменилась белым днём, тьма внутренняя стала плотнее, был у неё свой черёд перемены цвета, но это было не обычное перетекание цветов, а рваные проблески попеременно, местами – серое забытьё.

Серость сгущается перед мраком.

Вчерашнее обустройство открылось во всей красе – нары, сапоги под вещмешком, голова – сверху. Шея ноет, будто врезали по ней ребром ладони. Резкий запах свежей кирзы уже не раздражает. Позабывший, но знакомый со срочной службы.

Ватные матрацы. Туловище, одеревенелое от сквозняков из всех щелей.

С вечера пилотку натянул на уши, синим одеялом накрылся, одни глаза оставил, жжался, ладошки под мышки сунул.

Портянки не снимал. Портянки – гениальное изобретение! Намокли за день – перемотал с другого конца, дёрнул за проушинки, подтянул сапоги вверх, топнул ногой – хорошо! Пока ходишь – сам же и высушил с другой стороны. Ходи себе дальше, службой наслаждайся.

Кто-то спал напротив, не сняв сапог. Бугристая масса тел лежала рядком на нарах, колебалась беспокойно в такт движению эшелона.

Какой крепкий запах кирзы, самые мощные сквозняки не могут перешибить.

Лежал я с краю второго яруса, почти под самой крышей – покатою изнутри, в серых занавесочках мучной пыли на сгибах. Хрупких, под-

вижных. Они смотрелись мирно, по-домашнему. Несколько зёрен пшеницы увидел на карнизе, под крышей.

Эх, вагоны, вагоны! Нет вам числа! Тьмы и тьмы! В разбеге на одной шестой части суши. Сколько вас, всяких, на разные потребности. Несётесь по воле людей и строгому расписанию МПС, государство в государстве, но всякое бывает, тем более когда такая огромная страна раскинулось от моря до моря. Сидят у пульта диспетчеры. Так что нечего нос воротить от трафарета снаружи – «Живность». Ну, кому жаловаться на эту бессмыслицу? Нечаянно, а смешно – вот и всё! И какой-то смысл уже другой в нашем здесь пребывании.

И вот перевозят они грузы, людей, отдельные частички вроде меня внутри организма по имени Страна. Со всеми её свойствами особенными. Потом присоединят к другим, похожим, станем массой, превратимся в мощную волну, и погонят её на прорыв, тушить пожар.

Наше движение в эшелоне похоже на скорость света... свечи.

Так вяло думаю об этом. Просто не могу не думать, так уж устроен. О дезертирах вспомнил без злости, не порицая, лишь выстраивая для себя некую теорию, отвлекаясь на абстракцию, пытаюсь унять остроту внезапной перемены спокойного, размеренного течения ещё вчерашней жизни. Резко вырванный из размеренного наката волны прежних забот, переживаний, жизни – разной, такой замечательной, почти без изъянов, если посмотреть сейчас, с высоты второго яруса нар, оглянуться. Состав дёргается, лязгает пятками железных сцепок, что-то меняется в ритме, отвлекает от грустных мыслей, обостряет в какой-то момент восприятие. Вдруг останавливается вагон, потом снова тихо набирает ход, разгоняется сильно, страшно раскачиваясь в приступе безостановочного наката, будто рассердившись даже на короткую заминку, постепенно перемешивая в моей голове многослойную кашу беспокойных ночных мыслей.

Постепенно обретаю массу покоя и растворяюсь в одеревенелости сна.

Или в ожидании покоя массы?

Впадаю в краткое забытёе, снова просыпаюсь, свежим, но очень скоро устаю, вяло, почти и не противясь мягкому, настойчивому позыву ко сну, даже тороплю его, понимая, что вот сейчас опять растворюсь в этом состоянии неуправляемой зыби и понесёт меня в оцепенении куда-то без сновидений, уставшего, с чужим, изломанным на жёстких досках телом. Эта бесконечная муть анестезировала мозг, желания, впечатления, словно усыпляла перед ответственной операцией.

Я силился представить порядок этих действий, логически их выстроить, и не мог ничего вспомнить, казнясь и досадуя на себя.

Обрывки вчерашних разговоров, невнятные звуки, обморочное бормотание спящих.

Потом вагоны вновь нешуточно разогнались, казалось, вот-вот они прибудут в пункт назначения, но так казалось лишь во сне, ощущения точного времени и места пропали, исказились. Вновь, в который уже раз, останавливались непонятно где, в каких-то перелесках, болотинах, вне городов и населённых пунктов, которые промелькивали редкими огоньками где-то в стороне, отчуждённо, вдруг высвечивался коровник длинным рядом огней, как давешняя электричка, и вновь уносились в лес, убаюкиваемые настойчиво качающимся вагоном.

Ночь, тревожная, беспокойная, вершила свою власть, морочила и настойчиво тащила в неустойчивую муть рваного сна. Вдруг спросонья

мне казалось, что приехали на Дальний Восток. Промчались через всю страну, слышен шум океана, я всё проспал, лежу один в пустой теплушке, а люди куда-то подевались, уехали без меня выполнять важное задание, я страшно волнуюсь, что остался один, это могут расценить как дезертирство, побег, мои подчинённые что-то сделают не так, неправильно, страшно подумать о последствиях, насколько это опасно, я переживаю, и не потому что отдадут под суд, в руки безжалостного трибунала, а не понимаю, как сообщить об этом близким своих подчинённых, ведь я что-то упустил, какое-то важное звено, и все сгинули, растворились неведомо где, а я не смогу показать это место, чтобы было куда прийти и помянуть. Я задыхаюсь, мокрый от пота, вскакиваю резко, смотрю в оконце, подставляю лицо холодному набегу ветра, пытаюсь определить, где же мы сейчас, в какой географической точке пространства, хотя это ни на что не влияет, но я всё равно высматриваю что-то, ищу подсказку.

Всё кажется пустым, никчёмным. Пейзаж европейской полосы.

Приподнялся, увидел Гунтиса. Тот стоял у приоткрытой двери вагона, облокотился на перекладину.

Спустился вниз, встал рядом.

Помолчали.

– Как ты думаешь, где мы сейчас? – прокричал, наклоняясь поближе.

– Примерно в районе Могилёва. Двигаемся в район Чернобыльской АЭС. Там большую кашу заварили.

– Жутковато.

– Я буду бороться до конца, но как только замечу слабоумие – съем двадцать таблеток и уйду.

– Ложись спать. Утро вечера мудренее.

Мы залезли на нары.

Выкрики, резкие, ночные, тревожные, сквозь сонную одурь, вскользь, чтобы не вспомнить поутру деталей, а лишь тревожиться от их непонятности.

Шли явно вне расписания, пропускали какие-то срочные грузы, поезда, но потом старались наверстать, мчались во весь опор. Теплушка скрипела, жаловалась, грозилась развалиться стенками по сторонам, как ящик фокусника на столе.

И вновь стояли, неясно где.

Я приподнимался, всматривался в который уже раз в приоткрытое оконце, маялся, зная, что ничего там не увижу, вдыхал набегающий сбоку ветерок с запахом лесной зелени и едкого креозота, и к утру одурел от движения, внутреннего беспокойства и недосыпа настолько, что стало мне всё равно – куда везут, что там будет. Что-то внутри надломилось и застыло равнодушно, словно куст на краю потока – колеблется и не может выйти на берег, а только надеется, что не унесёт его бурный поток.

И вороньё несётся вдоль дороги стаями. Сколько воронья! На всём пути следования. Галдят гортанно на деревьях, сопровождают эшелон. Вроде бы поотстали, но вот – новая стая эстафету приняла, лезут на глаза, чёрные в темноте на фоне аспидного неба. Прилетели из злой сказки.

И вдруг, невесть откуда, в ритм перестука на стыках:

За поездом, как вехи – галки,  
мелькают,

Взмахнув крылами вёрст  
испуганных,  
Зерно сомнений в борозды дорожные  
бросают.

Пустота набегающих километров ширилась, освобождая место для чего-то прежде неведомого. Оно возникало бесформенно, туманно, ещё не до конца узнанное, из какой-то дали, из чего только лишь начали проступать его жутковатые черты, потому что ничего подобного не было прежде в моей жизни. И апатия уступала место яростной, взрывоопасной, адской смеси безысходности и незнания своего места в том, что двигало сейчас меня, нас всех на самый край обычной реальности, делало её неправдоподобно простой и оттого особенно страшной в незатейливом начале будущих испытаний. Душила злость на происходящее от невозможности его изменить, на свою полную зависимость от присутствия в этом скотском вагоне с диким трафаретом-издёвкой снаружи на стенках – «Живность», и потом – в каких-то колоннах, манёврах, маршах, далеко мне чуждых и ненужных, где моё участие кем-то определено как необходимое и неременное, и терялась почва под ногами от двойной игры, затеваемой сейчас на моих глазах, и не ведалось, сколько времени и жизни отнимет у меня эта «игра в войну».

...«И кончится всё чем?»

\* \* \*

– Я должен вернуться, просто вернуться. И жить. Вот и всё. Пусть это будет совсем не просто.

Мысль эта опечалила меня. Я начинал ощущать весь ужас того места, куда меня везли, но почему так мучительно и твёрдо меня влечёт туда? Где нет видимого врага, и одна мысль об этом уже сейчас ломает изнутри, бросает в противоположные, полярные состояния.

Каким длинным был сейчас эшелон на пути к той неведомой правде, которую ещё предстояло узнать, и так стремительно, неумолимо мчался он к черте, которая могла перевернуть, исковеркать мою дальнейшую жизнь... жизнь близких... И бросить страдать, изломанного и ненужного никому.

«Господи, как же я люблю своих девчонок! – Что-то ещё уплотнилось во мне, расширяя грудную клетку невероятно, упиралось в рёбра, прерывая дыхание. – Как здорово, что вы у меня есть, такие славные... девицы... ламцы-дрицы. И так приятно сейчас о вас вспоминать, родные мои человечки. Я ещё на войну не попал, а уже в плену, Аника-воин», – усмехнулся и сжался, словно изготовился, копил энергию для прыжка, чтобы через пропасть перемахнуть и ничего не поранить.

Я успокоился, словно вместе с переживаниями мусор с поверхности схлынул, появилась ясность, хотя и трудно определить истинную глубину в открывшейся воде: преломляет она многократно, обманывает хрусталик. Ясность ещё не во всём, но в чём-то важном.

Прикрыл глаза, вздохнул. Лежал не шевелясь, оглушённый нахлынувшими на меня словами, усталостью, тревожными мыслями, до шумного прибоя в ушах, звона в голове, возникшего острой иглой в глубине сознания. Обессиленный, ощущая, что застыл мгновенно на той игле.

И словно – умер.

\* \* \*

Вагон оказался третьим от головы эшелона, как я и предположил на погрузке. Толпились у перекладки, глазели на проносящиеся мимо пейзажи.

Неожиданно, как и всё, что делалось в последние часы, встали в чистом поле. И понеслось со всех сторон:

– Обед! Обед... обед!

Высыпали из вагонов, мчались к платформе в середине эшелона. Кособочились на зыбком откосе, вязли в щёбёнке.

Пшёнка уже остыла. Кидали её одним куском в котелки, чай, едва тёплый, наливали в крышки. Белый хлеб, вкривь и вкось нарезанный, просыпался атомами сухих крошек.

С голоду показалась каша вкусной, но сухой, горло драла. Выручал чай.

– Жуйте впрок, – уговаривал повар, – неизвестно когда следующий раз остановимся, а по вагонам – не разносим. Теплушки! Тут купе нету! Не предусмотрено.

Светило ласковое солнышко, многие разделись по пояс, кто-то уже прилёг на травку, коснулся радостно земли, кто-то кинулся в лес. Затеялся перекур. Группками ходили вдоль эшелона.

Спрашивали друг друга. Вроде со смехом, но тревога просматривалась на лицах:

– Где мы? Долго ещё будем ехать?

– Похоже, в европейской части, лес-то вон – смешанный.

– В каком направлении?

– Кажется, на юг катим. Видишь – мох густой? Как учили определяться в лесу?

– Чего на мхи смотреть? Сейчас эшелон развернётся, вот тебе и север будет, а не юг вовсе.

– Да всегда так. Потом окажется – за сто километров отъехали! А туману нагонят! Вояки, чё ты хочешь! Чё везёшь – патроны, куда везёшь – тайна!

– Не скажи! Идём явно вне расписания. Вторые сутки заканчиваются, а мы всё пластаемся! Худо-бедно, но не стоим! Если даже на круг взять полтинник в час, уже где-то в Литве должны быть... может, даже к сябрам подбираемся.

Довольно долго длилась остановка, и кто-то уже забрался не спеша, привычно – в теплушки.

– Слышь, командор, – сказал я, – может, хватит уже в молчанку играть. Начнём людей готовить. Чтоб потом собак перед охотой не кормить.

– Она сколько ты пословиц знаешь! – ответил ротный. Улыбочку изобразил, не понравилось, что зам командира учит.

Не очень был доволен моим советом. Хотя и субординация соблюдена.

Молча прогуливались вдоль вагонов, немного в стороне. Вдруг всё пришло в движение, крики послышались, люди вскакивали на подножки.

– Па вагона-а-а-ам! – понеслось со всех сторон.

Эшелон втащил в вагоны людей, попрятал за досками стенок, быстро набрал ход.

Ротный отозвал в сторону Гунтиса, о чём-то с ним тихо переговорил.

В вагоне расселись тесно на нижних ярусах.

– Так! Бойцы. Слушай все сюда, – приказал ротный. – Сейчас будем заниматься боевой подготовкой по теме «Дозиметрический прибор и работа с ним на местности». Усаживайтесь поплотней, лучше слышно будет. Командир первого взвода старший лейтенант Орманис проведёт первое занятие по теме применения и работе с дозиметрическим прибором. Пожалуйста, товарищ старший лейтенант. Приступайте.

– Химики есть?

– Да.

– Кто? Руку поднимите. Повыше, так.

– Сержант Варис Метриньш, сержант Гвидо Мелнкалнс.

Покраснели оба, белокожие, белобрысые, вспыхнули оттого, что все на них посмотрели разом. Варис поплотней, Гвидо повыше, стройнее, внешне – моложе.

– Хорошо. Кто ещё?

– Я.

– Представьтесь по форме.

– Сержант Карягин. Андрей Карягин.

– Всё? Больше никого? Тоже нехреново! Давно дембельнулись?

– Семь лет, – сказал Гвидо.

– Девять лет, – сказал Варис.

– Семь лет.

– Дети есть?

– Сын, – сказал Варис.

– Холост, – сказал Гвидо и снова покраснел.

– Двое. Пацаны.

– Тогда будет дополнительная инструкция для Гвидо, – улыбнулся Гунтис. – И общая вводная лекция. Такой вот небольшой обзор, я бы сказал, а уж потом – практические занятия. Итак, для начала вопрос – что такое радиоактивность? Это постоянное физическое свойство нашей планеты. Естественный, природный, фон в разных частях Земли разный: где-то ниже, а где повыше, – перекрикивал Гунтис стук колёс. – Естественное излучение постоянно в рамках небольшого колебания и одинаково действует на население планеты. Радиоактивный распад – это самопроизвольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других элементов, сопровождающееся ядерными излучениями, а именно – испусканием альфа-лучей – это альфа-распад, бета-лучей – это бета-распад, протоны же обладают протонной радиоактивностью, а также характеризуются делением ядер. Основная характеристика радиоактивности – период полураспада, единицей радиоактивности служит беккерель, возможно, кто-то помнит устаревшие единицы – кюри, резерфорд. Радионуклиды с периодами полураспада и полного распада. Нуклон – общее название нейтронов и протонов – частиц, из которых построены атомные ядра. Нуклид – общее название атомов, различающихся числом нуклонов в ядре или, при одинаковом числе нуклонов, содержащих разное число протонов или нейтронов. Таким образом, разные элементы, примерно двадцать пять их в списке, имеют очень разные периоды распада. Начиная от йода 135-го – до трёх дней, стронций-89 до пятисот дней, цезий-137 – до 300 лет, и больше, и, наконец, 239-плутоний – до 241 тысячи лет!!! Чтобы грамотно отслеживать весь этот букет, нам необходимо ориентироваться на местности. Кроме «карандаша», приборчика индивидуального – ИД-11, – он достал из внутреннего кармана белый стерженёк с окошком, с приспособой для зацепа, как у авторучки, пощёлкал, поднял над головой, –

существует целая гамма дозиметров разного назначения и мощности.

Гунтис вынул из ящика другой, поменьше, зелёный – армейский. Отстегнул две металлические защёлки, крышку откинул.

– Короче, – засмеялся Геша Лохманов, разбитной сержант, коротко стриженный, немного резкий в словах и движениях, с лёгкой синеватой тенью вокруг правого глаза, – надо умело накрыться белой простынкой и не спеша ползти в сторону кладбища. Так?

– Между прочим, ты удачно пошутил, в том смысле, что при внезапном взрыве действительно надо накрыться белым и упасть – желательнее в ямку, спиной к взрыву. Мы к этому ещё вернёмся! А пока – хватит балбесничать. Пора делом заниматься. – Гунтис уверенно надел на шею коричневый ремень, крышку дерматинового футляра откинул. – Перед вами простой и надёжный способ спасти жизнь себе и окружающим. Можете мне поверить! В этом вам поможет замечательный дозиметрический прибор ДП-5Б. Сейчас мы изучим его внутреннее устройство, правила пользования и порядок поддержания в исправном состоянии, потому что это может очень сильно пригодиться.

Слушали его поначалу не очень внимательно, отвлекались. Вечная скука – гражданская оборона. Сокращенно – «гроб». Потом заинтересованней.

Он поочередно извлекал разные части:

– Прошу обратить внимание на одну вещь – вот эта железяка может здорово облегчить вам существование и вполне вероятно – даже спасти в некоторых нехороших ситуациях. И не только вас, но и тех, кто надеется, что вы с этим справитесь. Так вот – продолжаю для особо одарённых! Хватит дурака валять, смотрите вот сюда!

– Диапазон измерений по гамма-излучению – от пяти сотых микро рентгена в час до двухсот рентген в час. Прибор имеет звуковую индикацию, наушники, на всех поддиапазонах, кроме первого. Питание прибора осуществляется от трёх элементов питания КБ-1, то есть по-простому – круглых батареек типа «колбаска», одна из которых используется только для подсветки шкалы микроамперметра при работе в условиях темноты. Питание – двенадцать вольт или двадцать четыре вольта постоянного тока. Работает пятьдесят пять часов от этих самых «колбасок» типа КБ-1. Масса прибора – три кило двести грамм. Что в него входит?..

Стопнулись вокруг, рассматривали, тумблерами щёлкали, переключали.

– Я на месте подробнее покажу, когда остановимся, – сказал Гунтис.

– Однако толково изложено. Профи!

Прибор рассмотрели и снова уложили в деревянный ящик.

Завалились опять на нары, но сон пропал, призадумались.

\* \* \*

Я присел рядом с Гунтисом:

– Хорошая лекция. Чувствуешь себя уверенней, хотя и не всё ясно.

– Для первого раза нормально. Ничего – повторим.

– Преподаёте?

– Не преподаю – проповедую! В Рижском политехническом. Ленинградский политех заканчивал. Радиология. Семейная профессия. Знаешь – такие квоты выделяют на республики, нацкадры назывались. Вот мы с ней со школы физикой увлекались, а потом – в Ленинград поехали

по этой самой квоте... Хорошее было времечко. – Гунтис помолчал. – Голодное, весёлое, правда, она сейчас полностью на семью переключилась. Четверо детей, сам понимаешь. Скоро и внуки пойдут.

– Воздействие радиации, – улыбнулся я, – по нашим-то временам одного много, а у вас – четверо...

– Нуклиды ни при чём. Сначала в радость, а потом и не заметили. Я их на всё лето в деревню, в сад, сам яблони подобрал, посадил, на пасеку вывожу... пчёлами занимаюсь. Красота!

– Закуришь?

– Не курю. И тебе не советую. В золе и пепле концентрация очень повышается, многократно. А у тебя ещё и усы – вон какие пышные! Рентгены накапливать! Отклеил бы на время.

– Насколько всё серьёзно – ну, там... куда едем? – наклонился, спросил тихо.

– В Чернобыле РБМК-1000, то есть – реактор большой мощности канальный. Способен генерировать мощность в тысячу мегаватт в час. Там такой тип реактора. Их четыре, – Гунтис говорил монотонно, не повышая голоса. – Важной особенностью устройства РБМК является наличие каналов в активной зоне, по которым движется вода в качестве теплоносителя. Вода превращается в пар, а он, в свою очередь, вырабатывает электроэнергию. Такая схема генерации энергии позволила сконструировать мощные реакторы. Активная зона РБМК – это вертикальный цилиндр высотой 7 метров, диаметр 11,8 метра. Весь внутренний объём реактора заполнен графитовыми блоками. Общий вес графита в одном реакторе составляет 1850 тонн. А что там конкретно случилось? Может быть, циркуляция в первом контуре реактора нарушена или возникли течи. Или перепад давления привёл к разрыву прочных чехлов. То есть – оборудование подкачало. Вполне допускаю, что головотяпство чьё-то причиной, нарушение режимов работы. На месте ориентируемся. Чего сейчас гадать!

– Да уж, головотяпства у нас хватает!

– Ты прав, но не совсем, – возразил Гунтис, – я читал закрытый доклад. В марте 1979 года была большая авария у американцев, в Пенсильвании. На втором энергоблоке. Наложилась технические неисправности, нарушены ремонтные и эксплуатационные процедуры, неправильные действия персонала привели к аварийной ситуации. Очень тяжёлой, в итоге была серьёзно повреждена активная зона реактора, включая часть топливных урановых стержней. Впоследствии выяснилось, что почти половина компонентов активной зоны, это 62 тонны, расплавилось.

– Узкий специалист подобен флюсу, – вспомнил я Козьму Пруткова, но промолчал. – Знаю таких людей. Нудноватые, но надо это не замечать, потому что специфика профессии. Футболист – не только на поле футболист, а и в быту. Но человек даже очень дельный... убедительный! И надо же – послал Бог на вырубку! Это хорошо. Не пропадём. Но всё-таки очень тревожно.

Подумал, уже привычно завернулся в облезлое одеяло и стал перебирать в памяти то, что рассказал Гунтис.

\* \* \*

Уныло, надоедливо и однообразно мелькали перелески, станции какие-то. Названия читаемые, но непонятно – где они находятся?

Остановились тёмной ночью в небольшом леске.

Тут же высыпали из вагонов. Побежали за остывшим обедом. Геша всё норовил меня порасспрашивать, какой-то был у него интерес, но я отвечал односложно, а сейчас он прихватил мой котелок, побежал затовариваться пайкой.

Ротный убежал по начальству, в штаб. Я ходил вдоль вагона, ноги разминая, одеревеневшие и чужие от долгого лежания на нарах.

Прибежал запыханный Геша, расплёскивая холодный суп, сцепив пальцами котелки с кашей. Следом топал его дружок, его тень, молчаливый Игорёк.

– Вот тут на бугорочке, вполне комфортно. – Газетку расстелил: – Прошу всех к столу, – каша ништяк! Рисовая, с тушёночкой. Обожаю тушёночку! Именно – армейскую! Ничего нет вкуснее. Могу есть три раза в день. – Он зажмурился. – Жаль, так часто не дают!

Кто-то попытался примоститься сбоку, но Геша отогнал:

– Ну-ка кыш! Дятлы! Место занято! Обнаглели совсем. Не видишь – командование тут располагается.

Мне такое назойливое внимание не очень нравилось, но я его принимал, молчал, выжидая, что же скажет Геша. Я жевал автоматически, не ощущая вкуса, пыль скрипела на зубах, лицо было сильно ею припудрено, и от этого усталость ощущалась заметнее. Жалел, что не умылся перед едой. Как-то всё наскоро получилось.

– А вот вопрос. Разрешите, товарищ лейтенант?

– Да, пожалуйста.

– Вам ничего там... по начальству не доводили?

– В смысле?

– Ну, то-сё... насчёт личного состава роты.

– Списки уточнили несколько раз.

– А так – персонально... никого, ничего?

– Нет. Почему такой интерес?

– Тут дело вот в чём. – Геша заговорщицки огляделся по сторонам и продолжил: – Это только вам рассказываю. Мы с Игорёхой дня два как с морей на берег сошли в родном порту. Пошли к знакомым тёлкам, а там парняги. Ну, мы слово за слово, тапком по столу... Нервы не выдержали. Рубанулись чуток. Шум, крик... за милицией побежали. А они-то нас знают. Я там уже отмечался... Не раз! Да, Игорёк? – Они радостно засмеялись. – Опыт уже есть. Я же в ВДВ служил, могу отбиться. Ну, думаю, залетим сейчас, в моря потом, в загранку, не выпустят. Чё делать? Сидим, как мыши в кладовке, затаились, молчим, не дышим. Ага! На лестнице разговор. Ну, думаю – пришли, архангелы, по нашу душу! Ухо в дверь воткнули – военкомат народ собирает... учения вроде. Ушли, ну мы – бегом! Пришли сдаваться. Там говорят – не вызывали. Мы дуриками прикинулись – как это! Был человек от вас, из военкоматских... А повестка? Ну, мы шарим по карманам – забыли, мол, дома, на подоконнике, да они-то уже рады! Ловить не надо, сами припёрлись с Игорьком! Я им «конину» тихонько в стол подтиснул, дагестанскую. И тут же – вторую, от Игорька привет. Пять звёзд, между прочим, – они опять засмеялись чему-то своему. – Так что просьба, товарищ лейтенант – будут пытаться, не раскалывайтесь раньше времени. Очень вас прошу. Дайте знать... чуть что. Двоим морским волкам – ну не пропадать же на берегу. Верно? – он шумно выдохнул.

– И всего-то?

– Ну да!

– Оповещу, – улыбнулся я, – там мокрухи-то не было?

– Не-е-а! Это точно! Носы помяли, морды помассировали, и всё. Тут мы ручаемся – скажи, Игорёк! Ну не молчи ты! Опять засмурнел, собака!

– Да я согласен! Всё правильно сказал! Чё тут бакланить! – ответил Игорь.

Прибежал Пётр:

– Товарищ лейтенант, на минутку вас.

Отошёл с ним в сторону.

– Я сгонял на разведку, тут какая-то станция маленькая. Может, добежать, расспросить, – рукой показал в густые заросли, – пока наши охламоны не рассекретили? Там женщина. Одна. Я пошёл отлить в соронку, гляжу – окошко светится, – говорил тихим голосом Пётр, – ну и наткнулся... бегом назад. Вы же говорили... надо как-то оповестить... домашних.

Мы стали пробираться через кусты и вскоре вышли к небольшому строению. То ли весовая, то ли ещё какая-то служба при железной дороге. Светилось приоткрытое оконце, сквозь занавеску была видна женщина лет пятидесяти, с короткой стрижкой, лицо спокойное, в очках. Она что-то писала в большую амбарную книгу. Перед ней дымилась большая керамическая чашка, кофе чернело глянцево, блики нефтяные пускало, тонкой голубоватой струйкой тянулся вверх дым, на краю хрустальной пепельницы, солидной не к месту, тлела сигарета с фильтром.

«Не напугалась бы, – подумал я, отодвинул через приоткрытое окно тонкую занавеску, пошире приоткрыл створку, – крику не оберёшься».

– Добрый день.

– Laba diena.

– Laba diena, moteryškė. Koks čia miestas?

– ...Lietuva-Lietuvos pasienis, Toliau-Baltarusija.

– Aš esu iš šito ešelonu. “Partizanai“. Antrą parą jau važiuojam. Žmona su dukra nieko nežino-kur aš randuosi. Visiška nėra laiko. Sustojimas trijom minutėm. Prašau, padėkite.

– Gerai. – Руку спокойно протянула, очки на лоб приподняла, стала в листок всматриваться, кивнула головой – всё понятно.

– Štai lapelis su adresu, ir tekstas apačioje. Išsiųskite telegramą atvyrutėje. Štai jums trys rubliai.

– Nesijaudinkite, aš viska padarysiu, – взяла трёшку мятую, на стол положила, разглядила ладонью аккуратно.

– Аčiū... dėkoju.

– Aš viska padarysiu\*, – женщина улыбнулась, кивнула утвердительно. Зачем-то поправила причёску.

\* – Добрый вечер, женщина. Что за город?

– Литва, граница Литвы. Дальше – Беларусь.

– Я с этого эшелона. «Партизаны». Едем уже вторые сутки. Жена и дочь ничего не знают – где я. Совсем нет времени. Остановка три минуты. Помогите, пожалуйста.

– Хорошо.

– Вот адрес – на листке, там текст внизу. Отправьте им открытку... телеграмму. Вот три рубля.

– Не волнуйтесь. Я всё сделаю.

– Спасибо... спасибо...

– Я всё сделаю (лит.).

Пётр стоял за спиной, почти не дышал, но я чувствовал шевеление волос на своём затылке.

– Ну, вы ли-и-ихо! – тарашил глаза Пётр. – Такое произношение! Прямо... не знаю даже!

– Спасибо, Пётр! Сильно выручил! Даже не представляешь – как! А ты тоже литовский знаешь, что ли? – засмеялся я. – Так обрадовался!

– Нет, но тётка-то всё поняла. Спокойно так уловила! Хорошая тётка. Я глаза видел.

– А я в срочную службу в сорока километрах от Вильнюса служил, отдельный танковый полк при мотопехотной дивизии. Полтора года. Такая история. Ребят было много литовцев. Хороший язык – мягкий, напевный, не злой. И люди тоже попались нормальные. В основном сельские трактористы бывшие, не избалованные. Какая там дедовщина! Сержантом был, старшим механиком-водителем. Скажешь, чего надо сделать, можешь уходить. Пока всё не сделает – спать не ляжет. Вот – через людей-то... лучше всего познаётся. Без словарей. Был такой у нас – Витас Бержелёнис – рисовал, на гитаре играл – талант! Так он и нарисует, и споёт, чтобы понятно было всё. Даже самому как-то хотелось, чтоб получилось... Вот видишь, пригодилось! Поди узнай, когда что понадобится. Хотя и подзабыл, за столько-то лет... Даже, – я засмеялся, ветку отодвинул, придержал, Петра пропустил, – несколько песен знал. Весёлые, шуточные, с притопом-прихлопом... Ну и материться, конечно, научили первым делом. На литовском. Почему это языки легче усвоить с матерщины? Чудно!

– А ну – скажите чего-нибудь такого... матюков. Немного.

– Не хочу ругаться. Не то настроение.

– А как станция-то называется?

– Не расслышал... То ли Каркалай... то ли... Кальваляй... в общем – кончается на «яй».

– Ну, вот – проехали – «Траля-ляй!»! Всё равно – здорово! А я вот за полтора года даже не знаю, как на пуштунском «здрасьте-досвиданья» сказать! «Шурави, шурави». Улыбаются, мягко стелят, в халатах, а ночью – головорезы.

– Гортанный язык, неласковый. Восток. Так ты – Афган прихватил, что ли?

– Было дело. Водитель. Горючку таскал на бензовозе. По серпантину. Чуть-чуть не дослужил. По горам кружим, оцепление, всё как положено. Всё время ждёшь – счас саданут, а по-любому оказываешься не готов. И точно – по крайним как дали из двух «мух» с горочки напротив, достали, гады басурманские, колонна застопорилась, вертушки где-то замешкались на поллёте... ну и запылала весело наши бензовозы как спички. Жарко, вонь, копать чёрная, пальба. Лежу за валуном, отстреливаюсь, ну, думаю – амбец! Они обдолбанные, бородастые, Карабасы-Барабасы, летят с горы, халаты нараспашку – духи! Стреляют веером от пояса, «уаллах-акбар» орут, визжат, как будто режут! Зубы жёлтые... Кадыки перекусить бы, как... ботву на морковке – зубами... Садишь в них, ничего не видишь, выцеливаешь, патронов мало. Жалеешь патроны, в них – моя жизнь! Оставил парочку, затаился. Вертушки тут... ангелы-спасители с небес. Пошла веселуха... отцы-командиры огонь на себя вызвали и с неба ка-а-ак им засандалили по самые не балуй! – Пётр сглотнул, остолбенел коротко. Лицо серое,

как кора на стволе инжира... – Контузило. В ушах звенит противно, не избавиться, не слышу ничего. Упал. Колотит всего, озноб ненормальный, а температуры – нет, я смеюсь, корёжит, горю весь... буквально! Остановиться не в силах, валяюсь, как собака в пыли, камнями исцарапался... боли нет совсем, чужое всё – руки, тело, кожа – деревянное, не моё... не чувствую совсем, – он вновь остановился, замолчал. Кхекнул. Отдышался.

– Не тошнило? В кино показывают – сразу тошнить начинает.

– То в кино! Да они же не первые были... крестники мои. Потом икота напала – думал, сердце остановится. Тут меня подобрали. – Пётр остановился, задохнулся. Грудину потрогал. Снова хекнул громко, продолжил: – В госпитале повалился немного. ЗБЗ дали. «За боевые заслуги». Медальку такую – красивую. И месяц уже как дембель. Гуляю-радуюсь. На работу устроился. Шоферить дальнобойщиком. Жениться вот надумал. Собрался. Да некстати тут эти дела наехали...

– Так ты – герой, Пётр! Без всякой натяжки, – тихо ему говорю. – Мог бы военкому напомнить, не с каждым – вот так-то. Исключительное дело! Я рапорт по команде напишу, только дай добратся, доехать до конечной станции. Я же должник твой, Петруха! Ты ж такого «языка» мне добыл!

– Какие тут считалки!

– Это как долг в преферансе – святое! – засмеялся я. – Ну, на сборы-то тебя зря замели. Надо только волну грамотно погнать – быстро вернут на исходную!

– Сорок пять суток. Здесь же не стреляют. Не люблю просить то, что и так положено! Сами дадут! Крысы тыловые! – И замолчал надолго.

Теперь я был уверен, что весточку девчонки скоро получат. Успокоился немного, лежал на опостылевших нарах, удивлялся рассказу Петра, смотрел на него совсем другими глазами.

«Молодой такой, а уже переломанный. – Глаза вдруг повлажнели. – Пацан совсем ведь, а сколько уже всего намешалось – и равнодушия, и правды, и отчаянья, и жёсткости! Война же – только подумать! И человеческое. Молодой совсем! Это мне четырнадцать лет было, когда Петруха родился. Паца-а-ан!»

\* \* \*

Я попытался мысленно представить на карте Чернобыль. Как обычно, секретили закрытые города названием близлежащей деревеньки. Но это рядом с Киевом. Точно. Где-то севернее, напротив, на реке Припять. Молодой город строителей будущего. Будет ли теперь у него – будущее? И у людей, которые там сейчас? Что там сейчас творится? Хорошо, если учения, а если... И вот это «если» терзало постоянно, не находило выхода разумным контрдоводам, неопределённость усиливалась.

Двигались же мы эшелонами с запада, наверняка угол срезали, вон как спешили – через Белоруссию. К Днепру. Само название станции было на слуху, в первых строках победных партийных рапортов, флагман Украины и страны... Уже лет десять гнали мощным потоком миллионы гигаватт электроэнергии. Что же там стряслось-то?

Сон пропал. Вдруг вспомнил: а отец построил мост в Киеве, через Днепр, вот там и родина моя приключилась – в вагончике мостостроительного отряда. Но больше и не приезжал с того времени. Всё дела как-то, всё мимо да рядом. Кружила жизнь, вводила от родного места,

почти до сорока годов добежал, а вот сейчас взяла за руку и говорит – помогай, сынку! Хватит бегать – приступай! Пора! Почему только сейчас это во мне всплыло? Понадобится ли мост? Может, впрок отец его выстроил? Или с этой стороны буду биться с нечистой? «О как рассуждаю, не иначе – князь Владимир!» – заулыбался тихо, ладошки сложил вместе, под щёку обуял, пристроил помягче и провалился в жёсткую колыбель рваного вагонного сна.

\* \* \*

Мы ехали третьи сутки. Командир на остановке сбегал в штаб, новые батареи принёс. Гунтис провёл второе занятие.

– Теперь у нас есть возможность поработать с прибором конкретно, – рассказывал Гунтис. Он переключал тумблеры, показывал. – При расчёте по верхней и нижней шкале имеется шесть переключателей установок гамма-излучений – с умножением на ноль одну десятую, далее – единицу, десять, сто, двести и тысячу.

– О! Получилось – смотри! – и засмеялись, довольные, вокруг.

Ротный тоже был доволен, улыбался.

Варис и Гвидо помогали Гунтису, объясняли, что-то соседям рассказывали.

Столпились вокруг прибора, вагон качало, но интерес был, даже азарт появился – как при вагонной качке точнее переключиться!

Я заметил по лицам, и это тоже был важный поворот в деле.

Успокоились, перекурили, на нарах опять разлеглись.

Гунтис о чём-то тихо переговорил с ротным. Прибор принёс, тумблеры переключал озабоченно. Лица серьёзные. Командир вообще помрачнел, отвернулся, чтобы не заметили перемены настроения. Лицо подставил в открытую дверь, набегающему навстречу ветру.

«Что-то темнят, химики, – подумал я, – опять придётся информацию выуживать по крохам».

Ротный вернулся на место, слёзы утёр носовым платком.

Я постепенно сближался с подчинёнными.

Сильно занимала меня троица очень разных внешне, но чем-то похожих запасников – сержант Андрей Карягин, небольшой росточком, голос тонкий, всё вразвалочку, словно назло, проверяет – как отреагируешь, испытывает; рядовые – Сеня Бушмин, бесцветный, тощий, высокий, глаза навывкате, сонные, скисшие вечно, лицо равнодушное, порочное, и Юра Цыганков, метр с кепкой, жуковатый, словно в оправдание своей фамилии, глаза большие, угольями жгучими, ресницы неожиданно огромные, пушистые, загнутые кверху плотным заборчиком – любая девушка позавидует такой роскоши. От Юры запах огуречного лосьона неистребимым шлейфом. Так и хотелось мне назвать его «Юрец-огурец». И непонятно – то ли так намазался после бритья, то ли полпузырька внутрь опрокинул.

Много курят дешёвых сигарет, слоняются друг за другом.

Они втроём всё время в беспокойном движении, кружат по вагону, перемещаются в каком-то совместном разговоре, смеются своему чему-то, интересы наособицу от остальных.

И матрацы у них рядом. Бушмин по центру, руки за голову, голова костистая, маленькая, торчит кулачком из воротника. А эти двое по краям, что-то там такое проговаривают шепотком, словно к чему-то

готовятся по-тихому. Потом одновременно оцепенеют, будто проваливаются куда-то, затихнут и лежат, смотрят расширенными зрачками в точку на потолке.

Командир всё это тоже наблюдал, замечал, что и я посматриваю, людей изучаю, стараясь запомнить побольше про каждого и не смотреть в списки. Обращался уважительно, по имени-отчеству – не юноши вокруг.

Ротный подошёл, улыбнулся, наклонился к уху, глазами тревожно показал на нары напротив:

– Как тебе это... трио – живчики намыленные?

– Больно шустрые. Пропеллер в попе. В свою пользу. Такие всегда есть. Лишнюю паечку масла выцепить-затихарить, дело пустяшное, а радости, рассказов – на неделю. Вообще – есть подозрение – чего-то глотают! Весёлое что-то, кайфуют. Пока за руку не поймал.

– Мне тоже кажется – кайфуют. Гляди внимательней, присматривайся. Надо будет экипажи эрхашек формировать. Водители и толковые дозиметристы – вот что в первую голову, оперативно это всё складывать – похоже, с колёс поедом. Сразу в дело. Тут важно не ошибиться. Зона.

Мы замолчали, смотрели на пейзаж за окном без всякого интереса. Слово впервые прозвучало, резануло слух, но каким-то простым смыслом, уголовным, что ли? Опасным. Первая реакция, бытовая. Мы ещё не были военными, выполняющими конкретную задачу. Точнее – ещё не все.

Люди в форме, на марше, в начале пути. Только начиная рассчитывать возможные шаги, ещё не видя всего театра военных действий, границ ответственности в нём, своей очень конкретной задачи – не такой глобальной, может быть, но без которой сложится что-то не так, неправильно, смажет картину, а без точного знания и с места не сдвинуться, а уж воевать – преступно.

Я незаметно проникался этими мыслями, они успокаивали, потому что было впереди реальное дело, надо было только скорее его понять, чётко и точно определить, и быть уверенным, а иначе не будешь правым. В себе, прежде всего, а уж люди это моментально заметят, оценят, надо следить за собой внимательно.

Почему не сработала моя броня на режимном предприятии? Опять чей-то недогляд. Да что уж теперь! Сейчас есть главное – людей немного узнал, примерно догадываюсь, кто во что горазд. Они – на моей ответственности. На моей совести. И быт... и, даже страшно подумать, жизни, но... ведь и так может сложиться? Кто это знает сейчас. Стоп! Будем смотреть по ходу пьесы!

Прилагательные появятся очень скоро – Чёрная зона, Зона отчуждения, Мёртвая зона.

Я отвлёкся, оглядел теплушку.

Какие-то часы, дни прошли, и праздника не стало. Улетучилась радость, планы изменились. Резко, диаметрально. И уже не кажется, что было столько проблем там – в предпраздничном «вчера», и то, что поругивал – нормально, и брюзжал, критиковал, не ценил то, что было привычным, хотелось изменить, сделать лучше... может быть, превратить в праздник. Всё – замечательно! Проблемы – решены. Да их по-настоящему и не было, с сегодняшней этой вот полки, нар занозистых – нет их вовсе.

Неоценённое по-настоящему... счастье?

Я посмотрел на руки и подумал: внутри мучений и раздумий бьётся синяя жилка жизни.

Четыре часа утра. «Собачья вахта» – так называли это время перед заступлением на пост из караулки. Как бы ни выспался – всё равно ломает, хоть ненадолго.

Лежал, сна не было. И так хотелось сейчас крепко уснуть и проснуться в другом времени, с ясной головой, чётко понимая, что же происходит вокруг, делая это «вокруг» полезным и безопасным.

Обычной работой, которая приносит радостную усталость.

\* \* \*

Суматоха началась с утра, едва успели зубную пасту за порог теплушки сплюнуть, щетину подскоблить и не порезаться. Станция Овруч. Немного сзади, в стороне от эшелона, сплит на солнце, облицован тёмной блестящей плиткой вокзальчик.

Позже я пойму, какое это удобство большое, легко доступные для обработки поверхности заражённой местности АРСами – армейскими разливочными станциями, машинами с моющим раствором. Такие большие, ревушие, неторопливо-полезные, зелёные жуки с баками на спине. А там – спасительный раствор! Выстиранная, чистая и безопасная – жизнь!

Приехали! Городка самого не видно, он в стороне и чуть вдалеке: ясно, не пассажиров привезли на дальние, запасные пути. Редкие молодые берёзки, дорога убегает в лес.

Домишки неказистые, травка выпирает из-под заборов чубчиком, сараюшки, куры кудахчут, петух тревожится, трясёт огненным гребнем, головой вертит, капюшон на шее приподнимает, глаза безумные.

На деревню – к бабушке!

Влево однопутка уходит, разветвляются, змеятся рельсы, уплывают кривенько белой блестящей поверхностью в тёплый воздух.

Цистерны рыжими боками маячат, столбы, столбы, семафор прямо, за ним крыша двухскатная, дом высокий на горе, служба какая-то при дороге.

– Пропустите грузовой на Янов! – металлический голос из колокольчика репродуктора на столбе.

Грохот, вонь смазки густым облаком пронеслись. Вослед посмотрели.

Уже потом, по карте, определю я, что путь влево – на станцию Вильча.

Она ближе к Чернобылю, целесообразней было бы выгрузиться там, но до неё не доехали. Причин я тогда не знал, задумываться особенно времени не было.

Вскоре понял – радиация корректировала и подчиняла непредсказуемой реальности. Собственно, главной реальностью была радиация, а что она вытворяла сейчас вокруг, по какой причине и каковы последствия, не было ведомо никому.

Жарко, безоблачно. За трое суток пути двигаться разучились, а уж тем более – быстро. Приземлились и надо учиться ходить. Поначалу вяло включились, потом пошло веселее, но тут солнышко повыше поднялось.

Технику выкатили по сходням металлическим. Стали строиться в безветренном мареве, ощущая постоянную жажду. А тут ещё и респираторы раздали.

Погрузились по машинам, выехали на разбитую дорогу. Пот по лицу, голове, влажнели края респираторов. Испарина по всему телу, гимнастёрки потемнели. Нешадно печёт, словно под большой лупой, фокус наведён прямо на нас, сейчас вспыхнет гимнастёрка на плечах, спине. Лихорадочная мысль в кипящей голове – скорей бы уж закончилась эта попытка раскалённой духовкой.

День перевалил на вторую половинку. Не спрятаться от обжигающего солнца. Прохладу несёт такой желанный, но слишком лёгкий, ленивый ветерок.

Ехали медленно. Ротный впереди с экипажем. Я во втором «козлик».

Молчали. Пётр сосредоточенно смотрел на дорогу. Переднее стекло приподнято. Сзади, на лавочках, рядом со стационарным прибором ДП-3 – сержант Полищук и рядовой Эртыньш. Молчали. Воротники расстегнули, наслаждались набегающей свежестью. Кратковременной, зыбкой и ставшей вдруг ненадёжной, как всё происходящее вокруг.

Чувствовалась усталость, измотанность жарой, тревоги не было. Апатия пригибала ко сну.

– Полищук, – повернулся назад, – Степан Андреич. Шпрехен зи дейч, Степан Андреич!

– Я, товарищ лейтенант! Сержант Полищук! – наклонился: – Прибыл по вашему приказанию.

– Случайно родом не с Полесья?

– Возможно! – заулыбался широким лицом. – Трошки надо обмозговать этот увопрос.

Потом я глянул на небо. Белые ризы подвижных облаков очень высоко трепал едва приметный ветерок, весёлый и легкомысленный. Невесомые, на первый взгляд не опасные, он уносил их в даль океанской, безмерной сини, белой от солнца посередине.

«То поле, то лес, – думал устало, – одно слово – Полесье! Песок и прохлада речная. Хорошо – не тундра».

Странная тишина извне выключала звук мотора. Чего-то не хватало в этой благостной картинке. Вдруг понял.

Пустынная дорога. Грейдером обскоблены обочины. Странный мусор там и сям, непривычный здесь, в таком количестве. Брошенная гражданская одежда. Детские тетрадки ветер листает лениво. Похоже на лихорадочное бегство.

Незримое присутствие многотысячного количества людей, в панике убежавших совсем недавно по этой дороге. Туда, откуда прибыл наш эшелон.

Комбайн завалился на обочину, видно, пропускал кого-то, да не вписался в габариты. Два оранжевых «Икаруса», друг за другом, в кювете замерли кривенько. Дверцы закрыты. Никого рядом нет.

Раздавленный посередине глобус. Тоненькие стеночки яичной скорлупкой, коричневые изнутри, пустые и сиротливые, часть материков исчезла, уже не сложить нормально, и не видно рядом фрагментов. Пропали Индия, Пакистан, Казахстан, европейская часть СССР...

Бегство или... эвакуация? Слово всплыло в памяти и озадачило своим приходом. Мы туда, а кого-то оттуда уже вывезли.

Разгар дня, но что-то мешало принять его в обычном, белом свете. При обилии звуков, их-то и не хватало – именно тех, что делают мир звонким, привычным, – и возникла парадоксальная тишина. Она раздаивалась. И сразу становилось непонятно – почему так происходит со звуками, породившими эту тишину.

Что-то умерло и вызывает горечь, а про то, что зародилось заново, ничего не известно.

Или это всего лишь пекло и обильный пот?

Птицы – не поют! Вот что будоражило, держало слух в напряжении.

Я так и не смог к этому привыкнуть. Просто оглох на какое-то время. Беруши вставил и оглох.

Потом – восстановился слух. И я радовался этому, как ребёнок, благополучно вынырнувший с большой глубины.

Спустя много лет я оглохну реально. Целых полгода не буду слышать, и тогда проявится в памяти то давнее.

Пожилая врач поставит диагноз:

– Сужение ушных каналов. Следствие вашей командировки.

Тогда я стану слышать иначе: как глухо отдаются во мне собственные шаги, и всё вокруг будет восприниматься так, словно стою под душем в шапочке для плавания и все другие звуки пробиваются через плотную резину, становясь словно резиновыми, тягучими.

Несколько месяцев врач будет мной заниматься. Властно, но корректно, не давая впасть в уныние и отвергая мысль о том, что навсегда останусь глухим.

И вылечит.

\* \* \*

Райцентр Полесское остался справа.

По просёлочной дороге выехали к селу Буда-Варовичи, немного совсем до Вильчи не доехали.

Много юной зелени, нежной в нарождающемся лете, ещё не обожжённой, не успевшей пожухнуть и утомиться от солнца. Сиротливые поля. Оглушительно пустынно, в деревеньках никто не выбегает навстречу, нет привычного движения, и ожидание не оправдывается, разочаровывает. Вроде бы день в разгаре, но где люди, живность? В стороне небольшое стадо. Коровы чёрно-белые плетутся, хвостами отмахиваются от слепней. У одной обрублен хвост, похожа на громадного фокстерьера. На полморды чёрная капля, несуразной, клоунской слезой наехала. И всё вместе – так странно.

Мальчик с сумой через плечо, под деревом, прутом помахивает. Глянул вдогонку равнодушно, без всякого интереса. Видно, не первые тут проезжаем.

Какая-то женщина от калитки из-под ладони высматривает тревожно – что там движется, косынку на голове поправила.

Изредка планируют аисты. Парят размашисто, без видимых усилий, чуть-чуть замедленно, странно, усиливая чувство одиночества. Чёрно-белые, японским иероглифом. Перьями шевельнёт на кончиках крыльев, словно пальцами растопыренными, и меняет направление полёта.

Легко, как дыхание.

Почему-то першит в горле, что-то происходит в воздухе, с давлением. Острое покалывание на кончике языка, будто контакты на батареечке лизнул и не проходит, кислинка осталась, отвлекает.

Жарко, много пьём воды.

Приказано остановиться. Красивая лесная поляна. Дальше лес, так заманчиво пройти и накрыться его невесомой тенью, упасть в про-

хладную, упругую траву, чтобы стала она травой забвения. В мягкую как перина пуховая, нежную, брюшком ласкового щенка, в дурманящие ароматы зацветающей растительности. Уснуть, забыться, а потом встать с ясной головой и пойти на речку, плавать долго, до дрожи тела от свежей влаги, до синеватого отлива пупырчатой кожи... И раствориться в этом тягучем, медовом настое, сойти с ума от его простой, могучей силы, а потом встряхнуться и жить долго-долго, понять, что вот это – главное, а не нытье, страдания невесты по какому поводу, поиски призрачного совершенства. Покаяться, что ерундой занимался много лет... Из Эдема изгнали супругов не за то, что знают всё, ну – вкусили от Древа Познания, а потому что не покаяться вовремя, не раскаялись, оставили в себе занозу, чёрную метку гордыни...

И она отравила счастье. Счастье – это безмятежное сегодня, сейчас. Надо его совсем чуточку. Ну хотя бы пару часов блаженства! Но сложность в том, чтобы это чуть-чуть было каждый день. Вот ведь как мудро устроен Человек.

И прости меня, Боженька, если был не прав! Вот и день уже не зря прошёл – нет, не зря!

Нет, не трава, дремучий лес забвения всего плохого и страшного стоял впереди стеной зелёной. Плотно, неприступной крепостью. Лопухи – ветерок подвесил байковой изнанкой новеньких портянок на ветру.

Разминали ноги. Ждали, респираторы сняли. Все, кроме Гунтиса. Он с дозиметром ходил поперёк поляны, замеры делал, изредка пометал в маленьком блокнотике.

Небольшого росточка генерал-майор, окружённый группой офицеров, параллельным курсом также исследовал поляну.

– Строиться по подразделениям!

Гунтис подошёл к группе. Дозиметр собран в футляр, висит на боку, пилотка съехала немного набекрень, смотрится тюбетейкой, если бы не волосы сивые да глаза голубые.

– Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться.

– Обращайтесь.

– Командир первого взвода РХР, старший лейтенант Орманис.

– Докладывайте. По существу! Время, товарищи, время! – и по стеклу часов ногтем постучал нетерпеливо.

– По существу, товарищ генерал-майор, получается следующая картина. – Гунтис показал записи замеров, расчёты. – Предельно допустимой дозой для обычного населения считается половина рентгена в год, то есть пятьсот миллирентген. Делим на 365 дней, и получается, что безопасно поймать за сутки один и три десятых миллирентгена. Такая доза оговорена нормами Всемирной организации здравоохранения. На данный момент мы имеем около ноль три миллирентгена в час, то есть чуть более восьми миллирентген в сутки. Превышение нормы – шестикратное. Для простых, извините, смертных.

– Это что за «прохвэссор»? Кто командир?

– Командир роты капитан Бармин, товарищ генерал-майор! – вышел из-за спин, козырнул привычно Александр.

– Вольно! Вы свободны! Вместе с подчинённым! Наведите порядок среди личного состава. И в подразделении! У нас здесь не колхоз... «Червоно дышло», куда развернул, туда и вышло!

– Есть навести порядок, товарищ генерал-майор.

– И доложить. Лично мне. Позже!

– Так точно, товарищ генерал-майор!

Ротный с Гунтисом отошли в сторону. Молчали. Наблюдали за группой. Спокойно. На лес смотрели, на небо.

– Неужели глупость снова восторжествует? – тихо спросил Гунтис. – В направлении Буда-Варовичи – Варовичи чисто; Буда-Варовичи – Вильча – кричит дозиметр, просто орёт дурным голосом.

Я ладонь козырьком приставил ко лбу, следил внимательно, как планирует аист у самого леса. Эффектно, чёрное с белым. И красный клюв. Роковые цвета страсти.

Как много аистов! С ума сошли. Слетелись со всего света. Клювами перестукивают, звук костяной, кием по шару, голову назад запрокидывает на спину, шея гибкая, длинная, вымеривает луг циркулями тонких ног. Ухаживает за подругой.

«Аисты не поют. Кто же сможет петь, запрокинув голову назад?» – подумал я.

Бармин пожал плечами:

– Ждём, товарищ старший лейтенант.

– Знаете, товарищ капитан, – неожиданно улыбнулся Гунтис, – есть какая-то категория людей, мужчин... вот он – солидный, взрослый, генерал даже, а глянешь с другой стороны... с другой точки, что ли, и видишь пацана, шустрого, любопытного... Что-то такое остаётся на всю жизнь. Сохраняется. А я вот на своего старшего сына гляну иногда – вижу, какой он будет, когда вырастет. Серьёзный, тщательный... Другое зрение появляется в какой-то момент. Я думаю – это не злые люди... Бесхитростные. Подвиг совершают не от хитрости... По доброте. И внутренней уверенности, что ты знаешь своё дело.

– А может, по глупости? – уточнил Бармин. – Обратная сторона раздолбайства... Ну там – поскользнулся и амбразуру накрыл ненароком.

– Вряд ли. Это только внешнее, фантик.

Вдруг от группы отделился майор, похоже – ординарец, добежал к ним:

– Это вы профессор?

– Что за кликухи? – пробормотал Гунтис. – Мы же не в банде, товарищ майор!

– Значит, это! К генерал-майору – срочно, товарищ старший лейтенант! Умничать потом будем. Ясно!

Гунтис шёл с достоинством, неспешно, чуть-чуть вразвалку, остальные молча наблюдали.

– Так, сынок, ну-ка ещё разок и помедленней, что ты там накуркулировал?

Гунтис повторил данные.

– Какова суточная доза для эксплуатации?

– Пятнадцать-семнадцать миллирентген.

– Этта... что же выходит? – возбудился генерал-майор. – Выходит, за три часа съедаем суточную дозу! И не успеем даже лагерь разбить. Ну и домой! В чистую зону. В баню. Так. Командуйте по машинам, майор Валягин!

– По машинам!

Отъехали на семь километров назад. Гунтис шагал широким крестьянским шагом по новой полянке, внешне не очень отличимой от предыдущей. Рядом вытаптывал генерал-майор с очень озабоченным лицом. Свита подобострастно переминалась позади.

Новые расчёты были куда лучше. Здесь можно было жить долго.

Во всяком случае, сейчас это было ясно.

– Ну вот! – Генерал-майор снял фуражку, лысину бледную протёр синим платочком с каёмочкой, стал сразу домашним, совсем не грозным. – Вы же понимаете, товарищ майор! Это подсудное дело! Личный состав так подвести! Здесь же – здоровье! Люди! А вы – мохом покрылись в тылу, с бумагами, понимаешь!

– Так точно, товарищ генерал-майор! – вытянулся ординарец виновато, но как-то несолидно, всё-таки не на плацу – полянка зелёная, каблучки разъехались, как-то уж по-пионерски получилось.

Приступили к разгрузке, установке палаток, обустройству.

За Гунтисом закрепилась кличка – «профессор».

Генерал-майор же частенько вызывал Гунтиса на совещания. Так «профессор» стал при нём советником, как шутил он сам:

– Мудрым евреем при губернаторе. – И добавлял: – При генерал-губернаторе!

Это было кстати, потому что штабные новости я и ротный узнавали первыми и встречали их своевременно, надлежащим образом. А ещё – жизненно важную информацию о том, что творится в Чёрной зоне, какие меры принимаются, кто приезжает и что планируется делать в реальной обстановке, когда реактор, или что там от него осталось, поплёвывает себе в небо без всякой разумной последовательности и приноровиться к этому нельзя. Нужно в какой-то момент просто знать, чтобы отойти, подумать, а уж потом что-то делать, как-то реагировать.

Деревенька Буда-Варовичи была по соседству с лагерем, пешком прогуляться.

Почти три месяца ездил я мимо неё на работу в Чёрную зону. Удачно всё-таки место Гунтис вычислил!

Частенько нас провожал, стоя у забора, местный фельдшер Феодосий Иванович, махал рукой, приветствовал. Он был единственным на всю деревню. Сторожил родные хаты.

Рядом на высоких столбах и растяжках поспевал хмель, насыщенный нуклидами, как бездомная собака блохами, и всякий раз я, проезжая мимо, думал: парадоксальная ситуация! Хмель для производства пива, чтобы выводить нуклиды из организма. Этот же хмель – выводит нуклиды из пыли и воздуха, из оборота природы.

Впрочем, так можно было думать о любом предмете в Зоне и окрест.

\* \* \*

Первым делом установили большие палатки – штабную и столовую. Разметили территорию. Рота располагаться должна была в первом ряду, и получилась правофланговой, во главе полка, остальные рядом и с тыла.

Это было продиктовано оперативной необходимостью.

В четыре ряда под сотню палаток выстроилось.

Три батальона химиков, пожарники.

Штаб полка – в лесочке берёзовом, тенистом, в стороне. Рядом со слагбаумом.

В тылу лагеря «красный уголок» в офицерской столовой, с телевизором чёрно-белым.

Через дорогу, на противоположной стороне от штаба, – большая палатка медиков.

Там я познакомился с будущим президентом Латвии.

И сфотографировался у памятного камня возле сорокового отделения клинической больницы имени Страдыня, на ежегодной встрече ликвидаторов.

Это будет не скоро.

Наособицу – палатка чекиста-особиста. Так её и окрестили – «особняк».

Ротный в штабе с двумя бойцами обрезали ножницами пёструю окантовку, края карт подгоняли точно друг к другу, склеивали на столах в большие листы.

Я командовал разбивкой и установкой палаток. Каждая была на четверых, но их привезли с запасом, поэтому ротный и я располагались в одной палатке, а взводные – Гунтис и Егор – во второй.

Несколько человек выделили на кухню, помогать с установкой, рытьём ям-холодильников, изготовлением стеллажей из досок, столов, лавок. Это то, что необходимо в первую очередь.

Остался с пятью бойцами. Остальные были задействованы в других местах.

Сначала вкопали прочные столбики, сделали нары из привезённых досок.

Ротный вернулся. Построил людей. Сформировал четыре экипажа. Карты раздал, проинструктировал всех, потом каждый экипаж отдельно – как, где и с чего надо начинать делать замеры.

Обыденно, ничего особенного, даже немного скучно.

Вот тогда-то впервые я увидел на карте белой и травянисто-зелёной – город Припять, красноватыми, кирпичного цвета квадратиками, реку, петляющую круто из Беларуси через топкие болота, змеей неспешной, разлившуюся вниз синим размывом, отяжелевшую от воды запруду – она дробилась на ручейки. Стоп!

Вот оно – то самое место, Чернобыль...

И дальше – вновь широкий синий разлив к Днепру, до самого Киева.

И Киев белокаменный – большой город. Такой старинный, что вызывает лёгкое волнение от одного лишь названия.

Я смотрел заворожённо на песчаные извивы автомобильных дорог, пунктиры железнодорожных веток, чёрно-белые, лентой лягушачьей икры размотанные между лесными изломами, полянками, редким ёжиком возделанных полей.

Волнение пришло неожиданно. Захотелось сейчас же сесть в эршапку, выехать на местность. Работа в лагере хоть и была необходимой, но казалась рутинной, неинтересной.

Я видел и понимал, что те, кто сейчас собирается выехать на задание, тоже волнуются, и это настроение овладело всеми. Сосредоточенно, неулыбчиво курили.

Гунтис ещё раз показал, как надо работать с ДП-5Б.

– Трижды проверяйте и перепроверяйте данные прибора, точнее отмечайте на карте места замеров. Мы работаем не на скорость, а на точность!

Бармин приказал:

– Зам – остаётся в лагере, обеспечивает тылы и готовит лагерь к заселению. Это – важно. Обращаю ваше внимание, бойцы: первое – техника безопасности! Респираторы – надеть, а не на ремне у пояса носить. Далее – наша задача: провести замеры уровней радиации – фон, стены, крыши, колодцы, грунт. Если таковые имеются на карте и в вашем задании. Замеры делаем через сто метров, на местности, три-

жды в каждой точке, значение фиксируется среднее или единственное, если нет расхождений. Если нет уверенности, обнаружили что-то непонятное – докладывайте. Чётко, кратко, по-деловому. Ясно? Выезжают четыре экипажа. Старшие – капитан Бармин, старший лейтенант Орманис, сержант Метриньш и сержант Мелнкалнс. Расчётное время на выполнение – восемь часов. Связь – по рации только в экстренных случаях. Пропуски на машину и экипаж получите у меня. Вопросы есть? Нет? Плохо! Буду инструктировать каждый экипаж ещё раз. Начнем с Метриньша...

– Командир, может быть, тут сержант порулит, а я – поеду на задание, – тихо подсказал я Бармину.

Тот хотел что-то ответить, но остановился, споткнулся на полуфразе. Глянул пристально, ответил неприязненно:

– Не волнуйся! Всем хватит работы. Тут её, как воды в Днепре, – носить не переносить! Успеется ещё.

– Жаль.

– Рвёшься в бой? Эт-т-то хорошо, боевой, значит, заместитель у меня!

И засмеялся, но как-то резко, скрывая волнение.

\* \* \*

Экипажи возвращались, отчитывались Бармину. Он почти не спал – сводил данные разведки нескольких экипажей воедино, переносил их на карту.

И так-то худощавый, он ещё сильнее похудел, осунулся, тёмные круги под глазами проявились.

«Очередное звание надо заслужить», – подумалось тогда.

И только позже ясно понял, что командир прикрывал нас, дурней из запаса, неумелых, пока не научились мы работать в Зоне. Здоровьем, жизнью прикрывал.

«Саня, Саня! Голова-кегля! Русский офицер! Две операции на сердце, искусственный клапан. Спасибо тебе!» – с благодарностью думал позже, в который раз переживая те давние события.

Изредка забегал к нему в штаб узнать новости по обстановке.

Прежние страхи понемногу прошли.

– Странная картина, – удивлялся Бармин, – как нас учили: «зона А», «зона Б», «зона С». На занятиях. Вытянутые, как дорожки стадиона. Но не складывается! И данных пока мало! Только начали собирать. Система не просматривается. Ещё работать и работать! Но самое дурное не это. Никто ничего толком не знает. Местные уже начинают потихоньку приходить в чувство, но все смотрят на Москву, а там боятся лишнее слово сказать. И комиссии, комиссии – районные, республиканские... московская летит. Основная версия – пожар на четвёртом блоке. Контур охлаждения не справился, перегрев, крышку блока сорвало. Тысяча тонн! Ты представляешь, какая ураганная сила! Тогда почему куски фонащего графита разбросаны по территории вокруг? А не сгорели? Там же под четыреста рентген. Много, очень много неясного. И – знаешь, какая-то неправда! Вокруг, в воздухе, что ли! С толку сбивает, не даёт сосредоточиться. Отвлекает. Так опасно и горячо у меня ещё не было ни разу!

Закурил. Смотрели молча на карту. Так хотелось поскорее заполнить её, нарисовать на ней знаки, отметки – ориентиры правды. Страшной, но правды.

Чтобы не множить количество погибших.

Бармин наметил следующие выезды в Зону:

– Одни экипажи пойдут на прочёс от очага, другие – навстречу. Вот по таким квадратам. Потом перепроверим.

– Меня тоже задействуй, – попросился я.

– Погоди, ещё успеешь.

Гунтис вернулся.

– Командир, идэшки врут. Сырость, влажность на местности, саморазряд дают. Особенно ночью. Полесье. Какую-то дурь явно показывают. Перед выездом всё просушил, проверил. Как будем учитывать индивидуальную дозу?

– Общий уровень в лагере известен. На него ориентироваться будем. Разницу высчитаем между уровнями в Зоне и здесь, в лагере. Накопительным образом. Хотя могут быть и отдельные «куски». Вот здесь, у переезда, в сторону деревни Толстый Лес. Обронили, что ли... непонятно, немного.

– Получится примерно, а надо точней.

– Согласен. Перебор – подсудное дело. Да и так, по-людски если рассуждать. Граница – двадцать пять рентген на бойца. Это приказ! Суммарно, накопительно. Будем срочно думать.

Гунтис ушел отдыхать после восьми часов работы в Зоне.

\* \* \*

– Утром два экипажа вернутся. Сколько у тебя на хозяйстве, Владимир?

– Пятеро.

– Нормально. Водителям дадим пару часов поспать. Дороги пустые, гонки устраивать не будем. Днём покемарят немного, и нормально. Реальная картина нужна – позарез! Поедешь старшим первого экипажа. Вариса возьмёшь. Пусть он тебя натаскивает понемногу. На местности, в реальной обстановке.

Бармин снова закурил, затаился несколько раз, смотрел в журнал на столе.

– Стоп! А это что за ерунда?! Откуда такие уровни? – вскинулся вдруг. Мы склонились над картой.

– Вправо, на Лубянку – всё понятно. Резких скачков больше не наблюдалось. То есть – на сегодня слева и справа от дороги на Припять фон явно повышенный, а по центру, в направлении Киева – более-менее. Чистый след. Хотя – вот отметка, роза ветров – с той стороны. Ну ни черта не понять! – возмутился Бармин, дым выпустил после долгой затяжки. – А – эт-то что? Кто это привёз... такое?

– Трус, Балбес и Бывалый... Карягин – дозиметрист, Бушмин – мощный, Цыганков – водитель. Бушмин – старший. Тут по карте болотистая местность. Может, не захотели пачкаться, в грязь лезть?

– Нет, ты понял! Я же ещё внимание обратил – вернулись из Зоны, должны были пройти через ПУСО, санитарную обработку, помыть колёса. Тут до лагеря всего ничего ехать, а колёса-то, колёса... сухие! Песка на них – не было! Ну как же я-то, дурья башка, проморгал, не уцепился за такое нарушение!

Он ударил кулаком в ладонь, крутанулся на одном месте.  
– Получается, они вообще никуда не выезжали?  
– Завтра же, с перепроверю. Явная лажа! Будем тихо разбираться и громко наказывать!

\* \* \*

На утреннем построении людей было немного: отдыхали после ночных замеров три экипажа. Предстояло из тех, что в строю, сформировать два свежих.

– Рядовой Бушмин, выйти из строя. Доложите, как вчера проводились замеры вот в этом квадрате, – ткнул пальцем в карту Бармин.

– Как? Очень просто – взяли прибор, включили, прошли вот от сих до сих. Записали. Вернулись после шестнадцати часов дня.

– Сержант Карягин, принесите дозиметр.

Карягин выполнил команду.

– Включайте, показывайте... рассказывайте. Ваши действия по вчерашнему заданию. Чётко! Раз, два, три.

– Да пошли вы все в жопу со своим дозиметром! – неожиданно завизжал Карягин. – Панаму я клал на всё это геройство! Не поеду я никуда! На смерть! У меня двое детей маленьких! Кто их будет кормить потом? Я? Когда стану инвалидом? Или ты, командир, поделишься офицерским жалованьем? Если жив останешься!

Неожиданно он упал на спину перед строем. Потом сел, коленки острые руками обхватил, маленький, жалкий:

– Не поеду я никуда! – визгливым голосом. – Сказал же – не поеду! И чёрт с ней, с присягой... трибуналом! Вернусь через пару лет! Живой! Отцепитесь все от меня!

Вскочил, гимнастёрку с силой рванул на груди, пуговицы отлетели.

Стало очень тихо.

– Отойдём в сторонку, – предложил мне Бармин. – Что будем делать?

– Ну что ты его – накажешь, под трибунал отдашь? Да кому он нужен – «партизан» долбаный! На кухню отправим.

– Что значит – захотят, не захотят! Не забывай – мы в армии! Обстановка реально – боевая!

– Толку от такой разведки всё равно не будет. Один вред – подведут очень легко. А на кухне и в лагере люди нужны. Справимся. Пока сами не запросятся.

– Думаешь – захотят?

– А куда ж они денутся? Коллектив умней нас с тобой! Жизнь заставит.

– Так! Слушай мою команду! – повернулся к строю Бармин. – Экипажу Бушмина объявляю строгий выговор за недобросовестное выполнение задания. На первый раз! В условиях реальной обстановки расцениваю ваши действия как преступные, граничащие с дезертирством. В полном составе отправляетесь на кухню, в распоряжение старшины. Старшина – лично отвечаешь за несознательных бойцов. Если увижу – бездельничаєте, накажу по всей строгости!

Трое поплелись на кухню. Невзрачные в стираном, кургузом, бэушном х/б.

Рослый старшина чуть поотстал.

– Старшина!

– Я, товарищ капитан!

– Ко мне.

Наклонился, приказал тихо:

– Значит, так, старшина – дрючить в хвост и в гриву! Чтобы к концу дня кровавые мозоли от картошки, чтобы – заплакали! Раздолбай! И пощады попросили!

– Понял! У меня – без перекуров! Счас клизматрон сделаем... ведро скипидара с гвоздями! И врубим на полные обороты!

\* \* \*

Палатка медиков стояла отдельно, почти у шлагбаума, на выезде из лагеря. Перед заездом в Зону требовалось обязательно показаться полковому врачу, такому же «партизану», но в отличие от остальных – специалисту. Мимо палатки с красным крестом в белом круге проскочить было невозможно.

Врач наскоро обследовал, налил по кружке чая с йодом, в обязательном порядке заставил выпить. Для профилактики щитовидки.

Редкая гадость.

Только после принятия этого чудо-напитка шлагбаум открылся, и можно было выезжать на замеры.

Через несколько дней оказалось, что занятие это совершенно бесполезное, потому что йод-138 «живёт» несколько часов, а прошло уже намного больше.

Взамен стали давать белый порошок. Очень похож на аспирин из детства, в таких же бумажных конвертиках. Потом – таблетки йодистого калия...

Врач объяснял, что это для выведения нуклидов из организма, для нашего же блага.

«Нас – по большей части неумелых, бестолковых, мирных людей, неопытных и немолодых новобранцев, кинули сюда, в прорыв, как добровольцев с трёхлинейкой против танков, в это незримое атомное пекло, и слепая медицина пытается что-то предпринять руками самоотверженных честных врачей», – так думал я, глотая таблетки перед выездом в Зону.

Первый выезд. Почему-то, когда я произносил эти слова, даже мысленно, с той поездки виделись они только с заглавной буквы. Как имя собственное, географическое название единственного в мире региона.

И первая буква – лопнувшая пружина, вывалилась из разбитых часов. Стрелки замерли на отметке «Ч». Так военные обозначают время подачи сигнала тревоги...

Мы ехали к КПП своего сектора.

Варис сосредоточенно молчал, Пётр смотрел на дорогу. Они уже побывали в Зоне, что-то узнали раньше меня – про эту местность и как себя вести в этой обстановке.

Утренняя сцена с Андреем Карягиным меня расстроила, не отпускала.

«Есть ли какая-то “малая” доза, порог ионизирующего излучения? – думал я. – Безопасная, не такая рискованная? Или вообще – нулевая. Наверное, для каждого по-разному. Существует же радиотерапия, врач прописывает – сколько процедур, как часто, определяет пациенту разовую дозу. Но ведь это тоже – на глазок. А как он учтёт весь ужас, который у пациента внутри? Страх до полной потери достоинства, до

потери себя, лица, того, что, может быть, складывал всю предыдущую жизнь. Вот так – одним махом. Сидит в пыли перед строем взрослый мужик, отец двоих детей. Двоих – мальчишек, вот что ещё важно!

Что об этом тревожиться сегодня – много-мало, доза-уровень, опасно-полезно? Это даже хорошо, что я сейчас здесь, я знаю, что делать, готов к противодействию... Есть – я, работа, люди, девчонки мои любимые, то, что держит на плаву. Всё остальное – от лукавого! Как я шёл к этому, так и пришёл».

Тогда я и предположить не мог, что всего лишь через год с небольшим после возвращения станет Андрей Карягин сильно выпивать...

И уйдёт – первым из роты. Трагически.

Цыганков мгновенно станет алкоголиком, дойдёт до аптечных пузырьков пустырника, календулы, боярышника на спирту... Сгорит в одночасье.

Бушмин переживёт всех – какие проблемы в психушке? Заживёт на года. Вне людей и не в себе.

А тогда они шли на кухню солнечным днём, перемигивались – вполне довольные собой.

И казалось им, что перехитрили – жизнь.

*Окончание в следующем номере.*

**Денис ЛИПАТОВ**

Родился в 1978 году в Горьком. Окончил инженерно-физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. Участник поэтического товарищества «Сибирский тракт». Стихи и проза печатались в журналах: «Нева», «Континент», «День и ночь», «Луч» (Ижевск), «Транзит-Урал» (Челябинск), «Новая реальность», альманахах «Новые писатели» (Москва), «Времена перемен» (Пермь), «Земляки» (Нижний Новгород).

Живет в Нижнем Новгороде.

**МЫ БУДЕМ ВЫХАЖИВАТЬ ЭТОТ ПРОСТОР...**

\* \* \*

Поменялась местами Россия с Америкой –  
такая история на грани с истерикой:  
фанерные домики, фастфуды, автомобили,  
осень в голливудском каком-то стиле.  
Вместо райцентров – уездные тауны,  
пивнушки и бани – салуны да сауны,  
любой алкоголик – что ваш Эзра Паунд –  
утром в мейнстриме, к вечеру – в андеграунд.

Симметрично Америка – та ещё клуша –  
вместо коттеджей – избы на ножках Буша,  
и хотя райсовет зовут пока мэрией,  
а степи вокруг величают прерией,  
Мэри вздохнёт на плече у Билла:  
осень какая в этом году наступила!  
я слово забыла, ты говорил...  
Болдинская – напоминает Билл.

\* \* \*

Здесь, в общем-то, не на что и посмотреть,  
ну так себе – город и город,

не скажешь: увидеть и умереть,  
ну речкой он надвое вспорот.

Пока ты там бродишь в столицах своих  
по всяким культурным пространствам,  
здесь даже до Кирова катится чих  
емелькою на атаманство.

Смотри же, выдумывай жизнь за него,  
любовь и судьбу, и призванье!  
Конечно, ему, дураку, нелегко –  
такие кругом расстоянья.

Но он ещё скажет спасибо тебе  
за заячий тот же тулупчик,  
кивнёт с эшафота, завидев в толпе:  
я тоже с утра, как огурчик!

Мы будем выхаживать этот простор,  
смотреть и выслеживать оком,  
и странный какой-то вести разговор  
о будущем нашем далёком.

Кому из него и о чём ворожить,  
а спросишь – оно вдруг посмотрит устало:  
смотрите, ведь вам, по пословице – жить,  
а нас-то, как раз, и не стало.

\* \* \*

Благовещенская площадь  
если дождик – будто ропщет:  
я пустынна и гола –  
где собор и купола?

Отвечает ей Прохожий:  
я и сам не вышел рожей –  
видишь: сдвинут набок нос,  
темя – голо как поднос,

целый век я здесь канаю,  
но с трудом припоминаю:  
неужели был собор,  
где впустую рыщет взор?

Неужели был я молод,  
неужели полон сил,  
будто в пиве хмель и солод –  
здесь по улицам бродил?

Нет, не помню я собора  
и о том я не грущу,  
а о том, что новый город  
говорит мне: не пушу.

\* \* \*

Стояла Достоевская погода:  
Февраль в обнимку с ноябрём,  
Раскольников курил ещё у входа,  
Смотрел на всех нетопырём.

Князь Мышкин плюхал за трамваем,  
Рогожин в джипе пёр на тротуар,  
Фома Фомич почти неузнаваем  
на радио о чём-то тёр базар.

Дома смотрели косо и уныло,  
видать, за каждым прятали окном  
бомбистов, чтоб их просквозило,  
телегой задавило за углом.

Виня отца во всём, что наболело,  
любой подросток, как Наполеон,  
за пустячок считал любое дело  
и всё грозился выиграть миллион.

Во всём, видать, погода виновата –  
Февраль в обнимку с ноябрём:  
хотелось встать с пикетом у Сената  
и обозвать кого-нибудь ворьём.

Хотелось спорить за горячим чаем  
о Марксе, о французских леваках,  
разбогатеть каким-нибудь случаем  
и снова проиграться на бегах.

Всё это блажь, твою литературу!  
Февраль в обнимку с ноябрём.  
Осваивай, Софи, клавиатуру  
и к Свидригайлову иди секретарём.

\* \* \*

Приметы вроде хороши,  
а настоящее – не очень.  
Пиши, а лучше – не пиши,  
и будешь короток и точен.

Ты лучше никого не тронь,  
угомонись, постой в сторонке:  
сам по себе горит огонь  
и ветер кружится в воронке.

Сама собой и жизнь прошла,  
как расторопная хозяйка –  
с утра до вечера дела,  
и ты ей лучше не мешай-ка.

Она сама всё приберёт,  
одна управится прекрасно,  
она всё знает наперёд,  
да и с тобой всё ясно.

\* \* \*

Только с тем, кто выходит на связь,  
отбивая свой позывной,  
можешь ты говорить, не боясь  
безответно уйти в мезозой.

А иначе – все пальцы сотри,  
бей морзянку, качай вай-фай –  
не ответят тебе – не ори –  
ну и ты им не отвечай.

Позабудь навсегда язык,  
разучись узнавать алфавит:  
словно Маугли – только рык,  
да и то, если правда болит.

Что такого могли сообщить?  
Удивить, рассказать, поведать?  
Так капустой разит общепит –  
зазывает тебя обедать.

\* \* \*

Это всё литература,  
это всё роман с ключом,  
есть игра – замри фигура,  
не волнуйся ни о чём.

Может, рядом море плещет,  
или дождик за окном,  
или девушка щебечет –  
не тревожься ни о ком.

Пусть пройдёт ещё минута,  
пробежит за часом день,  
будь ты Пётр или Иуда –  
ты и сам мелькнёшь как тень.

Потому замри, не прыгай,  
хохоча или ворча,  
а не то водящий с книгой  
не найдёт к тебе ключа.

\* \* \*

Откроем форточку и слышим:  
кошачий лай, собачий визг –

мы, представляешь, этим дышим,  
а вот проехал грузовик –

протарахтел пустой коробкой,  
спеша в гараж или на склад;  
вот пешеход походкой робкой –  
он припозднился и ослаб

душою, телом, головою;  
глаза слезятся, темь вокруг  
и от кошачьего разбоя  
в душе – возня, в ногах – испуг.

Ты это помнишь, слышишь, знаешь:  
ты тоже будешь тот старик,  
и жадно с воздухом глотаешь  
ночные страхи, шорох, крик.

\* \* \*

Он видит эр делённое на дэ,  
а надо бы – «российские дороги»,  
транзитный поезд из Улан-Удэ,  
с «плацкарты» свешивая ноги,  
причаливает. Смотрит проводник,  
осоловевший от дежурных суток –  
как Будда он из хаоса возник,  
как будто – из дорожных прибауток,  
из вони «дошираков» и хамсы,  
из пагод простыней у туалета,  
из дембелей, попутавших рамсы,  
из ругани – а кто здесь без билета? –  
из санитарных зон с закрытым нужником  
надёжней Северной Кореи –  
он в щёлки глаз затурканным божком  
глядит, с недóсыпа дуря.  
Читает: «Управление р/д»  
и на себя досадует и злится –  
зачем ему – улану из Удэ –  
за этим ребусом тащиться!..

## Александр КАБАНОВ

Родился 1968 году в Херсоне. Украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке.

Автор десяти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.

Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» – за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и других. Стихи переведены на украинский, английский, немецкий, нидерландский, финский, грузинский, сербский и другие языки.

Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

## ЛЮБЛЮ У ПУШКИНА СОВЕТСКИЕ СТИХИ...

\* \* \*

Твои дела – не так уж плохи,  
вот паучок вбирает нить,  
а вот – капризный тембр эпохи –  
его попробуй уловить.

Корабль плывет, дельфины лают,  
судьба – вместилище трухи:  
как жаль, что нынче не ссылают,  
не убивают за стихи.

\* \* \*

Я извлечён из квадратного корня воды,  
взвешен и признан здоровым, съедобным ребёнком,  
и дозреваю в предчувствии близкой беды –  
на папиросной бумаге плавая в воздухе тонком.

Кто я – потомственный овощ, фруктовый приплод,  
жертвенный камень, подброшенный в твой огород,  
смазанный нефтью поэзии нечет и чёт,  
даже сквозь памперсы – время течёт и течёт.

Кто я – озимое яблоко, поздний ранет,  
 белокочаный, до крови, расквашенный свет,  
 смалец густеющий или кошерный свинец,  
 вострый младенец, похожий на меч-кладенец?

## Е-mail В Царское Село

Нарезал лук, очистил стол от шелухи  
 и, прослезившись, сам себе признался:  
 люблю у Пушкина советские стихи,  
 с глагольной рифмой, с прилагательной люблю,  
 а вот Державин мне – не показался.

В постылом офисе, в «Фейсбуке», во хмелю –  
 о декабристах почитать, о путче,  
 красавица, я Пушкина люблю,  
 но, иногда, у Лермонтова – лучше.

Пейзажной лирике – так чужеродна месть,  
 и дольше века длится эстафета:  
 жить стало лучше, можно пить и есть,  
 и это есть – у Тютчева и Фета.

У Бродского Иосифа особенная статья,  
 и как нелепо, ангел мой, представить,  
 что: может электричество – предать,  
 и даже – нефть, прости меня, подставить.

Как жаль, что бедный Пушкин – не товар,  
 о, сколько б родин, я продал за это:  
 чтоб слышать поступь, чують перегар –  
 грядущего советского поэта.

\* \* \*

Облака под землёй – это корни кустов и деревьев:  
 кучевые – акация, перистые – алыча,  
 грозовые – терновник, в котором Григорий Отрепьев,  
 и от слёз у него путеводная меркнет свеча.

Облака под землёй – это к ним возвращаются люди,  
 возвращается дождь и пустынные глазницы его.  
 Спят медведки в берлогах своих,  
 спят личинки в разбитой посуде,  
 засыпает Господь, больше нет у меня ничего...

Пусть сермяжная смерть – отгрызает свою пуповину,  
 пахнет паленой водкой разохшийся палеолит.  
 Мой ночной мотылёк пролетает сквозь синюю глину,  
 сквозь горящую нефть и нетронутый дальше летит!

Не глазей на меня, перламутровый череп сатира,  
не зови за собой искупаться в парной чернозём.  
Облака под землёй – это горькие корни аира...  
...и гуляют кроты под слепым и холодным дождём.

Мы свободны во всём, потому что во всём виноваты,  
мы – не хлеб для червей, не вино – для речного песка.  
И для нас рок-н-рол – это солнечный отблеск лопаты  
и волшебное пенье подвыпившего рыбака.

\* \* \*

Крыша этого дома – пуленепробиваемая солома,  
а над ней – голубая глина и розовая земля,  
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,  
и тебя встречают люди из горного хрусталя.

Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,  
каждой гранью сияют отполированные тела,  
старшую женщину зовут Бедная Линза,  
потому, что всё преувеличивает и сжигает дотла.

Достаешь из своих запасов бутылку «Токая»,  
и когда они широко открывают рты –  
водишь пальцем по их губам, извлекая  
звуки нечеловеческой чистоты.

## Побег в Брюгге

Я назначу высокую цену – ликвидировать небытие,  
и железные когти надену, чтоб взобраться на небо твоё,  
покачнётся звезда с похмельюги, а вокруг – опустевший кандей:  
мы сбежим на свидание в Брюгге – в город киллеров и лебедей.

Там приезжих не ловят на слове, как форель на мускатный орех,  
помнишь Колина Фаррелла брови – вот такие там брови у всех,  
и уставший от старости житель, навсегда отошедший от дел, –  
перед сном протирает глушитель и в оптический смотрит прицел:

это в каменных стойлах каналы – маслянистую плёнку жуют,  
здесь убийцы-профессионалы не работают – просто живут,  
это плачет над куколкой вуду – безымянный стрелок из Читы,  
жаль, что лебеди гадят повсюду от избытка своей красоты,

вот – неоновый свет убывает, мы похожи на пару минут:  
говорят, что любовь – убивает, я недавно проверил, не врут,  
а когда мы вернёмся из Брюгге навсегда в приднепровскую сыть,  
я куплю тебе платье и брюки, будешь платье и брюки носить.

\* \* \*

Мой милый друг! Такая ночь в Крыму,  
что я – не сторож сердцу своему.  
Рай переполнен. Небеса провисли,  
ночью в перевернутой арбе,  
и если перед сном приходят мысли,  
то как заснуть при мысли о тебе?  
Такая ночь токайского разлива,  
сквозь щели в потолке, неторопливо  
струится и густеет, августев...  
Так нежно пахнут звёздные глубины  
подмышками твоими голубыми;  
уже, наполовину опустев,  
к речной воде, на корточках, с откосов –  
сползает сад – шершав и абрикосов!  
В консервной банке – плавает звезда...  
О, женщина – сожжённое огниво:  
так тяжело, так страшно, так счастливо!  
И жить всегда – так мало, как всегда.

## Александр АМЧИСЛАВСКИЙ

Родился в Москве. Окончил пединститут (отделение русского языка и литературы), Ленинградскую академию художеств имени И. Е. Репина (искусствоведческий факультет).

Работал в Политехническом музее (Москва). С 1990 по 1998-й жил в Израиле. С 1998 года живёт в Канаде. Основная профессия – художник-ювелир.

Стихи публиковались в журналах «Новый Свет» (Канада) «45-я Параллель».

### В ТУ НОЧЬ БЫЛ ДОЖДЬ...

\* \* \*

Ты в призывном молчаньи свечу, как звезду, зажигаешь.  
 Ты дышать забываешь, как будто по небу шагаешь.  
 Невесомый фонарик держи,  
 Улетает на время душа  
 От компьютера, книг, утюга, от тарелок и кружек,  
 От картонного домика с кошкой, цветами и мужем  
 И летит то ли вверх, то ли вглубь,  
 Словно Имя заветное с губ,  
 И кружится, танцует фонарик и длится свеченье,  
 Это все – наяву, это просто твое возвращенье,  
 И не страшно, что крылья несут  
 В тот же кукольный домик вниз.

\* \* \*

Остави, ослаби, прости, беззаконие мне.  
 Я слуха и зренья лишился, мне память отшибло,  
 и так далеко до Тебя, что досадной ошибкой  
 я вижу себя иногда на большом полотне,  
 где тонкими нитями выткан высокий подъём  
 и чувства земные охвачены строгостью линий...  
 Прости, что мне ближе капризная женственность лилий  
 и запахи слова, и бёдер послушных излом.  
 Ослаби мученья и злые сомненья прости –  
 я руки тяну, разрываясь меж небом и плотью –  
 я твой полукровка, твоё боковое отродье,  
 которое не удержалось в отцовской горсти.  
 Я малую вечность обрёл для коротких забав  
 и долгие выдумал игры в разлуку и веру,

и солнцу, и сыну его, и попутному ветру  
 молился, и лишь имена застревали в зубах,  
 и всё, что осталось и сколько осталось цвести, –  
 мне руки смыкать в послушании плеч и коленей  
 и Слова касаться, и в радости прикосновений  
 к Тебе приближаться и вновь забываться. Прости...

\* \* \*

Я дом ищу, увиденный во сне.  
 Проснувшись, но ещё не возвратившись,  
 я чувствую его от стен до крыши,  
 до воздуха, до тополя в окне,  
 я узнаю в рисунке облаков  
 небесных рыб, спустившихся за кормом,  
 и вижу, как проходит узким горлом  
 едва заметный снизу поплавок.  
 Мой дом выходит из пределов сна,  
 и за мгновенье до... могу успеть я  
 своё почти истекшее бессмертье  
 коротким предисловием признать,  
 и, начиная медленный подъём  
 из многолетней, поимённой пыли,  
 я, может быть, найду окно навывлет  
 и, может быть, пройду из дома в дом.

### Номинация «Там»

За тонким полотном привычного лукавства,  
 где жесты не видны и не нужны слова,  
 мы бродим по тропе и выбираем царство,  
 и каждый божий день наследуем права.  
 Мы все еще спешим нести земную подать,  
 уже подняв глаза, преемствуем дары,  
 в проснувшейся душе еще тоскует похоть,  
 меняя каждый раз условия игры.  
 За тонким полотном все просто и понятно,  
 земное мастерство там явно не в чести –  
 от самых громких слов там остаются пятна,  
 от самых тихих слез там небеса чисты.  
 За тонким полотном меняются пейзажи,  
 послушные как воск в невидимой руке, –  
 вздымает кроны лес и плавится от сажи,  
 и меркнет божий свет, и трупы по реке,  
 и тут же все в цветах, которым нет названий,  
 шмели плодотворяют, блаженствуют сурки –  
 и снова всех и вся зализывает пламень  
 по прихоти все той невидимой руки.  
 За тонким полотном совсем другая местность –  
 от жгущей белизны до полной черноты,  
 и высших маяков спасительная честность  
 рассеивает нас по обе стороны,

и мы идем, враспах разрезанные двойни,  
еще кровотока, уже вбирая цвет...  
За тонким полотном мы все как на ладони...  
и все белым-черно, и сверху льется свет.

### Номинация «Здесь»

Когда-то давно мы о жизни мечтали светло и возвышенно,  
слова, словно юные девушки, к нам забежали в дома,  
манили, белея собой, под кружевами и вышивками,  
нам руки протягивали, кружились, скользя по губам,  
смотрели в глаза, убеждали, дороги нашептывали,  
давали дотронуться взглядом до незнакомых надежд,  
а мы – отставали от них, становились судьбы своей  
собственниками  
и взрослели, и землю утаптывали с необратимой неспеш-  
ностью малых удач, поражений, сезонных печалей,  
и нынче, опомнившись, снова стремимся туда,  
где прекрасным словам мы взаимностью не отвечали,  
и в альбом черно-белый врываемся с криком «О да!»,  
чтобы снова, легко, безмятежно,  
как прежде, светло и возвышенно...  
и глазами скользить и скользить,  
повторя движения губ...  
и безветрие прошлого  
разглядеть в маловерии нынешнего,  
и прощение просить за себя на другом берегу.

### Номинация «Эмигрантский вектор»

Без усталости, который день и год  
слова слагаю в поисках решения,  
как будто в этом словоналожении  
пытаюсь угадать заветный код,  
как будто дом с распахнутым окном  
возникнет из случайного сплетенья,  
и станет явью то, что было тенью,  
и тенью станет нынешний мой дом.  
Вплотную, только в слове от меня,  
высокий мир и дышит, и роится,  
и тем же словом замкнута граница  
и недоступна для таких, как я, –  
почти преодолевших свой порог,  
вещающих о выходе из плена, –  
вздывается псалмов тугая пена  
и киснет в западне искусных строк,  
и праведность далекого колена  
мне до сих пор оттуда множит срок,  
неволит, прижимая локти вдоль,  
начитывает ветхие основы,  
и «Господи!» – кричу я, – «кровь за слово  
возьми мою», – и шепотом: «позволь»...

\* \* \*

Когда ты уйдёшь, растворится твоё волшебство,  
 пузырик живого дыхания двинется дальше  
 и всё, что ты выловил, выткал из творческой блажи,  
 осядет на плоскость, лишившись всего твоего.  
 Сказитель падёт на лицо, обрывая напев,  
 герои застынут, уткнувшись мечами в потёмки,  
 осколки сюжетов закрутятся в серой позёмке  
 и сгинут как не были, доворожить не успев.  
 Ты ладил слова, будто нежные сети вязал,  
 и нам, легковёрным, показывал смутные дали,  
 где мы, шаг за шагом, в словах как в сетях увязали  
 и счастливы были, блаженно смыкая глаза.  
 Там было прекрасно – твои орхидеи цвели,  
 драконы парили, печалились бледные девы  
 и руки тянули в надежде, и тихое «где Вы?»  
 равняло с богами, и не было рядом земли.  
 Когда ты уйдёшь, растворится твоё волшебство,  
 рассохнутся сети, лишённые сладкого яда,  
 и та же земля, столько лет возлежавшая рядом,  
 прижмётся щекой в ожиданье меня самого...

\* \* \*

В ту ночь был дождь. Нагретая земля  
 была сыта и влаги не просила,  
 она глотала воду через силу,  
 захлёбывалась, больше не могла,  
 пускала пузыри вокруг крыльца,  
 кружила дом, как брошенную лодку,  
 в которой двое... навзничь... локоть к локтю...  
 лежали, повторяя без конца  
 два слова... имени... а дом, качаясь, плыл,  
 и в нём они друг друга окликали,  
 как будто дверь за дверью отмыкали  
 сокровищницы или же судьбы –  
 никто не знал. Я помню этот дождь –  
 он вдребезг напоил окно из рамы  
 и шёл по волосам, губам, глазам их,  
 смывая пыль... и опыт, память, боль, и ложь...  
 и был при этом бережен и тих –  
 они другие звуки различали –  
 любви – они в ту ночь меня зачали,  
 и ожил я любовью их двоих.

\* \* \*

Война приходит каждому своя,  
 селясь везде – внутри тебя и возле,  
 и делит белый свет на «до» и «после»,  
 в колокола тяжелые звоня.  
 Небесный свод, теряя высоту,

становится землей и пахнет хлебом,  
и ты, еще живой, взлетаешь в небо,  
как часовой, забытый на посту.  
Горячим пеплом замкнуты уста  
и длится миг, и колокол все глуше,  
и сквозь тебя летят другие души,  
кристалл земли деля на полюса.

\* \* \*

Я жизнь свою живу как будто Бога нет,  
как будто я – один, а жизни – слишком много,  
и шепчет в глубине, что нет меня для Бога,  
какой-то из двоих, ютящихся во мне.

Я книги прочитал, услышал всё, что мог,  
обрёл – что не хотел, нашёл – что не искалось,  
и только женских губ горячая алость  
напоминает мне, что выше – только Бог,  
которому нет дел до наших пиктограмм,  
изысканных стихов и выведенных формул,  
который добровольно служит нашим кормом,  
когда приходит день и мы возводим Храм.

Сегодня и всегда в виду Его вершин  
мятежные сердца, поднявшись и склонившись,  
рождают вновь слова, оставленные Им же,  
и счастливо несут младенчество души.

## Марина ВОРОНИНА

Родилась в портовом городе Беломорске (Карелия). Окончила театральную студию при Русском драматическом театре Петрозаводска. Выйдя замуж, уехала в Нижегородскую область, работала сотрудником администрации города Городца, репортером, заведомо районной газеты, внешкором нижегородских и московских изданий, редактировала многотиражку завода гусеничных тягачей.

Прозу пишет с 1990 года. «Причина – неизбывная и мучительная любовь к Северу...» Публиковалась в журналах «Знамя», «Дети Ра», «День и Ночь», «Север», коллективных сборниках и альманахах.

Живет в Городец Нижегородской области.

## ПОПУТЧИЦЫ

Зимы здесь серьезные. Влажные ветры, занавешивающие Станцию сизой марью, сменяются неистойвой стужей. Колючий воздух полон треска и стука. Трещит ледяной толщей большая река и стонут от ее объятий сваи мостов. Скрипит под ногами снег, шуршит иней на остеклевенных ветках, расщепляются пробитые морозом заборы и гулко лопаются деревья.

Опускается вниз небесное северное сияние. Радужные всполохи пляшут по земле, протыкая ее зелеными, синими, багряными иглами, гаснут и вспыхивают, словно неоновая занавеска. А люди проходят сквозь, ничего не ощущая.

Лето тоже не из простых. Теплом особо не жалуется, а снегом позабыть – пожалуйста. И обязательно чтобы ветер, и запахи – то гниющих водорослей, то солидола рассохшихся шпал, то недалекой зверофермы, то свежего улова с портовой стороны.

Много ли телесной радости от такого климата? Только ностальгия способна облагородить прелестью беспощадные погоды Севера. И нет для жителей, пусть и привыкшим к вечным ненастьям, большей радости, чем удрать в отпускное время куда подальше – чресла расправить и душой отогреться на жирных от солнца южных широтах.

Поповы традицию убежать с малой родины соблюдали неукоснительно. О здоровье пеклись, благо средства к тому имелись. Не богатеи, нет. Вика – завуч музыкальной школы. Виктор – чиновник в админис-

трации. Должность не великая – замзава общего отдела, но карьерная. Прямое подчинение отдела Первому Лицу давало преимущества, которыми Виктор дорожил не менее, чем удачной супружеской жизнью.

Так что на райские куши средств у Поповых хватало.

Они были женаты шестой год, друг друга любили, а вернее уважали, и это уважение цементировало союз не хуже, чем лирические проявления нежностей.

Здесьней из них была жена. Сам он, побывав на Станции студентом, когда по стране кочевали стройотряды, оценил и своеобразную прелесть здесьней природы, и перспективы кадрового дефицита. После института сюда вернулся и в принципе не прогадал.

Жизнь их с Викой текла размерено, обеспечено, в удовольствие. Как смеялся иногда Виктор, прикрывая смехом умиление: «О заоблачном не мечтаем, желаем того же, что и все желают, а имеем немножечко больше, чем некоторые». Отдыхать ездили каждый год, меняя границу на привычные черноморские берега и наоборот. Запланировали увеличение семейства.

На этот раз с курортным вояжем они припозднились. Собрались, когда холодный август залился моросющим дождем.

Из-за разгулявшейся непогоды, когда попрятались даже железные кони в гаражи, к поезду едва успели.

– Шестой?! – прокричал Виктор, подтаскивая чемоданы к вагону.

– Ну шестой, – лениво ответила проводница, сплюнув на бюст, утянутый кителем, тыквенную шелуху. – Долго копошиться! Залазьте. Да ноги-то вытирайте! Убирай тут за всеми...

Подтолкнув корпусом пассажирку, проводница взобралась следом, и поезд тронулся. Проплыл мимо блестящий от дождя перрон, мигнуло прощально зеленое око семафора.

– Вот и едем, – притормозила у вагонного окна пассажирка. За стеклом мелькали черные силуэты то ли изб, то ли скал и казалось, состав мчится по чьей-то утробе, в окончаттельную и абсолютную тьму, где уже не будет ничего – ни хорошего, ни плохого, ни желаний, ни мыслей.

– Это ро-одина-а моя-а, – тихо пропела она, в очередной раз удивившись своей горькой любви к этому нахмуренному, вечно страдающему пространству

Из купе вышел муж.

– Попутчица у нас. Черт бы побрал...

– Что ты ругаешься?

– Сама увидишь. Здесьний контингент.

– И чего ты, как за порог, вечно недовольничаешь? Может, никакой она не контингент.

– Иди, убедись. Я пока с проводницей разберусь.

В углу диванчика, забившись, сидела женщина. Зыркнула по Виктории зашуганным взглядом и отвернулась. Маленькая, гладко зачесанная в жидкий хвостик, голова отсвечивала жиром, из растянутого воротника свитера торчала худая шея.

– Добрый вечер.

– Здрсс... – послышалось из угла.

– Ох, не заладилась погода! И раньше-то лето мало чем радовало, а нынче вообще как взбесилось. Намерзлись, пока до вокзала добрались. Вы уже пили чай?

– Нет, – покосилась попутчица.

– Давно едете?

– Не знаю. Часов пять-семь.

Вика переобулась в тапочки, принялась вынимать из волос шпильки.

– Меня зовут Виктория. А вас?

– Потапова.

– Очень приятно.

Оранжево-красные пряди заколыхались по спине. Не глядя в зеркало, Вика провела по ним расческой, собрала в небрежную косу. Когда-то она считала, что красивые волосы – главная подробность ее привлекательности и гордо холила, пока муж не изменил ей с дамочкой, носящей парик. Конский каурый парик, натужно имитирующий натуральную шевелюру. Вика постаралась тогда простить измену и не помнить о неожиданной безвкусице мужа, но каждый раз, прикасаясь к утратившим всякую ценность своим локонам, укалывалась обидой и торопилась поскорее закончить и с прической, и с воспоминанием.

Попутчица исподлобья наблюдала.

– Не надо бояться, – как можно мягче сказала Вика.

– Чего? – вздрогнула женщина.

– Вы меня боитесь. Напрасно. Смотрите, как тепло здесь, как уютно, мягко. У вас билет и у меня билет. Далеко вам, кстати, добираться?

– Ночь ходки.

– Значит, надо заказать чай. Мы будем пить его, как две свободные красивые женщины.

– Ну тогда... Людка меня звать, – ощерилась гнилыми зубами соседка и протянула шершавую, в пятнах отверделых мозолей, ладонь. Серые глазки ее оживились, губы сморщились в куриную гузку. – Чаю правда хочется. А то еду-еду, живот свело. А где здесь кипяток берут? У меня ведь... – она вытащила из-под ног обтрепанную сумку. – И заварка, и сахар есть.

– Славно. Сейчас я схожу к проводнику.

– Не надо! Сидите! Сама сгоняю, покурю до кучи...

В купе проводницы слышались голоса.

– С какой стати вы эту зэчку подсадили?

– Я, что ли! Милиция распорядилась. Мне самой больно нужно. Украдет чего, отвечай потом.

– Переведите в плацкартный вагон! – сердился мужчина.

– Нету, мест нету! У нее билет на это место. Да вы не переживайте, ей недолго ехать, к утру сойдет. За вещами только присматривайте.

– Черт знает, что творится! Не вздумайте спать – с такими-то пассажирами!

– Не буду, что вы! Стучите, ежели чего. Я все время тута буду.

Людмила показала двери шиш и прошмыгнула в тамбур. Задымив осыпавшуюся беломорину, петушилась перед самой собой.

– Боюсь-боюсь. Никого я не боюсь! Струхнула, конечно, чуток – вона публика какая в поездах ездит! А баба ничего, кажись. Не брезгует мною. Или придуривается? А, плевать. Чаю зато напьюся.

Но проводницы на месте уже не оказалось.

– Там это, нет никого, – растерянно доложила она Вике. Стол красовался янтарным куриным брюхом, торчащим из серебряной фольги, горкой зажаристых пирожков, яйцами, прочими дорожными изысками, без которых не обходится путешествующий русский пассажир.

– Вы бы подождали, гражданка! Дайте переодеться! – перекошило раздражением Виктора.

Людмила осторожно задвинула дверь.

– Смычка города с деревней? – буркнул муж. – Не слишком-то изошрайся.

– Что так?

– Птицу, что ли, не разглядела?.. Эти северные лагеря как грибы, вот где мне уже сидят, – шлепнул себя по шее. – Корми их, перевоспитывай. Прорву денег сжирают тунеядцы! А толку? Еще наглость имеют в пассажирских ездить! Расконвоировали – в теплушку, и так до самого дома, чтобы людям нервы не портить.

– Остынь, идеология. Едет человек себе и едет.

– Никак возникла потребность обласкать юродивую?

– Раздражает?

– Смешит. Ха-ха. Но! – уперся Виктор руками в воздух. – Не желаю вмешиваться в подобную самодеятельность. Заигрывай, на здоровье. Взрослый человек!

Вика знала, что муж давно устал от местных реалий, не рассчитав сил, когда напросился сюда молодым учителем. А поначалу упивался восторгами.

– Острова! Вода! Вековые ели! Прорва мостов! Да это просто Венеция северная – как ты не понимаешь!

– Понимаю. Только мы, тутошние, знаем цену каждому бревнышку в этих мостах. Золотые, скажу тебе, бревна!

– Вика, проза жизни меня не интересует.

А проза сидела за партами в школе, ходила в ватниках по улицам, с пьяным матом натыкалась на Виктора везде и всюду. Скоро его восторги притухли. Ни воды, ни неба он больше не замечал, о местных жителях отзывался с небрежением. И чем успешнее складывалась карьера, тем труднее ему было делать вид, что ради светлого будущего этого-то сброда, заселившего гнилыми хибарами острова, он и трудится. Жена понимала и жалела его, словно ребенка, которому предстоит еще многому научиться.

– Давай ужинать, милый. Сколько я наготовила. Наешься и пообдереешь. А, вот и наша попутчица! Прошу к столу, чай потом принесут.

Людмила настороженно смотрела на уткнувшегося в журнал Виктора.

– Угощайтесь, Люда свет-Потапова. Хлеб да соль! Хлеба, впрочем, маловато.

– Имеется! – достав из-под ног початую ржаную буханку, свет Потапова протянула ее Вике. – Чаю бы!

– Витя, будь добр, сходи за кипятком. Попроси там емкость побольше, банку хоть.

– Конечно, родная. Как можно не поухаживать.

– Чаевничать любите? – успокаивающе улыбалась попутчице Вика. – Я тоже. У меня и мама, бывало, присядет к краешку стола и пьет – чашку за чашкой. Верите ли, с одной конфеткой чашек десять выпивала. Все уж разойдутся, а она знай себе прихлебывает. Я отдельный чайник ей заваривала: крепкий она чай предпочитала, до черноты.

– Она чего, умерла?

– Давно. А ваша мама?..

– Жива, что ей сделается. Только она до чаю не охотница, – шевельнула желваками Людмила и посмотрела хмуро. – Это... предупредить

следует. Чтоб без претензий. С зоны я еду. Отпахала срок, к матери теперь добираюсь.

– Хорошо.

– Не опасайтесь, что ли?

– А чего опасаться? Не вы первая...

– Это точно. Кто не был – будет, кто был – не позабудет. Лады, еще папироску высосу.

– А чай-то что? – возвратился с банкой кипятка Виктор.

– Я быстро. – Людмила высыпала в банку полпачки чая, прикрыла бумажкой. – Пускай заваривается.

Курицу супруги ели молча.

– Пора спать, – наконец сказал Виктор, тщательно обтирая пальцы.

– Не обидишься, если я сейчас завалюсь? Помощь тебе все равно не понадобится, а мне с отрешьем беседовать не о чем.

– Витя, ну что плохого в приличиях? Тем более ей скоро выходить. Убудет от нас, что ли?

– Спокойной ночи.

Когда Людмила вернулась, Виктор уже похрапывал наверху.

– Вот и я, вот и чай, – хрипло шепнула она и отпила полбанки остывшей заварки.

– Сахар положите.

– Не, я так. Кеды можно снять? Ноги взопрели.

– Конечно. И свитер снимайте.

Кряхтя, Людмила стянула вытертый на локтях бумажейный свитер, когда-то зеленый, развязала кеды. Серая от времени футболка с нелепым чебурашкой по переду повисла, очерчивая маленькие вислые груди.

– Давай на ты? – предложила она. – Не переносу я выканье.

– Пожалуйста!

– Ты вообще где работаешь?

– В музыкальной школе. Учю детей музыке.

– Музыкантша, о как! На каком инструменте?

– Фортепиано.

– А на гитаре умеешь?

– Умею.

Людмила откинулась к стенке дивана, глаза потеплели уважением. Поерзала на сиденье:

– Слышь, у меня самогонка есть. Ты как? Давай дерябнем?

– Самогон? Ну...

– Да чего нукать! – умоляюще зашептала женщина. – Домой ведь еду, отметить полагается. Составь компанию, прошу. Западлю одной пить. Чистого не желаешь, я тебе в чай добавлю, для пунша. Давай?

– Самогон в чай – это же пойло получится! Лучше так. Маленько.

– Да граммულку всего!

Людмила радостно достала закупоренную бутылку. Взболтала, жидкость забурилась мутными пузырьками.

– Чистый, от проверенных людей. Не отравка какая-нибудь. – Сорвала зубами крышечку, чертыхнулась на оцарапанную губу. – Ты меня не опасайся. Смирная я. С отбитым нутром чего кобяниться. А воровству не обучилась, будь спок.

Женщины негромко стукнулись стаканами. Вика отпила глоток, сморщилась:

– Крепкая, зараза!

– А то! – и Людмила опрокинула в себя свою долю.

– Ты за что сидела? – поинтересовалась Вика и спохватилась, что подобные вопросы сидельцам не задают. – Извини, вырвалось.

– Да чего там! Обычное дело, могу рассказать, коли слушать охота... Молодая тогда я была, бойчее бойкого. Мне слово – я пять в ответ. А вообще, и по хозяйству всё делала, и в школу ходила. Хотя это – зря. Чего она мне дала, школа эта? Одно мучение.

– Ну почему же! А кто бы тебя грамоте обучил, про мир рассказал, если не школа?

– Ой, про мир! Нужен он мне больно. Да я в такой глухомани парилась – не то что мир, до соседней деревни пехом не допехаешь. Народу мало, молодежи всего ничего. Кто посмелее – руки в ноги и в город. Парням вообще лафа: уйдут в армию, и поминай как звали. Девкам труднее, понятно. Я-то еще в пятнадцать лет хотела деру дать. Мать остановила: кончи, говорит, школу, тогда и ехай. Без образования типа в городе делать нечего, затопчут. Ну я, дура, послушалась. Да и мать жалко было бросить, отца-то нет, сдох от водки. Он каким-то рабочим на канале Беломорском работал, здорово зашибал. Не помню его уж. После восьмого класса укатила я, значит, в поселок школу доканчивать. А в это время там лес валить начали, контору открыли. Мужиков тьма-тьмущая калибру разного понаехало. Дух захватывало. Тут куда удирать, от добра такого. Тем более магазин открыли, клуб. Меня председатель на курсы в райпо отправил, стала я после школы магазином этим заведовать. Хозяйка всему товару! Лафа! Уборщица в подчинении была, компанейская бабеха. Вот. Да завклубом. Ну, мы втроем с лесорубами и закрутились. Деревня ходуном ходила. Дерябнем в подсобке, музычку во всю мочь заведем – гуляй, Вася! Погудели, есть что вспомнить.

– А председатель что ж – не видел, не слышал?

– Почем я знаю! Мы же ночью гудели. Ой, да весь поселок пил, а он что – рыжий? Тоже, чай, за воротник будь здоров закладывал. Но – мы не видели его, он не видел нас. Не, честно – весело было жить. А потом – трах! Ревизия!! Цельная компания прикатила. В подсобке нас тогда застукали, утром, тепленьких... Мать меня чуть не убила. Дура старая, спохватилась!.. Через неделю, извольте подавиться, недостача и прочее. Ну, всех замели. Тем-то подругам, считай всего ничего – штраф и условно по году. А мне... Восемь лет высокого забора. И конфискация имущества. Как мешком по голове...

– Сколько же тебе лет было?

– Тогда? Двадцать стукнуло. Теперь вот тридцатник подкатил. Вроде немного, а чувствую себя на шестьдесят. Прокурилась до кондрахи, в легком-то, говорят, дыра. Зубы сгнили, кишки болят. Ай, не будем о грустном! Дерябнем? Выпьем с горя, где же кружка? – и Людмила улыбнулась, словно действительно ничего не имело значения.

– И что было дальше? – глотнула Вика и зажевала пирожком.

– Дальше? Этап да зона, куда уж дальше. Хочешь, секрет открою? – женщина перегнулась через стол и зашептала Вике в лицо. – Я ведь на зоне не занюханной зечкой кантовалась. Клянусь! Курвой буду! Пила и ела, любовь имела. Может, повезло просто, а может – не такая уж я засратая фря, чтобы приличные люди мною брезговали!.. Не поймешь ты, но... там свои все, сечешь? Никто не хуже и не лучше. У каждого за душой дерьма наложено. Легче, когда это помнишь. Поначалу, конечно, хреново пришлось. Проснешься ночью, хоть в петлю от тоски, а оглянешься кругом – народу-то сколько! Ну и успокоишься, вроде даже

обрадуешься чему-то... Но режим, обстановка – к этому еще привыкнуть надо. Особенно ментовки, суки вонючие, на нервы действуют. Ты бы только знала, до чего паскудные эти бабы! Здоровушие все, жирные – как наша вон проводница. Сидят, воспитывают, что не так – приказы строчат. Только мы их тоже за людей не держим, так-то. Меня, как выгрузили, сразу обламывать начали, паскуды. В карцере неделями зубами клацала. Ну, девкам смотреть надоело, научили: сиди, говорят, не рыпайся, здесь их власть. Прикинься дурочкой – поняла все, дорогие граждане начальники! Они и отстанут. Так и вышло. Подруг потом себе нашла. Зажили!

– Тяжко это всё...

– Кто говорит, что легко? Конечно, не чай с малиной. Драки бывают и разное...

– Отчего же драки?

– По-разному. Из-за девок красивых дерутся или тряпье кому приглянулось, а по-хорошему не отдаешь. Всякое бывает, – повторила уклончиво Люда. – У нас ведь театр был!

– Какой театр?

– Нормальный, какой надо. Врать, что ли, буду. Репетиции каждый день, потом спектакли глядим. Здорово! Я-то сама не играла: не умею и стыдно как-то на сцене представляться. А так – интересно. Смотришь да и позабудешь, что свои же товарки по нарам играют. Как представление, так в зоне праздник. Веселые все ходят, светятся... Хорош тряпаться! Лучше выпить – вернее будет.

– Закусывай! – протянула курицу Вика.

– Ты... чего... пропускаешь... – отщипнула Людмила мясо.

– За тебя, Людмила. Чтоб все наконец уладилось. Приедешь – отдохни, мужика подыщи хорошего. Работать не захочешь, детей рожай.

– Не то, Виктория, всё не то... – пополз по купе папиросный дым. – Отвыкла я от воли. Сколько лет по режиму кантуюсь. Боюсь... Детей, говоришь. Что ж уродов-то клепать? У меня ведь не нутро, а ведро поганое. Да и охоты нет на мужиков. Так что не получится жизни на воле, никак не получится.

– Да почему же?

– Потому что меченая! Никто не забудет, никто мимо не пройдет, чтоб пальцем не тыкнуть. Ненавижу всех! Как вспомню, что в деревню треклятую возвращаюсь – с души воротит. Пулемет бы взяла и перестреляла всех до единого! Пошли все!..

Людмила выпила еще, с отвращением помотала головой. Впалые щеки ее покрылись сизым румянцем, на висках выступил пот. Подпершись рукой, она захрипела:

По активровке,  
Врачей путевке,  
Я покидаю лагеря,  
Так здравствуй,  
Поседевшая любовь моя...

– Че молчишь-то!

– Не знаю я ваших песен.

– А какие знаешь? Спой, уважь человека!

– Ну тогда... Поморская народная песня. Исполняется по заявке Людмилы Потаповой.

Как плыла по морюшку,  
Как плыла по Белому  
Стая лебединая  
Да еще два селезня.  
Превращались лебеди  
Все во красных девушек,  
А как два-то селезня  
Всё во добрых молодцев,  
Лишь одна лебедушка  
Оставалась птицею,  
К хороводу девичью  
Не могла пристроиться...

Вика тихонько и тоненько пела, а попутчица поддывала, уперев опухшие пальцы в лоб и слизывая языком слезы.

– Чего хочу спросить, Виктория... – всхлипнула Людмила. – Кто ты вообще такая, а? Не лыбся, я дело спрашиваю. Красючка, лохмы-виш какие, кольца... Прям артистка с журнала! Я таких-то всю жизнь бо-ялась. А вот сидишь, песни мне поешь, водку выпить не отказалась – почему? – она сщурила запяневшие глаза. – Разве тебе не противно? Врешь! Противно! Или ты дура, или святой прикидываешься? А может – боишься? Так я же говно перед тобою, грязь! Ты личико вороти, а не разговаривай! – рот женщины блеснул слюной, голова мотнулась в начинающей истерике.

– Людочка, не волнуйтесь, что вы...

– Я ничего! А вот ты – чего! Душу мою разбередила. Слышишь – душу! Кто тебя просил?... Я с зоны вышла – с харей-то да в задрипанном во всем, и делать чего – не знаю. А, думаю, кулак вам в нос! Упросила ментовок билет в купейный мне взять: доказать решила, что и я человек и могу вот вместе с фифами ехать. Имею право! Отработала!.. А тут ты... С песнями. Подыхать буду – вспомню. Только какая тебе выгода, скажи!..

– Не сердитесь, ради бога, – устало ответила Вика. – От чистого же сердца... Хотите, про маму расскажу? Чтобы зря не психовать? Вам одной, никто не знает... По плоточку?.. Так вот. К вашему сведению, моя мама, Степанида Андреевна Михайлова, 1922 года рождения, русская, беспартийная, образование три класса, отсидела в лагерях трижды.

– Тю-ю! Уголовница, что ли?!

– Уголовница. Представьте себе. Так что мне, Людмила, не зазорно с вами водку пить. Наоборот. Сердце переворачивается, как представлю, что могла вот так же ехать и моя мама, а кто-то, из чистых, ее презрением как из ведра окатывал бы...

– Убила, что ли, кого?

– Как у вас все просто... Это ее убили. Государство наше любимое! – ткнула она пальцем в темноту окна. – А началось, когда она ребенком на Беломорканал попала. Кто знал тогда, что это концлагерь, думали, по-человечески, – народная стройка... Вот вы домой добираетесь – на шлюзу живете?

– Ну да – на десятом. Только мы не на самом канале – в лесу.

– А я на девятнадцатом. Чувствуете, куда всё зашло?.. Вы да я – соседи по лагерю, вот смешно!.. Маме десять лет было, когда старшая сестра вызвала ее из самого Воронежа детей нянчить. Зять то ли сам сюда завербовался, то ли привлекли – инженер по гидротехнике он был,

семья за ним, конечно, со всем скарбом. А там оказалось, что клячиться на канале нужно всем, и за детьми некому присматривать. Стеша приехала, да в несколько недель всех в общую яму и проводила: сестру с мужем, ребятишек. И автоматом сама зэчкой стала. А что? Камни ворочать может – пусть работает! Иначе на кого изволите паек распределять? Вот так, по ведомости, в зэки девочку и определили. Гоняли строем в карьер, как всех. Ее тамошняя врачиха спасла. Увидела, как оборванный подросток голыми ручонками куски скал в тачку таскает, и пожалела. Забрала в санитарный барак. Считай, это была первая ее судимость. Вторая – когда война началась и всех с канала согнали в тайгу, на лесозаготовки. Голодали, как собаки. А мама-то – в рост, ну и не вытерпела: буханку в столовой украла. Трибунал осудил ее на три года карцера. Работала при этом, план давала, а вечером – в холодную, на пустую баланду. Не сдохла потому, что война кончилась. Амнистию дали. Тут бы жить, наконец, только не зря говорится: в девках сижено – плакано, в бабы хожено – выто... У нас выпить осталось?

Людмила молча разлила. Смотрела, как Вика, запрокинув красивую рыжую голову, вливает в себя остатки первача.

– После войны, – выдохнула Виктория в краюху хлеба сивушные пары, – мама в больнице работала. Поначалу санитаркой, потом до сестры-хозяйки дошла. Красивая баба была, главврач на нее заглядывался, комплименты делал. Не просто так, как оказалось. Бдительность снижал. Склад с продуктами, белье, мебель – всё в ведомстве Степаниды Андреевны было. А какая у нее грамотность? Всю жизнь писала с ошибками, детскими буквами. В общем, ревизия выяснила, что мама обворовала больницу до нитки. Она говорит – поседела, когда зачитывали список украденного. Только потому, что ни одного свидетеля, ни одной тряпки, ни одной банки стуженки предъявить суду не удалось, ей и дали маленький срок – четыре года лагерей. Строгого режима... В двадцать пять лет – четыре года! И надзиратели – мужики, и все, как дикое зверье, по разным сторонам клетки!.. Тут уж она от звонка до звонка чалилась. Что пережить пришлось – никто уже не узнает. С таким-то опытом – что делать? Водкой накачиваться, жизнь прожигать, чтоб быстрее, постылая, кончилась.

– Пулеметом всех сук стрелять...

– Нет, Людочка! Освободилась мама и решила: получится – нет ли, а буду жить заново. С пустого места. Тридцать лет – какие наши годы?! И сделала! Замуж вышла, меня родить успела. Простой техничкой в школе работала, но авторитет имела – ого! Никакой родительский комитет или педсовет, ни один выпускной бал без ее участия не обходились. На пенсию шла – медаль за выслугу дали, за столами полгорода сидело. Как она плясала на том юбилее!.. Не в этом, конечно, дело. А в том, что – победила. Слезы, может, на зубах скрипели, а жила, как птица пела! Всегда причесанная, спина прямая, глаза сверкают, вокруг ученики всех классов вьются. На переменах к маме и не подойти было. Господи! С таким характером да если бы по лагерям не гноили, кем могла стать моя мама?! Но сил ее хватило ненадолго – в 60 лет ушла, как только я на ноги встала. В последние пару лет сникла очень. Из дома не выходила. Бесперывно чай пила и в окно на пустую улицу смотрела. Потом рассказала всё... Ах, Люда! Меня точно в прорубь бросили – за что?! Кто вы такие, люди, какое право имели мучить ее! Как могли – юную, красивую, на нары кинуть, в мат и гниль втоптать?! Она выжила, но вы-то, люди, вы-то как не умерли со стыда? – клокотала горлом

Вика. – С тех пор маюсь. Будто вместо мамы в лагерях осталась. Не могу простить. Живу нормально, а внутри такая тяга... Не избыть...

Она прижала ладони к лицу и заплакала.

– Сучья наша жисть! – распустила в ответ синие губы Людмила.

Так и прорыдали остаток пути нечаянные попутчицы, зэчье семя Беломорканала. Одна всхлипывала в кулак, другая аккуратно сморкалась в платочек.

За окном рассвело. Черная мгла потускнела, проявились деревья, заблестели меж ними серые, набухшие водой, болотца. Из-за горизонта на небо проклюнулась вдруг ослепительная стрела и медленно-медленно потащила за собой раскаленную луковку долгожданного солнца.

Купе залило ярким светом, будто врубили разом все лампочки. Вика зажмурилась от неожиданности. Взглянула на замолкнувшую соседку.

Та сидела, выпрямившись, положив сухие, в ссадинах, руки на колени. Не мигая, смотрела в стенку, словно ее поразила то ли мысль, то ли видение.

– Люда, – осторожно окликнула Вика, – что с тобой?

Та перевела оцепенелый взгляд и тихо ответила:

– Не знаю.

Тут дверь раздвинулась и всунулась лохматая голова проводницы.

– Эй, гражданка, подъезжаем. Вылазить вам. Минуту стоим.

Женщины засуетились. Люда кое-как натянула свитер, кеды. Вика смахнула в ее сумку кульки и свертки, побежали в тамбур. Поезд зашипел, останавливаясь.

– Я адрес в кармане оставила, – торопливо дышала Вика в бегущий квадрат ватника.

Люда обернулась:

– Адрес? Лишнего ты...

– Все равно. Пригодится. Прощай. И будь сильной, Людочка. Главное, сильной будь!

– Эх, Виктория! Не бойсь, не пропаду. Ладно! – и она спрыгнула вниз.

Состав дернулся, застучал колесами. Сгорбившись, худая маленькая женщина захрустела щебнем к полустанку. Промелькнули придорожные огороды, сразу сплошняком пошел нескончаемый лес. Вика вздохнула и открыла купе. С полки смотрел на нее не спавший ночь Виктор.

## Роман БОГОСЛОВСКИЙ

Родился в 1981 году в Москве. С 1981 по 2001 год жил в городе Лебедяни Липецкой области. Публиковался журналах и на порталах: «Literatura», «Окно», «Русское поле», «Новый берег» (Дания), «Петровский мост» (Липецк), «Вокзал» (С.-Петербург), «Литера-Днепр» (Днепропетровск), «Новая реальность», «Мегалит», «Молоко», «Свободная пресса», коллективных сборниках. Автор книг «Театр морд» (2013), «Агата Кристи» – биография группы в серии «Легенды нашего рока» (2015). В 2016 году планируется выход романа «Трубач у врат зари» (длинный список «Нацбеста», в рукописи). Живет в Липецке.

## В ПОЛЕ

*Ивана поразило несходство волка с овчаркой.*  
Василий Шукшин, «Волки!»

Тома смотрела в окно и тревожилась. Сверху, из розоватых мартовских небес, уже нависали первые облачка заката, а идти было километров семь. Ей все хотелось остановить брата, его дочку и ее жениха, чтоб не ходили они через поле на ночь глядя, лучше переночевали бы здесь, у нее, в тепле и довольстве, а утром шли и навещали сколько угодно многочисленных родственников в соседнем селе, в Волчьем. За окном, по сырой, еще не схваченной вечерним морозцем прошлогодней траве, вылезавшей щетинистыми клоками из-под корок льда, бегала взад и вперед непоседливая Тайга, полугодка немецкой овчарки. Она встретила с Томой глазами и смешно наклонила голову. Тома словно прочла в глазах ее предупреждение, звонко запрочитала:

– Куда вы пойдете, Степа? Ты глянь, и Марья холодно одета у тебя. А жених ее – так совсем как на велосипеде кататься собрался. Вы о чем думали-то, вырядились? Тут семь километров пути. Да по сугробам! Там же поле, не асфальт...

Степан, ее старший брат, фронтовик, передовик и самый лихой гармонист у себя на селе, осушил в гостях у сестры, которой привел показать жениха своей Марьюшки, уже порядочно кружек медовухи, и переубедить его не удалось бы даже если поле, по которому он собрался срезать до соседнего села, горело бы пламенем.

Он скоморошничал:

– Ой, да что ты, Томка! Всю войну не пропадала наша! А теперь уж и подавно тепло нам и славно. Эх, так твою меть-метель! Сам божечка нас проводит!

С этими словами он принялся наяривать на невидимой гармошке, колотя морщинистыми пальцами по узорам истертого своего свитерка, озорно и пьяно глядя на всех по очереди.

Марья знала нравы и вспыльчивость отца, но момент был серьезный – идти далеко, дороги там нет, одни овраги да поле, под ногами талый снег. «Март-марток – надевай трое порток», – вспомнила Марья материнскую поговорку.

Марья робко, но с нажимом попыталась убедить отца:

– Папа, послушай тетю Тому. Давай тут, в тепле переночуем. А прямо с самого утра – и в путь, пожалуйста...

Отец в момент прекратил кривляться с невидимой гармошкой. Он будто прилепил ее себе на лоб, собрав глубокие борозды в кучу:

– Я тебе пожалуйста! Я тебе сейчас пожалуйста! Есть двадцать лет, она мне будет пожалуйста, будто я сам не знаю и вчера родился...

Решили ему больше не перечить. В моменты, когда отец был неправ, все, кому так казалось, представляли его бегущим с гранатой наперевес, мокрого от пота и дождя, еле живого, но несущегося вперед с занесенной дрожащей рукой. Где после таких картин с ним спорить? Да и кому? Ей, молоденькой пухленькой Марье с розоватыми щечками? Нет. Придется идти.

Жених Марьи, Валентин, было приподнялся, чтобы вступить за невесту, но та с тихим остервенением глянула на него, мол, не лезь. Валентин все понял и тяжело опустился на стул.

Прощались недолго. Степан все хохотал и рассыпал по сеним прибаутки, задев ногой ведро – оно звякнуло, и Тома занервничала еще больше, но ничего не сказала. Заскрипели двери террасы, и холодный воздух, окрашенный в розовое, принял гостей Тома к себе в гости. На пороге расцеловались, обменялись прощаньями. Маленькая Тайга все путалась в ногах, домогаясь ласки и внимания, беззвучно ударяя хвостом по широкой черной штанине Валентина.

Тома с минуту стояла на улице, глядя в облитые розовым небеса.

Марья шла, и сердце ее радовалось. Холодно не было, лучи солнца игриво перемигивались в лужах и в снегу, что чах по обочинам сельской дороги. Она и двое любимых людей – папа и Валентин, что еще нужно ей, простой и доброй девушке, которая любила все и улыбалась всему на свете, кроме горя. И пусть отец не до конца одобрял ее выбор, это ведь все временно, он привыкнет. Марья мечтала, чтобы Валентин научил папу играть в шахматы, он был по этой части большой мастер, выигравший однажды даже районные соревнования. Ну а папа научит Валентина петь матерные частушки, играть на гармошке и слушать истории про войну. Вот так они и полюбят друг друга, а она, Марья, будет жить рядом и дарить им свою любовь.

– Эй, зять-за ухо взять, ну и где тут холод? Можно хоть уснуть тут – и не замерзнешь, да? – Степан по-свойски, в шутку, прикрикнул на Валентина, обернувшись на него скособоченным носом.

Валентину оставалось только шутить в ответ:

– Да ты где хочешь уснешь! Военный человек, привыкший к лишениям...

– К лишениям, – ворчливо передразнил Степан, – слова-то у тебя какие. К лишениям... Хех... Я посмотрел бы... к лишениям!

Мало-помалу село стало редеть. Расстояния между домами становились все больше, домики попадались все реже. Уже показался вдаль малиновый горизонт поля, усыпанный искрящейся мартовской

карамелью. Степана манило туда, словно в синеву холодной реки по окончании очередной атаки, после которой в глазах, в носу, во рту лишь черная горькая пыль и красная соль из покусанных губ.

Обычно Степан побаивался себя веселого, это могло завеселить совсем не туда: к битым глазам жены, к топору, на половину лезвия ушедшему в ступеньку соседа Митяя, к плачущим и визжащим детям, скачущим, словно недобитые цыплята, от стенки к стенке, от лавки к печке. Нет, сегодня веселье громыхало внутри по-другому: старшую дочку замуж – великое дело! А впереди теплое малиновое мерцание, долгая дорога в разговорах, где он, фронтовик, будет важничать, рассказывая о том о сем; впереди долгожданные встречи с двоюродными, троюродными, с их соседями, друзьями и просто первыми встречными: с ведрами и без, с папиросами и самокрутками, с усами, морщинами и светлым добром в приветствиях. Только в таком настроении Степан постепенно забывал войну, хотя с тех, осевших седой пылью на волосах, пор прошло уж почти двадцать лет.

– Смотрите, колодец совсем набок завалился, – сказал Валентин, чтобы что-то сказать, и метнул руку влево, показывая. Этот покосившийся колодец и был границей между селом и полем.

Полем эту местность называли из-за ее пустынности. Неглубокие овраги чередовались здесь с березовыми перелесками, кое-где, сбившись в кучу, шептались на ветру кривые сосенки, а на равнинах растопырил стебли боярышник и шиповник; местами попадались дикие яблони, колючие терны. Сейчас растительность походила на тощие черные скелеты, удерживаемые от падения лишь ударами ветра, который налетал, казалось, даже из-под земли.

Постепенно снег вокруг вырос неровным настилом, переходящим в серые булыжники, меж которых застыла, готовясь перейти в ледяное качество, загустевшая вода. Марья с грустью подумала, что ее войлочные сапоги тут совсем некстати. Она мысленно ругала себя, что не надела резиновые.

Степан шел впереди, за ним будущий зять, потом Марья. Валентин начал орать частушки, то и дело поскальзываясь, но выдавая это за игру. Ветер разбрасывал матерные слова по сторонам, они оседали на воду, снег и торчащие тут и там стебли.

– Вот шут, а? – выкрикнул Валентин, выдергивая ногу из обледевшей травы. – Ведь посмотрел, куда наступить...

Марья запричитала, отец засмеялся с подколкой:

– Ты смотри, дружок мой. Идти еще далеко, а ты ноги мочить. Женилка как бы не простыла...

– Будет тебе, отец, насмехаться... Сам смотри не влезь куда не надо.

Марья улыбнулась. Валентин впервые назвал ее папу «отец». И хотя она начинала подмерзать, ей сделалось сладко и радостно.

– Вишь как... отец... – пробубнил Степан. Никто этого не слышал.

Шли по равнине. И сначала из замерзающей мартовской каши под ногами выделялась узкая тропинка. Валентина злило, что одна нога у него промокла, он страшно боялся заболеть. Не скрывая раздражения от жены и нового отца, он осведомил:

– Смотрите-ка, то все розовое было, искрилось-серебрилось, а то посерело... В одну минуту. Да и холоднее стало вроде...

Марья знала, что Валентин панически боится болезни и докторов, и постаралась перевести тему на то, что в войну еще не в такую даль ходили. Ее отцу лишь того и надо было. Он зашагал бодрее, распрямил-

ся, разухабился, стал рассказывать, как они с товарищами совершали бросок через лес, за которым притаился фашист, как вязли в снегу и грязи, как вытирали лица о деревья, потому что руки немели, как лезли через бурелом и катились в овраг, спасаясь от прицельного огня, разбивая глаза и губы о головы и сапоги друг друга. Валентин не хотел все это слушать. Он вдруг осознал, что все рассказы отца невесты о войне – это какая-то бравада, напыщенность и хвастовство. И везде-то он всегда побеждал, и во всех спорах выигрывал, и в бой всегда бежал первым, и взял множество «языков» – ну как такое может быть? Война, а тут одни удачи у человека!

А Степан размахивал руками, словно все, о чем он говорил, случилось не более часа назад:

– Я привел его к командиру. Поставил перед ним, руки держу, чтобы не рыпался. Он там что-то на своем балакает-пережевывает. Я думаю: так тебя в душу, зверина тараканья! Балакаешь еще тут. Пока переводчика привели – он околел прямо у меня на руках. А у меня... Голова гудит, тело трясется... Глазом я шибко ударился, пока катились мы по оврагу. В нем, в глазу, что-то постукивает, потрескивает. Мне моргнуть бы – а боль страшная. Моргнешь – как еще раз кулаком получишь. И смотришь – а все вокруг розовое. Это глаз, левенький мой, все в каком-то розовом свете стал видеть от боли. Такая злость меня тогда взяла. Я стою и сквозь зубы, сквозь боль, сквозь слюни цежу, глядя на мертвяка немецкого: «Волчара... волчара... волчара розовый». И что-то лопнуло внутри, в голове. Один-единственный раз я слезу себе позволил... Может, и она розовой была, кто теперь разберет...

Марья вскрикнула, Степан и Валентин обернулись. Она упала – одно колено в сугробе, другая нога ерзает по льду в поиске опоры. Рейтузы на ней хотя и были шерстяные, но шерсть тонкая. Нога промокла от колена до носочка. Марья виновато улыбнулась, приподнялась, взявшись за руку Валентина, отряхнулась. Отец скомандовал – и все тронулись дальше, в сторону жиденского перелеска, меж стволов которого уже притаились сизые сумерки.

Тропинка разбрелась в разные стороны десятками ложных тропинок – длинных проталин. Дальше идти пришлось наугад. Шли под откос, поскользывались, чертыхались. Под ногами раскалывался застывший остриями вверх снег. Небеса темнели, посыпая поле колючими крошками. Выбираться из лога было сложнее, отец и жених неуклюже помогали Марье – один поддерживал сзади, другой тащил за руку.

– Да ладно, отдохни, Валя. Сам-то не соскочи, я уж дочери-то помогу, – в голосе Степана появилась холодная ирония.

Валентин еле сдержался. От промокшей ноги холод пришел уже в область таза, глаза начали слезиться, замерзли лицо и шея. Да еще этот тут...

– Да ладно, отец, мы и сами справимся, – колко усмехнулся Валентин.

Марья увидела натянувшуюся между ними нить и сразу ее перерезала:

– Да нужны вы мне оба, а? А то я по снегу не ходила. Дойду как-нибудь.

Ноги Марьи незаметно для нее самой промокли окончательно. Холодная жижа внутри чавкала при каждом шаге. Тело постепенно остужалось, от этого одежда стала неудобной. Горло пропиталось холодом и словно бы разбухло.

Несмотря на разухабистое настроение, отец тоже замерзал, Марья это видела. Он то и дело оглядывался по сторонам, пряча прорезанные боковыми морщинами щеки в горлышко свитера, руки засунул

в карманы куртки, тщательнее выбирал, куда наступать. Валентин заметно нервничал, делая глубокие нервные вдохи.

Дошли до перелеска. Темнота уже не пряталась за деревьями редкого березняка. Напротив, она вышла навстречу, ступая по тонкому льду и насту, заставляя поле скрипеть и постанывать.

Валентин вдруг остановился, схватился за черный ствол:

– Вот зря ты, Марья, меня остановила. Хотел я сказать ему – и сказал бы. Надо нам было у тети Томи оставаться! Куда мы поперлись? Думаешь, он знает, куда идет? Ага, верь! На авось прет.

Марью стегануло по лицу невидимой ледяной плетью. Мысли смешались, накладываясь друг на друга – отец таких выпадов никогда просто так не оставлял. Но Степан спокойно шел вперед, петляя меж стволов, словно и не слышал ничего.

– Ты только посмотри, нора какая огромная. Вроде лисы таких не роют... – Степан остановился аккурат перед спуском в очередной овражек, присел на корточки, рассматривая что-то.

Валентин едко усмехнулся, сказав одной лишь Марье:

– Лисы какие-то... Нашел, о чем сейчас думать.

Марья и Валентин подошли к отцу, опустили на корточки. Тот достал спички, чиркнул, пламя тут же высветило насколько вокруг стало темно. В норе лежал скелет какого-то животного в странно выгнутой позе. Зубы скалились, клоки шерсти, еще оставшиеся на одной лапе, торчали вверх и в стороны, тронутые морозом.

– Конечно, лиса, кто же еще. По болезни свалилась... – сказал спокойно Степан, выбросил пустой спичечный коробок, резко вскочил и обеими руками пихнул Валентина в грудь. Тот кашлянул от неожиданности и покатился под откос, раскидывая вокруг осколки льда и снега.

– Папа! – крикнула Марья, закрыв лицо руками. Зарыдала, кинулась вниз, скользнула и тоже покатилась, шурша и хрустя разбиваемой наледью.

Степан спокойно осведомил, удаляясь из поля зрения:

– Нам в другую сторону, вытирайте сопли и выбирайтесь. А то ночевать тут будете.

Марья и Валентин вытирали лица рукавами, из пореза на щеке Валентина сочилась кровь. Марья, всхлипывая, приложила к ней лед.

Валентин только хрипло дышал, скалился то ли от боли, то ли от обиды, глаза его поблескивали в сумерках. Он приговаривал шепотом, чередуя слова со злобными сухими плевками:

– Ну, знаете... Так не пойдет... Так не будет...

Валентин отбросил руку Марьи, рванул наверх, смятая ногами стебли польни. Степан шагал вдаль. Валентин рванулся к нему, чтобы толкнуть его, колотить по голове, по спине, по лицу. Валентин зверел, разламывая на бегу крепкие ледяные сугробы с торчащими из них редкими волосами мертвой травы.

– Так не будет... Так не пойдет...

Марью прошило холодом со всех сторон, от верха до низа. Слезы ее обдувал ветер: он словно хотел закатить слезинки ей обратно в глаза. Марья пыталась выбраться из оврага, цепляясь за обледенелые стебли, но руки соскальзывали и холодно саднили.

– Папа... Валя! – зашла, закашлялась Марья.

Степан обернулся, хмуро улыбаясь. Левый глаз его оказался гораздо меньше, теперь Валентин видел это отчетливо. «Сейчас тебе будут розовые волки», – подумал он, содрогаясь от злости. Друг от друга их отделял только куст боярышника. Валентин пусто смотрел в глаза но-

воявленного отца, грел руки дыханием, сопел и играл скулами. Степан хмыкнул, повернулся и пошел вперед.

– За мной, поскребыши, – буркнул он, сплюнув против ветра.

Валентин рванулся прямо через скелет боярышника; суставы ку-ста затрещали, ребра переломились, хрустнув промерзшим деревом, осколки их посыпались в снег. Марья закричала, выбравшись из лога:

– Валя! Валя-я! Да что ж вы... Иисусе-боже!

Валентин всем телом ударил Степана в спину. Оба повалились в ледяную грязь. Они то нюхали землю, то шипели, то переваливались с груди на спину, то катились, словно слепленное из двух людей колесо; кто-то из них вдруг вскрикивал, кто-то натужно пыхтел, кто-то кашлянул, кто-то брызнул кровью на обломанный стебель цикория. Марья, обезумев, не понимала, что делать: то ли дуть на окровавленные ладони, то ли спасти отца и жениха друг от друга. Она, хлопая ледяными ресницами, прихрамывая, бежала к пыхтящему комку. Комок катился от нее, отхаркиваясь, хрипло ругаясь и хрюкая. И Марья вдруг неуместно вспомнила свой сон, глядя на это смертоносное движение. Заходит она к двоюродной сестре Нюрке в избу. А у Нюрки почему-то живет ее, Марьиная, мать. И смотрит Марья – по всей избе яблоки разбросаны. Крупные, сочные штрифели. Ни мама, ни другие (а людей в доме много, но все они нечеткие во сне) их не замечает. Ходят, говорят, смеются, а штрифели лежат на полу, на подоконниках, на лавках, около печи, на столе, под дверью. Вот и сейчас ей привиделись эти яблоки, разбросанные по снегу и льду; вот они катаются, краснобокие, туда и сюда по всему полю, несутся, подпрыгивая, по склонам оврагов и рвов... Марья зажмурилась, и яблоки понеслись у нее перед глазами, расплываясь и улета в бескрайний черный космос, что притаился под ее охолодевшими веками.

Но по правде катался только живой комок, объятый холодом снаружи, но внутри себя пылающий. Опьяняющая внутренняя сила толкнула Марью вперед, и она рванулась к дерущимся.

– Па... Вал... да что... вы! Па-ап... – слова путались, осыпаясь с губ.

Они расцепились. Валентин сидел на коленях, едва дыша. Под носом кровь, губы в крови. Марья кинулась к нему, но жених грубо отпихнул ее, она отшатнулась, почему-то улыбнувшись. Кинулась к отцу, но он сплюнул, процедив:

– Иди женишка своего успокаивай. Я таких, как вы... – он не договорил.

Степан пнул комок снега, взял ледышку, приложил ко лбу и пошел во тьму.

Валентин, усмехаясь, приговаривал, поднимаясь с колен:

– Я не знаю, Машка, как мы жить с ним будем... А? Так не пойдет... Так не будет, Машка.

Марья и Валентин пошли на звук удаляющихся шагов отца. Его уже не было видно в морозной темноте.

Марья тоже не знала. Как? Каким же способом соединить вспыльчивого отца и мнительного, болезненного жениха в одной семье? Она сразу почувствовала, она знала, что между ними рано или поздно вспыхнет. И вот вспыхнуло. В самый неподходящий момент.

– Я не знаю, куда дальше идти, – спокойно, словно так и должно быть, крикнул им Степан издалека.

Зацепившись носком за кочку, Марья упала и чуть проехала по льду, исколов еще больше и так саднящие ладони.

– Господи, Иисусе Христе, что же мы тетю Тому не послушали... – заплакала она, опираясь на руку жениха, чтобы встать.

Валентину не хотелось видеть Степана, разговаривать с ним, идти рядом, но его мнительность и страх взяли верх. Он сказал примирительно:

– Отец... ты это... ты не дури, отец. Ты тут сызмальства ходил... Давай, ночь уже, холод... Надо идти, отец. Так не пойдет...

Не успели они подойти к тоненькому деревцу терна, под которым сидел Степан, как он взвился, вскочил с места так резко, что аж подпрыгнул. Он схватил Валентина за горло, прижал его к стволу, стал душить, приговаривая:

– Я тебе не отец, щегол крикливый... Не отец я тебе... Волчара голодный отец тебе, а не я...

От ног Марьи к голове и обратно прошла колкая холодная волна, больно царапнув душу. Страх повалил ее на колени, в них что-то больно впилося, но она не замечала. Марья с равнодушием ощущала, как подступает к ней что-то иное, доселе неведомое, темное. Да, оно тут, в овраге, за стволом терна, в колючем снегу, в морозе. В стуже катящихся по темным пустым оврагам яблок...

Отец и Валентин снова повалились, покатались, зашаркали ногами по льду. И снова хрипы, снова стоны, снова черные сгустки крови, повисающие на редких кустах и стеблях. Марье казалось, что все пространство, коричневые облака, несущиеся в черных небесах, все катается, прыгает. Вся природа вертится через голову. Она зарыдала, выдавливая лишь бессильное:

– Па-а-па... Ва-а-ля...

– Так не пойдет... – хрипел в исковерканное лицо противника Валентин.

– А сучий ты... хуже фрица, куда мужики не бьют – бьешь... – зло похихикивал Степан.

Они то и дело ударялись в своем извилистом кружении о ствол терна, и он, жалкий и беспомощный в это время года вздрагивал, словно рыдал вместе с Марьей.

Марья, уже ничего не понимая, металась туда и сюда, разбрасывая слезы по сторонам. От страха она забыла время и место. Она рыдала, кашляла, сопела, выла. Отец и жених на секунду разлетелись друг от друга, как половинки гнилой тыквы. Марья заметалась, вытянув руки, от одного к другому, словно не могла решить, кто дороже, кого жалче, кого спасти в первую очередь. Они ее совсем не замечали. Лишь глядя в злые глаза друг друга, снова сходились, покачиваясь и спотыкаясь.

– Скотененок... – Степан сплюнул, слюна зашипела, показалась Марье.

Валентин еле слышно постанывал, разминал окровавленные пальцы.

Кинулись друг на друга как по команде. Стали валиться и хрипели уже тяжелее. Марья почувствовала, как сердце ее оторвалось от каких-то внутренних стенок и покатилося по кругу, словно яблочко по блюдецку. В глазах у нее завибрировало, воздух начал потрескивать, отец и жених, кажется, покатались в овраг, но шарканье, прерывистое дыхание и скулящий вой не прекратились. Нет, они не упали, вот же они, вот скребут их лапы стеклянный наст, вот бьются они телами друг о друга, капает бешеная слюна, кроваво-желтым огнем пробивают ночь круглые злые глаза, пасть кусает пасть, зуб ломает зуб, лоб ударяется в лоб, клык кусает шею, бока, лапы и уши, кровь пузырится на снегу.

Марья почувствовала, как теплая струя мягко оплела одеревенелые ноги.

– В-волки! – то ли крикнула хрипло, то ли хрипло подумала.

Она не могла понять, сколько их было. Казалось, один выпрыгивал из второго, второй вырастал из третьего, чтобы тут же и так же непостижимо раствориться в четвертом – бесконечная, кишачая волчья матрешка. Они рвали друг друга, не обращая внимания на застывшую в заторможенном ужасе Марью. Волчий клубок обнимало еле заметное мерцание, словно розовое северное сияние. Марья подняла глаза к небу. Оттуда надвигалось гигантское темно-розовое облако, резко контрастирующее с окружающей тьмой. Облако несло прямо на нее, внутри него перемигивались тонкие электрические разряды. В ушах Марьи заухало, застучало, волчий рык и шарканье рядом не прекращались. Все в ней натянулось. Захотелось кашлянуть, но она знала: от кашля ее просто разорвет на мелкие ледяные куски. Волки продолжали рычать, но теперь Марья различала в их рыке человеческие слова – бранные, ужасающие, сотрясающие все ее естество. Чем ближе опускалось страшное розовое облако, тем громче бранились волки, перекрикивая друг друга, словно охрипшие от тысячелетней ругани бесы. Слова их становились все отчетливее и доходчивее, пока не превратились в работающие наотмашь молоты внутри головы Марьи...

...какой-то далекий возглас, и вот, вскоченный, огромный розовый волк в замедленном действии ставит лапы победителя на лицо Марьи, облизывается, победоносно воет.

Удар. Сполох. Салют сполохов. И все застелило розовое.

– Марья, детка, девочка...

Она открыла глаза. Отец и Валентин, отекие, с разбитыми губами, носами и лбами, страшные, еле живые, склонились над ней; один укрывал ее, другой теребил за щеки. Оба тряслись от холода, а ей уже было все равно, она ощущала лишь обрывки собственного дыхания – чужие, далекие.

– Волки... – прошептала Марья.

Отец, улыбаясь сквозь боль, словно пытаюсь развеселить, ответил:

– Да что ты, господь с тобой. Волков в этих местах отродясь не было. А то ты сама не знаешь... Не бойся ничего, отец рядом...

– Отец, это, слава богу... – Марья услышала в голосе жениха нотки, которые звучали в самом начале пути – уважение, почтение, признание отца мудрецом, – ...цела она, здорова... Давай я ее понесу, слабая совсем... Вишь, от наших с тобой выкрутасов... совсем обмякла... Отдыхать ей надо.

Марья сладко улыбнулась, тихо выдохнула и быстро заснула.

Отец шел впереди, показывая дорогу.

– Ничего, сейчас дойдем, спать ее под пять одеял уложим. И сами с тобой, зятек, под пять ляжем, но для начала по сто пятьдесят мутной – точно? – шутил отец.

– Сказал так сказал! А то свалюсь не хуже невесты... Ох и прогулочка вышла...

И они шли, сопя и пошатываясь, покашливая, с каждым шагом становясь все роднее друг другу. Марья спала на спине жениха, щеки ее размялись, губы подрагивали в начинающейся лихорадке.

Тропинка становилась все отчетливее, все шире.

Розово-эфирный, невесомый, как бледное облачко занимался рассвет, перемещиваясь с дымом остывающих под утро труб уже совсем близкого Волчьего.

## Павел ТУЖИЛКИН

Родился в 1953 года в селе Плюхино Семеновского района Горьковской области. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт.

Публиковался в журналах: «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Роман-журнал XXI век», «Крокодил», «Нижний Новгород», ряде других изданий. Автор сборников стихов и прозы. Лауреат национальной премии Союза писателей России «Имперская культура» за роман-предположение «Пламенный» о жизни Серафима Саровского (2011), Международного конкурса искусств «Чистое детство» (2006, 2011).

Член Союза писателей России. Живет в Сарове.

## ДУРАЧОК

В каждой деревне есть свой дурачок. Деревня без него – словно небо без облаков. Они придают лицу деревни свою живость и неповторимость, будто родинка на щеке. Без них скучно и пресно. О ком еще на завалинке покалякать, как не о дурачках, не похожих на всех остальных, нелепых, забавных и богатых на приключения?

Деревня у нас большая, а значит, и дурачков в ней немало. А в городе-то, бают, еще больше их живет. Но городские дурачки с нашими не сравниваются. Наши-то в депутаты не лезут, на заседаниях речи не произносят и законы не пишут. Им хватает и того, что их все знают, с ними балакают, а иногда и стопариком угощают.

Я, конечно, не о тех дурачках, которые, язык высунув и распутив слюни, по улицам шатаются да в баб плюются. Нет, дурачками у нас называют тех, кто не может справно хозяйство вести.

Гришка Весёлкин из таких. Вроде и жененка у него есть, и пара ребятшек с утра до ночи по деревне и окрестностям носится да шкодит, и дом о пяти окошках на краю деревни торчит, а вот сразу видно – из дурачков. Изба покосившаяся, крыша – как штаны заплатаанные, хлев полуразвалившийся, скотины – никакой. Перед домом – репы да крапива. В палисаднике – старый высохший тополь, который, кажется, вот-вот рухнет на латаную-перелатаную крышу. И никому заботы нет. Рухнет – так рухнет. Авось и устоит.

И сам Гришка неухоженный, неопрятный. Трети зубов нет, а остальные черные да кривые, торчат в разные стороны, словно гнилые колья из воды. Штаны, когда-то бывшие спортивными, заляпаны краской, грязью и бурыми навозными пятнами. Летом – спецовка рабочая с оторванными карманами, а в холодное время – засаленная фуфайка с тор-

чащей из прорех грязной ватой. Росту Весёлкин высокого, тощий, хоть и жрет, не зная сытости, пока все не кончится; как говорят – не в коня корм.

Хотя чего это я? Какой же он Гришка Весёлкин? Никто его так и не зовет. Для таких людей в деревне только клички уместны. Веслом его все кличут. А он и впрямь на самодельное весло смахивает: длинный, корявый, нескладный.

– Э, Весло, подь сюды! – слышно от богатого каменного дома.

– Чово, Михаил? – живо откликается наш дурачок.

– Выпить хошь? – сыто поглаживает толстый живот хозяин.

– Хочу! – радостно соглашается Гришка.

– И я тоже хочу, – ржет над лохом насмешник.

Гришка подхихикивает – авось после шутки Михаил и впрямь стакашок плеснет. Не плеснул. Да и с чего бы? Что тут – бесплатный ресторан, что ли? Иди куда шел.

Обычно Весло отирается возле магазина – всегда найдется человек с деньгами, которому скучно одному выпивать. Рядом – врытый в землю, сколоченный из нестроганных досок стол, по обеим сторонам которого такие же лавки. Чего далеко ходить? – купил и тут же выпил. Мало – повторил. Если деньги есть, конечно. У Гришки наличные редко заводились, но бывали. Где дров наколет старушке, где поможет оградку починить, где яму под уборную выкопает. Глядишь, на чекушку и заработает. После выпивки Гришка начинает разговаривать. Речь его несвязная, корявая, с исковерканными до неузнаваемости словами.

– Жравчина замучила, – жалуется он чуть живому собутыльнику и показывает на свои ржавые ворота. – Сколь ни крашу, а она, подлая, это самое, через краску прет.

А сам уж не красил, чай, лет десять. Но поговорить-то надо же о чем-то. И вот он полчаса рассказывает про эту «жравчину», радуясь, что его хоть кто-то слушает. А собутыльник спит давно, склонив голову в бурьян. Ну так что – не перечит же, не обрывает, как некоторые, которые его за дурачка считают. А какой же он дурачок? Все про все понимает и знает обо всех всю подноготную. Этот приворовывает, тот жененку колотит, третий по бабам в соседнюю деревню бегаёт. Если бы спросили – про всех бы рассказал. Не спрашивают только. Брезгуют.

И откуда в людях презрение к слабым да убогим? Видно, боятся сами показаться смешными перед людьми. Вот и насмеваются над теми, кто поплоче их. Ни поговорить нормально об чем-нито умном с ними не хотят, ни слово доброе молвить. Всё с какими-то насмешками да подковырками. Куда там – сами-то вон какие умелые да деловые. А тут – голытьба какая-то непутевая. Чего с таким тары-бары разводить? Одно слово – дурачки.

А те – люди не гордые: терпят и недовольства не выказывают.

Деревня наша стоит неподалеку от реки Пьяны, которая весной может на целых три километра разливаться. Благо что дома на холме поставлены, вода-то только огороды затапливает. Так некоторые умудряются у себя на огороде даже рыбки к ужину наловить сетями. А как половодье спадает, вся деревня на реку спешит. Мужики, конечно, в основном да ребяташки. После разлива налим выходит. Хватай его хоть голыми руками. Ну, это я, конечно, приврал маленько. Берут налима наметками да пауками – сетки такие особые. Пауками черпают, а наметками по дну волочат. Работа тяжелая, только крепким мужикам

под силу. А ребятня удочками пытается налима добыть. А что? – и получается. Насадит пацан червячка навозного, закинет удочку донную подальше от берега, и глядь – кончик удилица задергался.

– Тащи! – кричат друзья зазевавшемуся рыбачку.

Тот подсекает, и вот он – скользкий, темный, бешено извивающийся налимчик уже трепыхается в грязи. Глядишь – за пару часиков на уху мамане и натаскаешь. А у мужиков ловля, конечно, веселее идет – в наметку зараз штуки по четыре попадается. Только успевай в ведро кидать.

Вот тут-то как раз и для Весла работенка есть – таскает он ведро с налимами за удачливым рыбаком и мечтает, как они потом сядут на пригорке, рыбак из-за пазухи бутылочку беленькой достанет, зубами крышечку жестяную сорвет и – буль-буль-буль!.. На, Весло, порадуй душу. А что бы и не порадовать-то? На то и душа телу дадена, чтобы она радовалась.

Но главные на реке, конечно, ребяташки. Насиделись за зиму в избах-то, теперь не удержишь – все тут: грязь сапогами месят, помогают рыбакам налимов из сетки доставать, бегают, ссорятся, кричат – праздник, а не рыбалка. Иногда какой-нибудь проказник поскользнется и – бултых в ледяную воду. Смеху, крику, визгу! Все довольны – бесплатное развлечение. И мужики тоже ржут, никто и на подмогу не идет – сам выберется, деревня ловких любит. Мокрый пацан плетется домой – для него праздник закончился, сейчас дома порка будет, а потом два дня дома заставят сидеть. Строго в деревенских семьях, не забалуешься.

– Гляди, гляди! – вдруг слышен детский тревожный голос.

Рыбаки отвлеклись от работы – чего еще там?

– Вот постреленок!

Один из пацанов стоит на маленькой, чуть больше таза, льдине и, отталкиваясь палкой плывет, вдоль берега.

– Куда ты, бестолочь! Утонешь ведь! – кричат ему взрослые.

– Петька, там река изгибается, унесет на середину! – предостерегают смельчака ровесники.

А тому хоть бы хны. Руку козырьком ко лбу подносит – чего там впереди? И где он эту льдинку отыскал? Ледоход-то давно закончился; наверное, в кустах где-нибудь пряталась, а тут и вынесло ее на простор.

Река и впрямь стала загибать к деревне, а течение, конечно, прямо несет горе-мореплавателя все дальше и дальше от берега. Вот уж и палка до дна не достает. Вот тут-то мальчонка и понял, что в беду попал.

– Дяденьки! Помогите! – крикнул он жалобно.

Мужики побросали снасти, спешат к месту, где льдинка с пацаном в водовороте кружится.

– Прыгай, прыгай, – кричат мальчишке. – Плыви к нам! Мы тебя тут встретим.

Но мальчишка дрожит, в воду не прыгает, а льдинку все дальше к середине реки утягивает. Еще немного и совсем унесет.

– Тебе говорят, прыгай в воду! – орут и матерятся мужики.

Но малец с ужасом смотрит в грязные волны и тихо скулит.

– Потонет пацан, – охнули на берегу.

И впрямь – закутило водоворотом льдину, поскользнулся он и упал в воду.

Закричали пронзительно и страшно мальчишки. Мужики растерянно топтались на берегу, но никто не решился кинуться в быстрые, хо-

лодные волны Пьяны – она шутить не любит, утащит любого. Все понимали, что шансов у мальчика нет.

– Не выберется, – сказал глухо кто-то.

А мальчишка все цеплялся за скользкую льдинку, та выскальзывала из рук и норовила отплыть подальше. И тот, понимая, что это его единственная надежда, все пытался подмять ее под себя.

– Не зацепится, – сказали в толпе. – Пропал пацан.

И вдруг вдалеке, ниже по течению кто-то кинулся в воду и замахал руками, плывя наперерез тонущему мальчику.

Все как по команде побежали туда, где неизвестный смельчак рискнул в ледяной поток броситься.

Течение подхватило мужчину и поволокло будто щепку, норовя захлестнуть волнами. Но тот упорно крестил саженками реку – кто же, выросший на Пьяне, не умеет плавать? Все ближе и ближе пловец приближался к мальчику, вцепившемуся в льдину. Неужели спасет?

– Кто это? – спросили в подбежавшей толпе.

– Весло, – ответили стоявшие у берега мальчишки.

– Вот дурачок! – горестно крикнул кто-то. – Он, что, даже ни сапоги, ни фуфайку не скинул?

– Не... Как был в одежде, так и сиганул, – ответили дети.

– Да разве так спасают? Он и сам потонет, и мальчишку утопит, если, конечно, доберется. Назад ему силы доплыть не хватит, – серчали умные мужики.

И правда, видно было, что Гришка все тяжелее и тяжелее машет руками – фуфайка намочла, да и сапоги, видать, тянули гирями вниз.

– Не дотянет, – сказали в толпе.

– Кто его знает? Весло – жилистый, может, и доплывет, – возразил кто-то.

– Может, и доплывет, – согласились с ним, но как-то неуверенно.

Гришка не доплыл метра два. У пацана выскользнула из окоченевших пальцев льдина, и он сразу же ушел под воду, не барахтаясь и не пытаясь поплыть навстречу спасителю. Гришка нырнул и долго не показывался.

– Всё, – хрипло сказал один из рыбаков.

Но голова Гришки снова показалась на поверхности. Веселкин посмотрел в сторону берега, как бы ожидая подмоги, потом покрутил башкой по сторонам, видимо, надеясь увидеть тонущего мальчишку. И снова нырнул.

На этот раз навсегда.

Река равнодушно несла свои мутные холодные воды вдаль. А где-то в глубине непроглядного ледяного мрака плыли по течению два тела. Кружилось в водоворотках легкое тельце маленького мальчика, который никогда не станет юношей, не ощутит восторга и волнения первой любви, никогда не познает радости отцовства, не станет воином, защитником, гражданином. И плыло вслед за ним тело непутевого человека, у которого вместо имени была кличка, у которого не было крепкого хозяйства, но совсем недавно билось в груди храброе сердце, толкнувшее его на этот безумный роковой поступок.

Все понимали, что тела утонувших уже не достать, их унесет быстрым течением в низовья Пьяны, потом они попадут в Суру, а там – в Волгу, и найдут свое упокоение где-нибудь в Каспийском море, если, конечно, их не затащит в глубоком омуте под корягу.

Ничего сделать было уже нельзя.

Но никто не расхотелся, словно уход с места трагедии могли поставить им в вину. Топтались, не зная, что делать. Рыбаки собирали брошенные снасти, чтобы хоть чем-то заняться. Отвлекали себя от горестных мыслей разговорами.

– Чей мальчишка-то был?

– Да Петька, Макарихин сын. О прошлом годе мужа похоронила, а теперь вот...

– Зря Весло в одежде прыгнул, – говорили в толпе.

– Да и разделся – не лучше бы вышло. Судорогой свело бы ноги – и сразу на дно.

– Да, в такую реку соваться нельзя. Шансов никаких.

– У Весла мозгов немного было, потому и бросился. А разве в такой реке поплаваешь?

– Дурачком жил и помер им.

И было понятно, что это мужики сами себя уговаривают, – стыдно, что никто, кроме Весла, в реку не кинулся, чтобы мальчонку спасти. Страх оказался сильнее достоинства.

А от деревни уже спешила, спотыкаясь и падая, женщина, оповещенная о беде быстрыми на ногу ребятишками. Она не выла, не кричала, бежала молча, только ноги ее подгибались, будто у пьяной. Она видела толпу мужиков и детей, стоявших на берегу, и все надеялась, что кто-то пошутил или обманулся, и сейчас навстречу выбежит ее маленький Петенька и зазвонит радостно его звонкий голосок.

Угрюмым молчанием встретили ее мужики.

## Вячеслав КИЛЕСА

Родился в 1949 году в городе Белогорске Крымской области. Окончил исторический (1972 год) и юридический (1988 год) факультеты Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. Сменил ряд профессий: командир мотострелковой роты, матрос-спасатель, библиотекарь, научный сотрудник музея, преподаватель средней школы, училища и техникума, начальника районной инспекции по делам несовершеннолетних.

Автор книг «Весенний снег», «Провинциальные рассказы», «Истории, рассказанные вчера», «Лестница любви», «Огля-нутья, остановиться», «Сид», «Детективное агентство “Аргус ”», «Юлька в стране Витасофии».

Живет в Симферополе.

## НЕВИНОВНЫЕ

### *Чувства и мысли*

#### СЫН

На этот раз я восторжествую. Я знаю, он считает меня близняком, не способным на поступки. Что он думает теперь? Честное слово, мне наплевать. Потому что помню слезы своей матери, когда он ушел, помню тот день, когда одноклассники писали сочинение на тему «Мой отец», а я плакал, уткнувшись головой в парту, – семилетний мальчик из неполной семьи. «Это – твой враг!» – учила меня мать. И когда он привозил нам продукты, ремонтировал квартиру, давал деньги или делал подарки на праздники, она никогда не говорила «спасибо». «Он компенсирует свою вину», – объясняла мать. И я не испытывал благодарности за магнитофоны, велосипед и гитару, купленные мне в девятом классе, водительские права, появившиеся у меня через год, за школьную золотую медаль и поступление в университет. И когда мамина подруга Аня говорила, что ничего из приобретенного для меня нет у Валеры, моего сводного брата, я отвечал: «У него есть отец!» И пропускал мимо ушей Анины слова о том, что мамин характер не смог выдержать ни один из живших у нас после отца мужчин. Я догадывался, что мамина ненависть вызвана страстной любовью к отцу, которую пронесла она через свою короткую жизнь, и что на фоне отца остальные мужчины казались ей ничтожеством.

Отец... Говорили, что я на него похож. И я не заметил, как стал этим гордиться. Мне нравилось слышать, с каким уважением говорят об отце в городе, нравилась его легкая походка и обаятельная улыбка, нравилось поклонение, которым окружали его женщины. И когда после смерти матери я, бросивший университет недоучка, был устроен

на фирму «Комета», где он работал коммерческим директором, я начал восхищаться его интеллектом, выручавшим фирму из безнадежных хозяйственных положений.

Я был его сыном и жил в тени, отбрасываемой его именем. Я помнил об этом, когда меня не наказывали за ошибки в работе, когда один из немногих получал путевки в принадлежащий фирме дом отдыха, когда, услышав мою фамилию, люди начинали улыбаться и спрашивать, как дела у отца.

Я знал, что он меня любит. В трудных ситуациях он появлялся рядом: улаживал, уговаривал, платил – и я получал освобождение от армии, новый паспорт взамен утерянного, древнюю, но еще бодрую машину «Москвич». При малейшей просьбе он вынимал кошелек и давал деньги – иногда последние. Я брал и помнил: «Это – твой враг!».

Особенно я завидовал его успеху у женщин: чем он их привлекал? Лысеющий очкарик с проступающим животом, – как могла полюбить такого Клава, стройная, кареглазая красавица, работавшая главным бухгалтером фирмы «Селена»? Их роман, длившийся четыре года, изумлял огнем чувств: казалось, он способен растопить ледники.

А вот с женами ему не везло. Вначале моя мать – да, ее истеричный характер не выносил никто! – потом Галина, обаятельная самка, легко откликавшаяся на призыв любого, кто носит брюки. Дурак! Я слышал, как мать с насмешкой рассказывала Ане, что Галина изменяла моему отцу даже во время празднования его дня рождения, по очереди закрываясь с гостями мужского пола в ванной комнате. А он ничего не знал, или делал вид, что не знает. Аня говорила маме, что отца удерживает от развода мой сводный брат Валерка, заботам о котором отец посвящал все свободное время. Интересно, почему не удержал его от развода я?!

Клава теперь моя. Красивая сорокалетняя женщина, которой я владею. Помню его побледневшее лицо, когда он застал меня и Клаву в своей постели, и как, отвернувшись, он молча уходил из квартиры. В его фигуре было что-то жалкое, его руки, всегда такие сильные, тряслись, и я понял, что мой отец – почти старик, и почувствовал торжество. Молодость побеждает всегда! Только совесть... Ничего, это пройдет.

## Она

Я увидела его на встрече руководящих работников наших фирм, услышала выступление и поразились мастерству изложения и логике аргументов. В нем была непонятная сила, то, что называют «харизма»; к таким людям нельзя относиться равнодушно, их можно или любить, или ненавидеть. Его заинтересованность мною поняла сразу, но первые месяцы отвечала «нет» на предложения о встрече: у меня хватало хлопот с бездельником мужем, считавшим своим рабочим местом кресло перед телевизором, и семиклассницей дочкой, обожавшей папочку и разделявшей его мнение, что мама, занятая на трех работах, слишком редко бывает дома. А потом, в один весенний день, я поддалась Володиным ухаживаниям и начался роман, который и романом назвать нельзя: это напоминало поток воды, хлынувшей из-под поднятых створок плотины! У меня, как у каждой женщины, много недостатков, в том числе – собачья преданность, и Володя постепенно стал для меня единственным в мире, опорой и надеждой. Оставив Галине двухкомнатную квартиру, Володя нанял маленький домик в переулке Ломанный, ставший

его жильем, а моим уголком счастья, и почти четыре года мы плыли в этой лодке сквозь перипетии быта к неясной, но прекрасной цели. Денег не хватало, – почти всю зарплату Володя отдавал Ольге и Галине, да и потребности моей Алены быстро выросли, и мы начали подрабатывать в свободное время, убедившись – когда нас несколько раз обманули при расчете, – что умеем работать, а не зарабатывать. Володя смеялся: «Нельзя одновременно иметь счастье и деньги», но для меня деньги значили многое, я расстраивалась и невольно обвиняла его, хотя и не высказывала вслух, понимая, что умение молчать для женщины важнее умения говорить. Володя жил слишком легко и из всех слагаемых мира принимал всерьез только своих детей и мать, стареющую в уютном домике на окраине Джанкоя. Я располагалась у Володи на третьем месте: это подчеркивалось и подтверждалось действиями. Вначале это возмущало, потом стало безразличным. Володя так и не понял, что женщина может простить мужчине все, кроме невнимательности.

«Большая мечта». Я назвала ее так в детстве, когда в телевизионном «Клубе кинопутешествий» увидела фильм, посвященный Греции, – и появилось ощущение, что вижу свою настоящую родину. Достав самоучитель, познакомилась с языком, распространенном в древнем мире столь же обширно, как сейчас английский. Эллада: колыбель цивилизации! Я уговаривала Володю уехать туда, заработать денег на квартиру для нас и детей, но он хмурился и говорил, что уезжать надо было раньше, в статусе политических беженцев, а как рабочая сила славяне ценятся дешево, да и отношение к ним плевое. Глупый человек! Разве наши правители, бессовестно обманывающие и обворовывающие своих граждан, считают нас людьми?!

Володя был человеком решительным и жестким, а я обыкновенной женщиной, боящейся одиночества и всегда знающей, куда отступить в случае неудачи. Невзирая на Володины просьбы, я ни разу не осталась ночевать в его квартире и в какое бы ни было позднее время он проводил меня на троллейбус, останавливавшийся возле моего дома. Муж, даже если о чем-то догадывался, внимания на мое ежевечернее отсутствие не обращал, зато дочь... Какие скандалы она мне закатывала, пока не привыкла – и эта привычка позже начала меня пугать.

Я знала, что когда-нибудь стану Володиной женой, – и вела себя соответственно. В гостях, на каких-то вечеринках и даже когда он шел в свою бывшую квартиру навещать сына – я была рядом: тень, обреченная следовать за хозяином. Галина, пытавшаяся вначале пофыркать, после жестких Володиных фраз начала принимать меня по-родственному: мы приносили деньги, на которые существовала не только Галина с Валеркой, но и, подозреваю, ее поклонники. Вот только больно было смотреть, как хмурится Володя, глядя на одетого в грязную одежду Валерку и на выстроившиеся на кухне штабеля пустых коньячных бутылок.

Мое убеждение в том, что Володя балует детей и бывших жен, я не высказывала: пусть учится на своих ошибках. И когда на деньги, отложенные на покупку дубленки, он покупал зимнюю одежду для Валерки и Алеши, я только пожимала плечами и подшучивала над ним, когда он в осенней куртке бежал по морозу. Детям нужно давать не рыбу, а удочку, и учить ею пользоваться, – только тогда перестаете быть рабом их потребностей.

Тот день, когда Володя сказал, что возвращается в семью, к Валерке. Я сидела, слушая его правильные слова о том, что он не может жить, зная, что рядом погибает его сын, и нужно защитить его от влияния

гулящей и спивающейся матери, смотрела на него и думала: какой нужно быть душой, чтобы поверить мужчине, и как права была подруга Люда, объяснявшая, что женщина должна быть как кошка: привязываться не к человеку, а к дому! «Ты сбрасываешь меня, словно изношенную одежду?» – спросила, стараясь не расплакаться. Он бормотал о том, что нужно подождать, когда подрастет Валерка, что я должна понять и простить. Что ж, я поняла, – но не простила.

А потом начались безумные дни, когда привыкала быть без него. Володя занял в моей жизни такое обширное место, что начала бояться, что не смогу переплыть возникшее море пустоты – и только наличие дочки спасло меня от самоубийства. Умереть иногда проще, чем жить.

Дочка и Греция. Я обратилась мыслями в далекую страну, позвавшую меня, как когда-то позвал из мира повседневности к сказочному острову бегущую по волнам Фрези Грант. Заняв денег, я вместе с работавшей ранее в Греции Верой Милютиной отправилась по нелегальному маршруту на красном двухэтажном автобусе в «обетованную землю». И поняла, что подразумевал Данте, описывая круги ада.

## Отец

Из детского садика его забирали в определенный час и я, откладывая дела, торопился к «своему углу» возле пятиэтажки и смотрел, как Ольга или ее мать ведут домой Алешу, моего первенца. Иногда он что-то рассказывал, смешно размахивая ручонками, иногда шел насупясь, чем-то недовольный, и я расстраивался и жалел, что не могу оказаться рядом и помочь, потому что все попытки встреч с сыном пресекались Ольгой злобными скандалами, свидетелями и жертвами которых оказывались не только заведующая детсадом, а позже и директор школы, но и окружающие. Работа инспектором района позволяла моей бывшей жене отгородить меня от сына непроницаемым кольцом, и разрешение на свидания с сыном, выданное горисполкомом, так и осталось неиспользованным.

Моя вина... Ее груз давил на меня, увеличиваясь с каждым прожитым днем. Два мальчика, растущие без отца. Две женщины, поверившие мне настолько, что родили от меня детей, и еще одна, пошедшая за мной, как за светом вечерней звезды, и потом решившая, что спешила на болотный огонек...

День развода с Ольгой – самый счастливый день в моей жизни. Наша семейная жизнь напоминала пыточный застенок, где Ольга играла роль палача, допрашивая меня, почему я улыбнулся этой женщине и о чем разговаривал с той. Она была уверена, что брачное свидетельство передало меня в полную ее собственность и только ей должно быть адресовано мое круглосуточное внимание. И если первые месяцы после свадьбы я еще старался потакать Ольгиным прихотям, то потом, оказавшись без друзей и прав на личную тайну, понял, что нужно или бежать, или вязать петлю на веревке. Любовь, перехлестывающая через край как шампанское, оставляет в итоге пустоту.

Галина... Я женился на ней в минуту безысходности и тоски, когда все одинаково безразлично и жизнь ничем не отличается от смерти. Тогда показалось, что ласки красивой женщины способны вывести из тупика, и какое-то время так и было, пока не выяснилось, что вместо одного уровня inferно перешел на новый. Непосредственная и любвеобильная, Галина относилась к мужчинам как к лакомствам, кото-

рые необходимо перепробовать, а семейная жизнь была для нее чем-то вроде детской игры в куклы: не получилось – начнем сначала или попробуем иначе! Ребенок, поселившийся в тридцатилетнем теле и не понимающий, чем недовольны взрослые.

Выходящее за рамки обычного кажется людям уродством, и я не удивлялся, слушая гневные филиппики знакомых в адрес моих супругов, стараясь такие разговоры не поддерживать. Я понимал, как беззащитны перед обстоятельствами живущие на экстриме, и когда однажды ночью мне позвонили из милиции и сообщили, что найдено тело убитой Ольги, я вместе с ужасом почувствовал, что ждал подобного известия. Кто, кроме Ольги, мог решиться возвращаться домой после занятий в вечерней школы, где Ольга подрабатывала, не маршрутным такси, а пешком глухими переулками?!

Похороны Ольги, старающийся не плакать девятнадцатилетний Алеша, бросающая, словно камни, ненавидящие взгляды Вера Сергеевна, Ольгина мать... Слава богу, у Веры Сергеевны хватило ума не только поселиться вместе с Алешей, чтобы готовить ему еду и обстирывать, но и не противиться моей заботе о сыне.

Моя вина... Возможно, если бы я давал Ольге больше денег, она не занялась подработкой и осталась жива? Мысль об этом мучила и угнетала: казалось, я должен что-то сделать, хотя бы для спивающейся Галины, этой глупой и разбалованной девочки, стремящейся закрыться алкоголем и вниманием кавалеров от жестоких реалий мира. «Ты понимаешь, что я гибну? – твердила она. – Ты должен вернуться, иначе я и Валерка будем на твоей совести». Как это легко: отдать свою судьбу мне, осыпая за это упреками! Развалиться на руках моих действий, заставляя нести себя по чуждой мне дороге. Но Валерка...

Клава – моя любовь, моя половина. Я благодарил судьбу за то, что встретил похожую на меня женщину: думающую и понимающую. «Подожди, пока подрастет Валерка», – просил я. Три-четыре года – неужели это так много, когда впереди целая жизнь? Ведь ждали когда-то тех, кто ушел на войну.

Когда Клава начала меня избегать, решил, что это – оскорбленное самолюбие, особенно когда узнал о Греции. Она едет туда, чтобы заработать на квартиру себе и дочке – что может быть безумнее! «Если хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах» – говорил я Клаве, слыша в ответ: «Повтори эту фразу себе». Спорить с женщиной – все равно что общаться с зеркалом: твои аргументы, отразившись, ударят по тебе же.

Я был уверен в Клаве, как в самом себе. Наивный человек, возмнивший, что нарисованное изображение не отличается от настоящего, и теперь усмиряющий боль словами Сенеки: «Лучшее средство от обиды – прощение».

## *Мысли и чувства*

### Сын

Мама, мамочка, как тебя не хватает! Иногда снится, как умираешь ты под ударами ног и кулаков хмельных от водки и безнаказанности подростков, как кричишь, стараясь убежать, а тебя снова швыряют

на тротуар и бьют, бьют, – я просыпаюсь, и тоже кричу и плачу... Может быть, среди этой толпы были и те, кого ты учила? Мои сверстники, мое поколение...

Твоя смерть осталась не отомщенной: уголовное дело было потихоньку закрыто, потому что жители соседних домов, где проходило избиение, никого не опознали. Я понимаю: им тоже случается возвращаться домой ночью. А правоохранительные органы, не право охраняющие... Отец со вздохом сказал: «При советской власти была милиция, их сменили менты, потом появились мусора».

Не дает покоя мысль: почему, когда убивали маму, никто не вмешался, бросившись из квартир на ее крики? А вышел бы я, зная, что могут убить? Наверно, нет. Потому что мамы уже нет, Клава – в Греции, остальные мне безразличны.

Сегодня опять передавал по мобильному телефону сообщение Клаве, ждал ответ, радовался, его читая. Обещает, что придет в следующем году, весной. Полтора месяца, как она вернулась в Грецию, а кажется, что прошла вечность.

Странная любовь, начавшаяся с подсматривания за прогулками Клавы и отца, их поцелуями, бережными касания рук. Я ощущал себя рыцарем из средневекового Прованса, влюбленным в Даму сердца. Когда читал о такой любви в книгах, она казалась смешной и наивной: как у Дон Кихота к Дульсинее Тобосской. Как можно любить женщину, зная, что никогда не коснешься ее одежд и она навсегда будет чьей-то женой?! А сейчас... Бродя по улицам, почти ежеминутно вспоминал Клавины слова, ее походку, глаза, сиявшие так, словно в них поселилось солнце...

Помню свою радость, когда узнал о расставании отца и Клавы. Ни на что не надеясь, пригласил Клаву в театр, потом в кафе. К моему удивлению, она пришла: подавленная, грустная, старающаяся этого не показывать. Наверное, для нее я был уменьшенной копией отца, поэтому и всматривалась в меня, словно надеясь его обнаружить, – и разочарованно опускала голову. «Будет и на моей улице праздник!» – твердил я, стараясь окружить Клаву вниманием. Я даже начал изучать с ней греческий язык, одобряя ее поездку в Грецию. Куда угодно, лишь бы подальше от отца, пока он не спохватился и не позвал Клаву обратно!

Я провозжал ее на автобус, следующий через Приднестровье и Молдавию в Грецию, и тогда, прощаясь, она впервые меня поцеловала – меня, а не отца в моем облике! Ощущение ее губ осталось во мне надолго, а пока что я ежедневно посылал ей сообщения на мобильник, тратя на это почти всю зарплату. Там, в чужом краю, кто-то должен быть с ней рядом, хотя бы в телефонной связи, она должна знать, что не все о ней забыли и ее ждут.

Отец о Клаве, если и вспоминал, не говорил ничего. Он считал Клавино путешествие в Грецию заскоком нездорового воображения и был уверен, что, наткнувшись на острые углы реальности, Клава вскоре вернется: с опущенной головой и бегающими от стыда глазами. Он совсем не разбирался в женщинах!

Его «поход в семью», как я и думал, закончился неудачей: присмирившая на пару месяцев Галина, наверстывая упущенное, ринулась в разгул с такой силой, что отец не выдержал и сбежал: после того, – я случайно узнал у Валерки, – как один из поклонников его пьяной мамы, прежде чем залезть с ней в койку, основательно отца поколотил.

Ничего не получилось у отца из попытки забрать Валерку в судебном порядке: основываясь на положительной характеристике с места работы, – Галина работала секретарем у крупного коммерсанта, – суд принял сторону матери.

Заняв денег, отец купил двухкомнатную хрущевку, и теперь я часто ночевал у него, сразу получив ключи от квартиры. Бабушка Вера отличалась занудством и, когда я заваливал домой с кучей приятелей и сеткой бутылок, воспринимала это как мировую катастрофу, выкрикивая потом: «Как не стыдно: что скажут соседи?!» Да всем на всех наплевать: пора бы понять! Отец к моей расслабухе относился спокойно, говоря, что каждому нужно иногда уйти от реальности.

Клава приехала в декабре, под Новый год: я радовался, как щенок, нашедший хозяина. Поселилась Клава у отца, в «моей» комнате, потому что деться ей было некуда: ее бывший муж развелся с Клавой через полгода после расставания, указав причиной развода: «Жена бросила семью и скрылась в неизвестном направлении», и женился заново. В суде он, конечно, не говорил, что Клава ежемесячно передавала ему и Алене половину зарабатываемых денег! Алена после окончания школы устроилась гражданской женой у какого-то бармена и заботилась лишь о том, как выжать из матери побольше долларов.

Отец воспринял Клавин приезд с удовлетворением. «Надеюсь, ты поняла, что хватит валять дурака и пора возвращаться», – говорил он, держась с Клавой так, словно ничего не произошло и не он отправлял ее два года назад к четырем сторонам горизонта. Ее холодность и равнодушие отец воспринял как временное явление, не догадываясь, что всю свою нежность Клава дарила мне, повторяя, что я единственное, что осталось от прошлого. Я понимал, что здесь не столько любовь, сколько благодарность, но мне было достаточно. Отец, чья слепота походила на ослиное упрямство... Если бы он не застал нас в постели, то продолжал бы считать Клаву своей Эвридикой.

Через неделю после Нового года я и Алена вновь провожали Клаву в Грецию. Отец был с нами: спокойный, немного отстраненный, о чем-то думающий. Купил Клаве в дорогу еду, записал ее почтовый адрес, чмокнул на прощанье в щечку. Он вел себя так, словно ничего не случилось. Может быть, так и было?!

## Отец

Звездное небо – какое огромное! Глядя в его глубину, ощущаешь мелочность человеческих устремлений, тщету повседневной суеты. Наедине с небом смешно считать свои страдания мировой скорбью. Я не первый и не последний, кому не повезло в жизни, и остается пройти свой путь на земле с достоинством и благодарностью, потому что все-таки ты существуешь, а это и есть главное счастье.

Нельзя дважды войти в одну воду... Если не умеешь быть честен с другими, будь честен с собой... Клава потеряна, – по моей вине. «Там, где был ты, сейчас зола, и не надо, чтобы вновь что-торосло» – ее слова перед отъездом. Кто кричит, тот плохо слышит. Я старался молчать. Тогда я и познакомился с ночными звездами.

Написал Клаве письмо: наверное, отошло. Когда размазал боль на бумаге, стало легче дышать. Журавль с перебитым крылом, пытающийся взлететь.

Выход из безвыходного положения там же, где вход. Вернемся к тому, кем был когда-то, и вспомним, что остались обязанности перед детьми, мамой, перед теми, кто верит моей деловой инициативе и ищет во мне опору в трудных случаях. Поплавки, удерживающие нас на поверхности жизни.

Это – судьба. За все надо платить, и пришел мой черед. Все проходит: вечно только ожидание.

## Она

Кроме двух факторов, побуждающих человека к действию – желание приобрести и страх потерять – есть еще фактор глупости, заставляющий шагать там, где нужно стоять. Если бы не Вера Милютина, я не выжила в этой жалкой стране, когда-то делавшей историю, а сейчас просто в ней существующей. Цивилизация аграриев с огромным раковым наростом под названием «Афины».

От работы на плантациях цитрусовых, куда собирался направить меня Совет (здесьшний нелегальный центр занятости), Вера меня отговорила, объяснив, что я со своим здоровьем протяну там ноги через полгода. Несколько месяцев работала у фермера, ухаживая за свиньями, козами и курами. Ночевала в сарае, на деревянном топчане; спать удавалось не более пяти часов. Впрочем, вся семья фермера работала на износ, отдыхая только по воскресеньям. Днем ели мало, зато вечером пожирали горы мяса, наращивая внушительные животы. Книг здесь не читают. Женщины заваливают себя нарядами, мужчины соревнуются в покупках машин. Люди, шумно живущие для внешней цели.

Познакомилась с такими же, как я, эмигрантами: в основном это украинки. Каждая мечтает о «зеленой карточке», дающей некоторые гражданские права и позволяющей требовать зарплату побольше: в статусе нелегалов мы получаем треть положенного. Многие имеют любовника: обычно это хозяин. Любовник – гарантия от произвола, в том числе финансового: девочки рассказывали о случаях, когда деньги не выплачивали или отдавали частично.

Вера Милютина уехала на работу в Афины: ухаживать за семидесятилетней старухой. Это считается удачей.

После фермера – устала от домогательств его брата, – работала в гостинице на пару с Катей Светлицкой. Обслуживали сто двадцать номеров, ночуя в одном из подвальных помещений: без туалета, зато с крысами. Уставали так, что вечером с трудом добирались до кроватей. Впрочем, платили хорошо, и если бы не распускаящая руки *voikokura* (хозяйка), я бы там осталась.

Алеша... Почти каждый день он звонил или посылал сообщения на мой мобильник. Оказывается, кроме ласковых слов, Алеша умеет давать дельные советы, шутить, смешно рассказывая об оставшихся в Крыму знакомых. Об отце не упоминал, я не спрашивала. Достаточно того, что по Володиной вине я попала в эту страну, и теперь я употребляла его имя в тех случаях, когда принято ругаться матом. Потом это настроение ушло, и я о Володе забыла: как о тряпье, упавшем по дороге с подводы.

Одиночество духа гораздо страшнее одиночества тела, которое можно насытить каким-то эрзацем, тогда как душа признает только подлинник. Когда-то, в другой жизни, я ходила в театр, бегала на концерты симфонической музыки. Интересно, можно ли, месяцами вычищая чу-

жие унитазаы и убирая блевотину, остаться восторженным почитателем Чайковского?!

Одна из немногих здешних радостей – репо (выходной). Собираемся в кафе «Ойкумена» у Тамары Масловой: за небогатым столом с местным вином обмениваемся новостями, рассказываем о себе, смеемся, плачем, мечтаем о будущем. Здесь я, бывшая комсомолка и атеистка, научилась молиться.

Тамара родом с херсонских краев, где ее ждут муж-инвалид и трое детей, ютятся вместе с семьей мужниной сестры в маленьком домике. В Греции Тамара шестой год, вот-вот должна насобирать деньги на квартиру. «Я ее иногда во сне вижу: просторную, светлую, с тремя комнатами» – рассказывает нам.

В кафе Тамара заменяет двух служанок, работая с пяти утра до часа ночи. Спит с хозяином кафе – жирным вонючим греком, – благодаря чему имеет отдельное помещение для ночлега и небольшую прибавку к зарплате. Тамара как старожил учит нас эмигрантской мудрости. «Закрытый рот помогает сохранить зубы» – это я усвоила от нее.

Каникулы в Крыму оказались госпиталем, лечившим меня от прошлого. Бывший муж с бегаящими глазами и виноватой улыбкой, самодовольный Володя, так и не понявший, что был не Пигмалионом, а Франкенштейном, дочь со сметой предстоящей свадьбы и последующего круиза, знакомые, завистливо спрашивающие: «Сколько привезла?» Даже Алеша... Что ж, я легла с ним в постель.

Самое печальное: когда осенью сжигают листья и в январе выбрасывают новогодние елки. Такой выброшенной елкой я возвращалась в Грецию, где меня ожидали поиски новой работы и эмигрантское братство. Жизнь на ничейной полосе, в зоне отчаяния. Мечта юности, обещающая стать кошмаром старости.

## Письма

### Сын

Привет, Эдик!

Распределение в банк после института – дело выгодное, так что поздравляю! Я тоже решил восстановиться в альма-матер: отец обещал учение оплатить.

Ты ошибаешься, думая, что мне повезло с отцом. Он романтик – из тех, кто способен отдать кошелек первому встречному, если его убедят, что деньги тому нужнее. Я недавно в старых бумагах нашел отцовский дневник со студенческих времен. Ощущение, что читаешь «Записки сумасшедшего»: «Жить для блага людей... Мы – фундамент в плотинах будущего...» К счастью, не все их поколение такое, большинство всегда знало, для чьего блага нужно жить: у них нам и нужно учиться.

Отца иногда жаль: он похож на мамонта, не подозревающего, что стоит в очереди на вымирание. Если человек обречен тлену, если даже самых могущественных из людей ожидает смерть, что толку в бессмертии добра, милосердия, красоты? Для рыночной экономики эти отцовские боги смешны, они уходят, как и взрастившие их люди.

Он странный, отец... Я с ним поступаю иногда – самому противно. А он вздохнет, посмотрит с насмешливой нежностью: и ощущаешь себя намочившим штаны карапузом.

А мама... Я о ней постоянно думаю: разговариваю, прошу о помощи. Прихожу домой и жду: она выглянет сейчас из комнаты и спросит: «Алеша, кушать будешь?» Однажды из троллейбуса выскочил и побежал за какой-то женщиной с окликом: «Мама!»

Собственная смерть для меня невозможность – и неизбежность. Помню свое ощущение, когда сообщили о маминной гибели. Кроме ужаса и горя была растерянность и понимание, что обрыв, именуемый смертью, приблизился вплотную. Потому что раньше между мной и этим обрывом стояла мама, защищая и оберегая...

Я сейчас пишу редко и мало, так что извини за поздний и краткий ответ. Люди вместе, пока друг о друге помнят. У тебя и меня – общее детство: достаточное основание для дружбы. Помнишь: солнце на деревьях, эскимо, школьный бал, плавание наперегонки... Фантики памятных событий – неприкосновенный запас радости, сберегаемый на черный день.

## Отец

Клава, Клабочка... У нас никогда не было переписки, – все ограничивалось встречами, телефонными звонками, разговорами – или совместной работой, когда мы забирались в самые рискованные и трудные ситуации, заканчивающиеся обычно тем, что мы кому-то помогали заработать деньги. Сами оставались с копейками – и друг с другом. И в те времена, далекие, как страна победившего социализма, мы все-таки оставались в выигрыше, потому что любили друг друга, – а неудачи сближают сильнее, чем счастье.

Сейчас, оборачиваясь назад, я вижу, что из всех женщин, любимых мною, более всего я любил тебя. Я любил до сумасшествия, до одури, готовый, как писал в стихотворении, «все зачеркнуть своей любовью». И я зачеркивал: вталкивая тебя в круг друзей, приучив их к мысли о нашей неразделимости, вводя тебя в свою семью, – без оглядки на мораль и последствия. Ты была моим идеалом, женщиной гриновской мечты, таким же безнадежным романтиком, как и я. Мы жили в разграбленной и несчастной стране, зарабатывая тяжким трудом на пропитание своим детям, – и помогая друг другу в этом. Мы были семьей, воспитывавших троих детей – и не думаю, что они имели плохих родителей.

И еще мы мечтали о будущем. Я не знаю, плачет или смеется сейчас домик из переулка Ломаный – безмолвный свидетель наших встреч и мечтаний о совместной, обязательно счастливой жизни. Мне кажется – плачет. Он любил нас, он не хотел нас отпускать: не зря там так и остались большая часть моего и твоего имущества. Мы ушли от него – к «другим пенатам» и «молочным рекам». Для меня это оказалось возвращение в семью, для тебя – отъезд в Грецию, и я не знаю, что было хуже. Как и ты, я многое не рассказываю.

Моя вина не только в том, что я ушел. Моя вина и в том, что я ждал, надеясь на чудо: вернется моя Клава и все потечет по-прежнему, – или получше, потому что обстоятельства изменились. Самонадеянный глупец! Мне стыдно, что я, обезумевший от отчаяния, ставил тебе условия. Не важно, что ты любишь другого – пусть это даже мой сын. Важно то, что ты не любишь меня. И необходимо привыкнуть жить в мире, в котором тебя нет и не будет. И я стараюсь привыкнуть, вырывая тебя из себя по кусочкам: вместе с памятью. Здесь мы когда-то ходили и це-

ловались, здесь ты рассказывала о себе, здесь я ждал, а ты торопилась и бежала, улыбаясь и светясь глазами (ты знаешь, что твои глаза обладают свойством светиться?).

Помнишь наши поездки в Киев, Севастополь, Судак? Мои провожания тебя на вечерний троллейбус, увозивший тебя домой? Если забыла, то правильно сделала: я их тоже из себя выжигаю. Сквозь слезы, сквозь боль, от которой останавливается сердце.

Прощай, Клава! Пусть счастлив будет твой путь! У тебя сейчас есть любовь: держись за нее, как бы не была она смешна для других. Уверю тебя: в мире нет ничего ценнее и важнее любви.

Прощай!

*P.S. День второй.*

Смешно, но я продолжаю писать. Переписка длиною в жизнь... Кажется, что нужно еще что-то сказать, чтобы быть понятным, а может, и принятым, суетишься в толчее слов, не зная, которое выбрать, и не выбираешь ничего, понимая, что все напрасно. Стыдно выпрашивать деньги, но еще более постыдно выпрашивать любовь, взывая к жалости, сочувствию и воспоминаниям.

Сайонара – самые печальные слова в японском языке, произносимые при расставании: «Если так надо – прощай!» Сайонара, Клава!

## Она

Здравствуй, Света! Спасибо за письмо!

Чем встретила тебя Оукраїна? Отключением электричества, голодными у мусорных баков, невыплатой зарплаты на фоне сочного голоса диктора об успехах в экономике? Впрочем, как пишешь, ты вернулась к людям, а не к государству. Ты права: только у нас бедняк отдаст последний кусок хлеба (богач – как и здесь – постарается его отобрать).

Ценю жизнерадостность твоих слов, хотя помогают они мало: то ли зима действует с ее пафосом вымирания, то ли я стала законченной мизантропкой и наперекор всему утверждаю, что нет никого без вины и каждый шаг на земле греховен, как несправедно все человеческое существование. Здесь, в Греции, я начала верить, что жизнь дана в наказание и только смирение может спасти от отчаяния.

Сейчас у меня легкая работа: служанкой в кафе на горном перевале. Посетителей мало – в основном это туристы, спешащие в расположенные в горах зимние лагеря покататься на лыжах. Владельцы кафе на отдыхе в Афинах; вернутся, когда растает снег – и тогда вновь придется искать работу. В кафе я одна; когда падает снег, кажется, что, кроме меня, в мире давно никого нет. Одинокий человек в одинокой стране.

Иногда, закрыв кафе, поднимаюсь ближе к вечеру на соседнюю гору и смотрю, как солнце прощается с землей. «Хорай» – по-японски это несколько минут, когда день ушел, а ночь не наступила, когда все вокруг пропитано последним светом дня и вместе с тем наливается голубиной ночью. Это как море: однажды увидев, помнишь всегда.

Вчера заезжали в гости Катя и Вера, привезли опубликованную в эмигрантской газете поэму Лики Мизиновой «Татьянам, Машам – сестрам нашим». Не забыла, как снимали вместе квартиру? Лика это описывает:

По восемь человек в квартире  
(Ведь надо выжить в этом мире).  
Да, очередь у туалета,  
Но сэкономим на билеты,  
На хлеб, бутылку молока –  
Мы не Рокфеллеры пока!  
Мы сэкономим и на соли...

Мало заработать деньги: нужно их сохранить и довести домой. Девочки рассказали о Тамаре Масловой. Прошное воскресенье она перед отъездом накрыла в своей комнате прощальный стол для нашего братства (я отсутствовала, не могла отлучиться из кафе), когда выпили вина, все потеряли сознание. Очнулись: Тамариных денег нет! Девочки говорят, такого горестного крика они никогда не слышали! Хозяин, конечно, эту подлость сделал, но кому докажешь! Тамара на второй срок в Греции осталась: как без денег домой приезжать?! Хохотушка была, а теперь – лицо мертвого человека.

Получила письмо от Володи. Все несчастья нашей жизни – от идеалистов.

Кому и зачем он писал? Клава, спешившая в домик на Ломаном с кусочком мяса и картошкой в пакете, чтобы приготовить любимому ужин, и Клава, два года прожившая в Греции – разные люди. Нужно вовремя хоронить своих мертвецов и не возвращаться на развалины любви.

Перестала отвечать на Алешины звонки. Всех можно обмануть, – но не себя. Чувство благодарности – те же золотые оковы. Есть дорогая, любимая, сделавшая из моих мытарств способ своего существования Алена – хватит и этого!

Вероятно, останусь в Греции навсегда. Какая разница, где и как доживать! Человек привыкает ко всему, и даже тюрьма может стать домом. Мне, Света, не к кому и не зачем возвращаться. Родина – это место, где ты кому-то нужен, а для меня самым близким оказалось эмигрантское братство.

Может быть, это настроение усталости, страх одиночества. Иногда я просыпаюсь по ночам от стука в двери кафе, подбегаю, слушаю... Никого... Это стучится безнадежность. И тогда хочется застыть снеговиком и никуда не идти, никого не слушать, не слышать. Или закричать, как Тамарка, диким зверем. Что с нами сделали и делают на земле? Господи, если это ты, то зачем?!

## Поэзия

### Марина КУДИМОВА

Родилась в 1953 году в Тамбове. Окончила Тамбовский педагогический институт. Начала печататься в 1969 году в тамбовской газете «Комсомольское знамя».

Автор книг «Перечень причин», «Чуть что», «Область», «Арысь-поле», «Черёд», «Целый Божий день», «Голубятня», «Душа-левша», произведения переведены на английский, грузинский, датский языки. Лауреат премий им. Маяковского (1982), журнала «Новый мир» (2000), им. Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской (2011), им. Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века», Лермонтовской (2015).

Живет в Переделкине.

## ВРЕМЕНИ НЕТУ, ДА ЖИЗНЬ КОРОТКА...

\* \* \*

*Есть тот, кто ничего не понимает...*

В. Блаженный

Слово ничегонепонималова,  
Олово недвижущихся глаз,  
Воля попадалова, кидалова,  
Бралова всего, что не про нас.

Тот, кто ничего не понимает,  
Только раздаёт под вздох тычки,  
Слышишь, – твоя логика хромает  
И потеют битые очки.

Ходишь под тобою век без малого, –  
Да и малый, в общем, без ума –  
Всё ему месилово, махалово,  
Всюду обиралово, бухалово  
Или перебранка посорма.

Посреди комолого и палого  
Цельсия льстецов  
Мало и весёлого, и алого,  
Милого, в конце концов.

Мало не насилу обнималова.  
Пусто, высоко и далеко...  
– Добрый день, гражданка Невменялова!  
– Здравствуйте, товарищ Невменько...

\* \* \*

Если смерть – панацея от скрипа дивана,  
То пускай не нирвана, но все без обмана.

Гильотина от насморка, слово от дела...  
Мать ученья, матчасть – повторять надоело,

А по новой учить – несварение мозга  
Получить, пока в бочке не вымокла розга.

И не вычислить ни за какие коврижки,  
Кто гуляет в шиншилловом скромном пальтишке –

Возглавляет она комитет колымажный,  
Или зам по развитию шкуры продажной,

Или пресс-секретутка развесистой сети,  
Или просто овца... Разберутся и дети,

Что к чему и какая летит иномарка,  
И какого нам ждать к именинам подарка.

Это знал и ее непосредственный грумер,  
Только вот поскрипел-поскрипел, да и умер...

Я одна ни мур-мур, ни тум-тум в этом рынке,  
Ни синь пороха, ни опиатной росинки...

\* \* \*

Эпоха здорового образа жизни –  
Упал на Кубани, отжался на Жиздре.

Эпоха штрихкода, кредита и гона  
О подвигах с-пальчика и бибигона.

Пейзаж одноразовый прячет природа  
От проводов трупа и трубопровода,

Скрывает вампир отпечатки укуса,  
Таит кокаин безоглядная туса,

Хоронит жена дивиденды от мужа,  
А все остальное – наружу, наружу:

Грошовый тариф, краткосрочная ссуда,  
Партийное дзюдо отсюда досюда,

Лазанья, ботвинья, вершки и коренья,  
И бумер, и баррель, и индекс паденья.

Жестокая пьянка, сквозная проблевка,  
И евро, и доллар, и снова Рублевка.

Онлайн и оффтоп – внутривенно, подкожно,  
И можно значительно больше, чем можно:

Погуглить вопрос, почитать Мураками  
И, век отмотав, помереть дураками –

В плохом изложении, в чужом переводе...  
Не зря побирушка молчит в переходе.

Она провела переходный период  
Достойно, но завтра оформят ей привод

И задним числом завизируют реверс  
За бессветофорную пробку на север.

На что в этот раз уповать побирушке?  
На то ли, что близок износ крупорушки,

На то ль, что в хрустальнейшее из утр  
Сломается этот безумный компьютер,

Сотрет адреса, искривит аватары,  
И возобновится прием стеклотары...

\* \* \*

*Памяти Ф. П.*

Облачной купою  
Тихо бродил,  
Лунную пуговку  
Всё теребил.

Кто ты, бесформенный  
Призрак смурной,  
Ватный, оборванный  
И обложной?

Взялся ль неслышную  
Свадьбу играть –  
Белое, пышное  
Сам выбирать?

Иль там сгущенкою  
Кормят, в раю?  
Мыслью смущенною  
Не узнаю.

То ли Иаков?  
То ли Исав?  
Двинешься, знаков  
Не отписав.

Так и не скажешься,  
Кем ты ведом,  
Ливнем размажешься,  
Сложишься льдом.

Съем себя поедом,  
Брошу в распыл:  
Кто это, кто это,  
Кто это был?

Лампа без свету,  
Ночь без звонка...  
Времени нету,  
Да жизнь коротка.

## Бедуин

Ты – последний, кто помнит последний дождь.  
Твой верблюд – последний, кто лег, под собою почуяв воду.  
Ты его не поил перед этим пятнадцать дней,  
Ты пять лет не стирал свою белую галабею.

Ты сто лет не стрелял из кремнёвого ружья  
И врага не резал от уха до уха кривым кинжалом.  
Ты живешь меж двумя утесами – там есть тень,  
Ты в разборную хижину вход занавесил тряпкой.

Ты акулий плавник высасывал ровно год,  
Ты лица жены своей не видал до свадьбы.  
Колыханный воздух пустыни – твоя вода.  
Влажность – двадцать процентов. Но в море ты – ни ногою.

Никому не внятен разбойничий твой язык,  
Но гора Хорива тебе отдана на откуп.  
И когда туристу нужен горячий чай  
Он, неверующий, молит тебя: «Вал-лахи!»

## Специи

*Сливаясь, запах ладана, цветов,  
Фруктов и трав возносится к Престолу  
Воздать хвалу Творцу...*

Френсис Томпсон

Поутру заурядно глядим сквозь горбыль,  
Как сосед загружается в автомобиль  
После плаванья в снах inferнальных.

Вот уехал «Ниссан», и пришел ассасин,  
Дабы септик, воняющий, как керосин,  
Отсосать на условиях кабальных,  
Феодалных, анальных, подвальных.  
Пусть к парадной не подали нам лимузин,  
Тут в доступности шаговой есть магазин  
Принадлежностей неритуальных.

А давай мы там купим с тобой сельдерей?  
Стоит он максимально полсотни рублей –  
Это нам не грозит разореньем.  
Мы разденем капусту и лук заголим  
До колючей слезы, вышибаемой им,  
Мы займемся обедовареньем  
И дополним все это кореньем.  
Как же кстати царицей введен в оборот  
Гвоздевой, головной, корневой корнеплод,  
Взятый чохом с индейским селеньем!

Хлеб второй, артефакт Катерины Второй, –  
Мы им тоже как смехом давились порой,  
Насыщались по самые гланды,  
Но, поскольку хтонически были бедны,  
То золу собирали до новой луны,  
Завозили навоз без команды,  
С Кордильерами путая Анды.  
Так скорей наш спартанский сисситий готовь  
И ножом поварским нажимай на картофель  
На Солярисе летней веранды.

Если в корне неправ утопический Мор,  
И уйдет богомол, и придет комсомол,  
Мы не вырвемся из балагана.  
И, пока не начнут суматошить и гнать,  
Мы научимся сумерничать, вспоминать  
Радость постника, вкусы вегана  
Под гримасничанье уркагана.  
Пусть казак Галаган изведет нашу сечь,  
Пусть Ваххаб-гастарбайтер нас вынудит лечь  
Под колеса седана, логана.

Ну а если случится развязка времен,  
И уйдет Эхнатон, и взойдет Эсхатон,  
Все ништяк, как сказал бы Лукреций.  
Насмотреться успели – в обжор за глаза –  
До того, как разверзлась гроза-ураза,  
На эрзацы италий и греций...  
Мы займемся коллекцией специй.  
Кардамон и шафран, базилик, эстрагон  
Не сопрет гегемон, не схарчит бибигон  
Под журчанье соплей и секретий.

Начитались, налакомившись задарма,  
 Про бездетных красавиц, сводивших с ума  
 И сходящих с ума понемногу.  
 Про холодные тени священных камней,  
 Про жидкость мускула без трудодней,  
 Про щедроты, угодные Богу,  
 И про Аппиеву дорогу.  
 А теперь обонянья настала пора –  
 Майоран и бадьян, куркума и зира  
 Нас не выдадут зверю двурогу.

Обоняньем владеющий не говорит,  
 Носом чуя меняющийся колорит,  
 В порошок впечатленья стирая,  
 Потаеня свои измельчая в труху,  
 Трепыханья сердечные пряча во мху,  
 Узнаванья мгновенные рая  
 В катакомбы души убирая.  
 Жизнь сквозь запах, ты смерти, увы, не сильней,  
 Но, чем ближе мы к ней, тем острее и родней  
 Эта штучная память вторая.

Так давай добавлять и укроп, и тимьян,  
 Так давай не впадать в синуситный обман  
 Под сивушные выдохи змия.  
 Если я доложу майоран и бадьян,  
 Не застелет туман, не накроет бурьян,  
 Не затмит чужеродное имя,  
 Не заявится и аносмия.  
 Я щепотью зажму куркуму и зиру –  
 И проснусь поутру, и еще не умру,  
 И останусь с тобой, а не с ними.

### Баллада о строгом ошейнике

У всякой машки свои замашки,  
 И шорник Шпрендер тачал упряжки –  
 Чересседельник, дуга, узда.  
 Крупны вестфальской породы кони,  
 И всем известно, что в Изерлоне\*  
 Не надевают хомут с хвоста.

Ввели в соблазн кустаря собаки,  
 Но не терьеры, да и не бракки\*\* -  
 Вся эта мелочь не для него.  
 Оставил Шпрендер шлеи и сбруи,  
 Из Дюссельдорфа рванул в Карлсруэ.  
 Накладно вышло – так что с того?

\* Город в Северной Вестфалии.

\*\* Порода немецких охотничьих собак.

Он там увидел овчарок рыжих...  
Был бюргер Шпрендер из умных выжиг,  
Просек он сразу, в чем тут виртшафт\*.  
Тем хуже выпас, чем меньше пастбищ, –  
Прогресс проклятый удержишь разве ж!  
Другие цели – другой ландшафт.

И вот, обдумав свое решенье,  
Сел шорник Шпрендер тачать ошейник,  
А там споровил и поводок.  
И тут случилось событие века –  
Патент был выдан на нержавейку:  
Заводам Круппа помог сам бог.

Сынишке Шпрендер не ради славы  
Секрет оставил, придумав сплавы  
И к новой стали добавив хром.  
Такие, значит, приспели сроки:  
Большой собаке – ошейник строгий  
Шипами внутрь, и поделом.

Две мировые... Парад удуший...  
У шаферхунда\*\* инстинкт пастуший  
Слегка подправлен, подусложнен.  
В мутанте злобном, в дрессуре зверской  
Лишь тень тюрингской и вюртембергской  
Овечьей няньки былых времен.

Чуть разыгрался собачий пафос,  
Инструктор сразу натянет парфорс  
Под самым горлом, аж позвонки  
Собачьи хрустнут, сопрет дыханье,  
Зато вниманье и послушанье,  
И тренировки зело легки.

Но роговеет у самых злющих  
На шее кожа, и под колючкой  
Живые клетки дубит некроз.  
И бесполезен ошейник строгий...  
(С цепи сорвется – давай бог ноги:  
За все оплатит догнавший пес).

...Урал в границах спецзоны бывшей.  
Скелет сгоревшей локальной вышки.  
Теперь вольняшки пануют здесь –  
Заводы строят и комбинаты,  
Живут в бараках и ждут зарплаты,  
Мир принимая таким как есть.

---

\* Бизнес (нем.).

\*\* Овчарка (нем.).

Там, где рыхлилась земля запретки,  
Теперь играют их малолетки  
Когда в пристенок, когда в лапту,  
Когда в войнушку, когда и в прятки.  
На каждой грядке свои порядки –  
В жилой ли зоне иль в ЛПУ\*.

Решетки с окон повыставляли,  
Злонравных хавок\*\* перестреляли:  
Звонок завязан\*\*\* – ховай харчи.  
Да что овчарки? Людей не жалко!..  
На ржавой проволоке вдоль локалки  
Болтались полые строгачи.

На них с хрипеньем драконы\*\*\*\* висли,  
На них лихие таили мысли –  
Как винтового\*\*\*\*\* порвать в дерьмо.  
Ржа побеждает и нержавеющейку.  
Потрешь ошейник о телогрейку –  
На каждом шпрендерское клеймо.

Кто лыжи склеил, кто пьет лехаим...  
Хабар трофейный по вертухаям  
Распределялся не сам собой.  
Не при делах тут фартовый Шпрендер –  
Не он их вывез, не он их стрендил:  
Война – усушка, утруска, бой.

И дети зэков химкомбинатных  
В частных играх и в куртках ватных,  
Что тело греют, но велики,  
Неуковырны в такой одежке,  
В колючий парфорс пихали бошки –  
Шипы впивались под языки.

Вдоль по рыскалу\*\*\*\*\* бежали лая...  
Черствела область зачелюстная,  
Звенел ошейник, сводя с ума.  
Отцы лютели... И где на свете  
В собак служебных играют дети?  
Наверно, всюду, где есть тюрьма.

На девиантную их сноровку  
Ошейник строгий корректировку  
Навел, но чувства ороговил.

---

\* Локально-профилактический участок, куда на зоне помещают нарушителей дисциплины.

\*\* Хавка – шавка, собака (*жарг.*).

\*\*\* Завязать звонок – убить сторожевую собаку (*жарг.*).

\*\*\*\* Собаки (*жарг.*).

\*\*\*\*\* Винтовой – солдат (*жарг.*).

\*\*\*\*\* Рыскало – натянутая проволока, по которой свободно двигается цепь собаки.

Взрослели чада сторожевые.  
Строгач оставил рубец на вые  
У бузотеров и у терпил.

К любым хозяевам привыкали,  
Но то и дело башку толкали  
Куда не надо, о Боже ж мой!  
У ихних деток – другое детство,  
Но область шейная им в наследство  
Досталась с панцирной каймой.

Затянешь парфорс – они смеются,  
Корректировке не поддаются.  
Удавишь – поздно кричать врачей.  
Рулит на фирме четвертый Шпрендер,  
И он намерен выиграл тендер  
На инновейший из строгачей.

## Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

Родилась в Ленинграде. Окончила Ленинградский институт культуры. Поэт, критик, эссеист, автор нескольких лирических сборников. Многие стихотворения переведены на европейские языки.  
Живет в С.-Петербурге.

### НЕ РАЗУМА ПРОШУ – ПРОШУ БЕЗУМИЯ...

\* \* \*

Ну, очень добрые. Особенно Кельн,  
Дающий себя изнасиловать – только чтоб шито-крыто.  
Потому что бегущие по волнам – братья: коль  
Подставляешь корыто,

Что уж тут мелочиться – у вас же полно земли,  
А уж девок – подавно. Только где же вы были,  
Когда в ваши святые гавани шли корабли  
С детьми Рахили?  
Я напомним – вы их топили.

А соседей закапывали живьем.  
Да, Валленберг, да, поддельные документы,  
Спасавшие вашу честь, которой при любом  
Раскладе – ни тогда не было, ни сейчас нету.

Да, мне жаль бегущих – под умолкший звон  
Ваших колоколов, но, как презренный циник,  
Задаю лишь один вопрос – тогда, в сороковом,  
Куда вы дели аптекаря с улицы Капуцинок?

Да, мне жаль ваших святых камней, но пыль  
Под ногами бредущих в Аушвиц, пыль от развалин штетла  
Сушит мои слезы. Вы – Шарли, ну, а я – Рахиль,  
Стучащаяся в ваши двери. Тщетно.

\* \* \*

О Англия! Скоро срубят твои дубы,  
Выкинут из Вестминстера каменные гробы,  
Раздавят твои хартии, как выеденное яйцо,  
И побледнеет твое лицо

В рыжих веснушках – ты вскинешь брови, закусишь губу,  
И все твои ричарды перевернутся в гробу.

О Франция! Скоро твой Нотр-Дам де Пари  
Осыплется, как осенний лес, ибо червь у тебя внутри  
Высосал твою доблесть, подточил стебелек  
Твоей лилии, колпак санкюлотский – и тот поблек.

О Европа нежная, плывущая на спине быка,  
Ты устала держаться за его крутые бока  
И вот-вот соскользнешь, растерянно теребя  
Бычий загрибок.

Как же мы без тебя?!

\* \* \*

Еще не пора, но уже за окном  
Мелькают – пока что еще не предместья  
И даже не ближние села – но дом,  
Раскрашенный пестро, похож на предвестье,

И этот сарай, и коза на дворе,  
Коляска, нелепо распяленный ватник  
На черной скамье – говорят о поре  
Негромких речей и писаний приватных.

Еще не пора, но мелькают быстрее  
Заборы, снимаются резче с калины  
Набрякшие гроздья тугих снегирей,  
И сердце внезапней срывается в длинный,

Пока что учебный – кругами – полет  
Над местностью, словно дотошный топограф,  
Фиксирует кочки, названья поет –  
Как сложенный только что влажный апокриф.

\* \* \*

Не разума прошу – прошу безумия,  
На цыпочках зашедшего за разум,  
Покрытый, словно выхлопом Везувия,  
Культурным слоем дел, горелым мясом,

Потекшим краном, заболевшим зубом,  
Кровавыми вестями – как бифштексами.  
Коль здравый смысл попахивает трупом,  
То не спастись ни выпивкой, ни текстами –

Ни классиком, боюсь, ни ушлым умником.  
Осталось возносить с Тертуллианом  
Хвалу абсурду – вот он, этот уникам,  
Перед Отцом в цветенье покаянном,

Завит и напомажен – стой, любимую  
Дай доцелую, долюблю, а там уж –  
Вприпрыжку за апостольскими спинами  
Помчусь – и упрекать меня не станешь!

Не разума прошу – прошу безумия,  
Изнанки мира, улицы, где Вертер  
Ломает руки. Видишь ли, я думаю,  
В поэта встроены простенький конвертер

Бесчинных слез – в божественную музыку.  
И утихает мир, дающий в сумме  
Тепло руки и свет – полоской узкою  
На мокрой ветке, голенькой плясунье.

\* \* \*

Что делают они друг с другом,  
Зачем они сплелись телами?  
Как наклоняется над лугом  
Парное небо с облаками,

Так за плечами у обоих  
Маячат тени их любимых –  
В дверном проеме, на обоях,  
На потолке, плывущем мимо,

На пледе, что ворсист и клетчат,  
На книжных залежах целинных.  
Зачем они друг друга лечат,  
Ведь знают, что неисцелимы,

Зачем в объятиях – от ветра  
Дрожат, как кольца в львиных мордах  
На стрелке? Всюду – волны света,  
Фигуры их любимых, мертвых,

Тех, от кого они сбежали,  
Как пятиклассники с урока,  
Как сумасшедшие в пижаме –  
Бегут, но знают: недалёко.

\* \* \*

Мне кажется, мы вместе не тогда,  
Когда рука в руке дрожит – синицей, –  
И на плите стоит сковорода  
С яичницей, забыты паспорта,  
Упразднена одежда, как граница, –  
А лишь тогда, когда, как провода,  
От А до Б натянуты. Всегда  
Важней не тот, кто спит, а то, что снится.

То чахлый лес, то бедное жилье,  
Залатанный асфальт, у переезда  
Собравшееся местное жулье,  
Подкисшие поля – известно,

Что значит расстояние – сквозняк,  
Скользкий по болотам, – незаметный,  
Он раздувает стебелек огня,  
Как факел нефтяной средь бела дня –  
Помноженный на километры.

\* \* \*

О, жизнь, о, бабочка, влетевшая в окно  
И севшая на стол, о, долгий вдох и выдох  
Узорных створок. Чашка, хлеб, вино.  
И – паника, и – пестрое пятно,  
По стенам шарящее выход.

\* \* \*

Та женщина, которую с тобой  
Мы обманули, с этих фотографий  
Так счастливо глядит. Иди домой,  
Пусть под твоей ногой не хрустнет гравий,

Не скрипнет пол. Храни ее, лелей,  
Хвали ее одежду и помаду  
И стой как стражник у ее дверей,  
Чтоб ненароком ветерок из ада

Не дунул ей в лицо. Протри стекло  
Очков и восхитись – как пахнет щами!  
Как в облако, войди в ее тепло  
И поцелуй крепче на прощанье –

Когда несешь ко мне весь этот пыл,  
Весь этот жар, украденный из дома,  
И припадаешь, будто век не пил  
Из горьких вод, в чужую даль влекомых.

\* \* \*

Вместе – не вместе мы:  
В койке, рука в руке.  
Вместе – это холмы,  
Льющиеся вдалеке

Медленно, словно чай,  
Заполняя стекло.  
Куст, бережок ручья  
Паром заволокло.

Вместе – это когда  
Натянуты между тел  
Болота и провода  
Мокрые, между тем,

Чуть различим кивок:  
Ты хорошо спал?  
Утренний холодок  
Меж позвонков шпал.

\* \* \*

Ветшает путевой дворец зимы,  
Крошится развеселое барокко  
Ее лепнины – видно, от сумы  
И ей не зарекаться. У порога

Еще стоят сугробы-гайдуки,  
В гостиной тлеет золото картины,  
Но под глазами темные круги  
Уже не скрыть к утру.

Екатерина –

Обрюзгшая, усталая зима  
В густых белилах и опавших фижмах.  
Где шепоток восторженный: «сама»?  
Стоишь пред ней в отяжелевших, лишних

Одеждах: жарко. И трамвай ушел.  
Лед сделался чахоточным и тонким.  
Где шорох юбок, где развратный шелк  
Блестящий, где знамена, где Потемкин? –

В депрессии. Нечесан и небрит –  
Испуганный старик, грызущий ногти.  
В сердцах заброшен завитой парик  
За чахлый кустик где-нибудь на Охте.

Растаяла империя зеркал –  
Воинственные клики, горностаи,  
Клинки, бриллианты – никакой фискал  
Убытков от тепла не подсчитает.

Слабеет в луже ледяной колосс.  
По набережной катится карета,  
И медленные тени от колес  
Плывут, как очергания скелета.

## Публицистика

### Сергей ЕСИН

Родился в 1935 году в Москве. После окончания филологического факультета МГУ был актером в театре, работал на радио, телевидении, главным редактором журнала «Кругозор». С 1987 года – преподаватель, затем профессор кафедры литературного мастерства, в 1992–2006 годах также ректор Литературного института им. А.М. Горького.

Автор ряда романов, многочисленных рассказов и повестей, а также знаменитых «Дневников», публикуемых с середины 80-х. Лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова в области литературы и искусства (1999), Бунинской премии (2008), премии «Золотой Дельвиг» (2014) и других.

Секретарь Союза писателей России, вице-президент Академии российской словесности. Живет в Москве.

### ДНЕВНИК-2014

(Фрагменты)

*Продолжение. Начало в № 1, 2016.*

**3 апреля, четверг.** Когда вчера выходил из дома, то еще успел залезть в почтовый ящик и бросить в сумку с книгами пачку газет. Это «Литературная газета», которую должны были доставить в среду, и «Российская газета» за среду и четверг. В «Российской» сразу углядел актуальную статью про Апрельские тезисы Ленина; сразу подумал: все по моей специальности, я ведь озабочен даже не Лениным, а справедливостью. В вагоне посмотрю.

Всю дорогу внимательно читал верстку Дневника-2008. За окном холодный и равнодушный зимний день. Повезло, что сидел в середине вагона, на местах, где есть стол. В соседнем вагоне ехала Катя Варкан, залетала ко мне, как птичка. Оба с нею волновались, будут ли нас встречать. Я с собою вез большую из «Ашана» сумку с пятью комплектами собрания сочинений, а в чемодане такая же сумка с Дневниками за разные годы.

Встретил Миша, парень, который раньше, лет, наверное, десять лет назад, занимался транспортом, был диспетчером. Теперь он погрузил, у него большой зарубежный автомобиль, в автомобиле вынуты из салона два средних сиденья. У Миши теперь в Гатчине два собственных цветочных магазина – возит из Ленинграда, с базы, цветы.

Сразу подъехали к гостинице, которая когда-то принадлежала супругам Гаккелям. По рассказам, они разорились, обанкротилась их парходная компания, исчез другой бизнес, гостиницу то ли отняли, то ли они продали. Сами бывшие хозяева исчезли. Поселили опять на третьем этаже в мансарде с окнами, глядящими на дворцовый парк и в небо. Встречала в гостинице моя старая знакомая Оля, принесла мне ужин из ресторана в пластмассовых коробочках.

**4 апреля, пятница.** Утро началось с некоторого разочарования. В ресторане нет немолодого повара, армянина или грузина, и нет овсяной каши. Все остальное скромное шведское застолье в наборе: немножко сыра, немножко колбаски, мюсли, молоко, апельсиновый сок, хлеб. Жарят, правда, яичницу или омлет.

В первый день фестиваля\* всегда есть несколько свободных часов; рассчитывал погулять в парке, но не получилось. Еще в вагоне Катя меня предупредила: сегодня мне выступать в большой межпоселковой библиотеке, за железной дорогой. Библиотеку я знаю, как и Елену Леонидовну, ее директора.

Не утерпел, зашел в кинотеатр, там уже, как всегда в фестивальные дни, организована книжная распродажа; отдал несколько экземпляров, назначив цену ниже себестоимости. Я не успеваю себе говорить: известность дороже. Четыре комплекта «Собрания» у меня сразу купил для своих дам Данила: три комплекта дамам, а один себе. Все это по себестоимости, как мне дали в издательстве вместо гонорара. Данила с прошлого года продвинулся по службе. В кинотеатре тоже изменения: вместо той Лены, которая сразу после того, как я перестал быть ректором, меня отодвинула, теперь молодая и энергичная дама Елена. Посмотрим, но, кажется, все крутится как часы.

В библиотеку собрали все тех же, не читающих ничего старшеклассников, в течение часа объяснял им, как иногда даже случайная встреча с книгой может изменить жизнь. Слушали хорошо; собралось и несколько пожилых женщин; был, конечно, и писатель-любитель, который подарил мне книгу. В Москве посмотрю. Раньше писали, потому что надо было открыть, как правило, душу, сейчас – с надеждой на успех.

И все-таки погулял по дворцовому парку. Я впервые и парк, и Гатчину вижу без снега, в набухающей весне. Парк – это такое огромное достижение культуры и такой подарок истомившемуся человеку, что не восхититься им невозможно. Сколько изобретательности было здесь применено и сколько труда вложено, но парк потихонечку зарастает: деревянные сваи, вбитые по краям каналов, а иногда и по берегам озер, потихонечку подгнивают. Что будет дальше? Но деревья так величественны, дубы так уверенны, а небо такое немислимо голубое! На озере много перезимовавших здесь уток, через переплетение еще сухих ветвей просвечивается дворец.

Перед открытием состоялась традиционная пресс-конференция, здесь же я познакомился и с жюри игровых и неигровых фильмов, я-то занимаю почти номинальную должность председателя читательского жюри – у меня несколько милых и отзывчивых женщин-библиотекарей, в том числе и Елена Леонидовна, с которой я хорошо знаком.

Если о жюри, то двоих его членов я определенно знаю – это Ирина Евтеева, знаменитый художник-аниматор и режиссер, ее поразительные «штучные» даже для кино работы два раза завоевывали призы на

---

\* Речь идет о ежегодном Российском кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине.

нашем фестивале. Вторым моим, хотя и смутно, знакомым оказался киновед и филолог Андрей Шемякин. Валя о нем с удивительным почтением часто говорила, и я приписал его к своим знакомым. В жюри еще композитор, заслуженный деятель искусств Ольга Петрова, дочь Андрея Петрова, который и был у нас когда-то в жюри и которого я неплохо знал по работе в Российском авторском обществе. Еще один член жюри – средних лет актриса Наталья Данилова. У нее какая-то удивительная русская статья в говорении и поворотах головы. В старое время сказали бы «русская красавица», и, сужу по отдельным первым высказываниям, умница. Еще в жюри, по положению, был оператор Дмитрий Масс, невысокий худощавый человек, как Боярский, все носит что-то на голове; Боярский в шляпе, Дмитрий – в кепке. Огромный послужной список, в котором и 50 серий «Улицы разбитых фонарей» – видимо, профессионал высшей пробы.

Пресс-конференция началась с пространныго, но довольно содержательного выступления местного городского начальника Александра Калугина. В Гатчине, как я заметил ранее, было довольно много начальников, но теперь, кажется, дело идет к их сокращению. Местные депутаты проголосовали за то, чтобы объединить в единое управленческое целое Гатчину и район со знаменитыми поселками, и уже осенью Калугин может из ранга начальников уйти. Именно при Калугине так много было сожжено домов – по прежним своим посещениям Гатчины я этого не забыл.

Всю небольшую пресс-конференцию не описываю, не мое это дело, но на какой-то вопрос ко мне я заговорил о потерях фестиваля. Как я понимаю, они начались не только с того, как, не без помощи городского начальства, выжили Генриетту Карповну Ягибекову сначала из директоров кинотеатра, а потом и из директоров фестиваля. Потом две молодые расторопные дамы, Елена Анатольевна, новый директор, и бывшая актриса Татьяна Агафонова, ставшая бизнес-вумен, решили сделать фестиваль коммерческим предприятием. Тогда утренние сеансы, на которые валом валили пенсионеры, стали платными, мы перестали возить студентов Литинститута, а значит, прекратились встречи местной молодежи с московской. Во имя экономии стали в основном звать ленинградских писателей, так дешевле, уровень снизили. Я напомнил, как я привез Лимонова и какой он вызвал к себе интерес, а теперь интерес к фестивалю у публики гаснет. Я говорил о творческой смелости, ее необходимо было проявлять и руководству.

Совершенно по-другому проходило открытие. Миша Трофимов, который постоянно занимался режиссурой открытий и закрытий фестиваля, по каким-то причинам на этот раз отказался. Я просто восхитился, когда новый начальник местной культуры Данила Мкртчян взялся за это – по образованию он режиссер – и хорошо, по-новому сделал. Воистину, руководящий народ везде надо чаще менять. Появились кулисы, о которых я много раз говорил, а мне говорили, что нельзя. По-другому подсветили сцену, превратили все из парада самодеятельных и профессиональных артистов в церемонию. В качестве «мамы» и «папы» фестиваля представили Генриетту Ягибекову и меня. Что-то я со сцены экспромтом говорил. Я никогда не помню, что говорю подобным образом.

**5 апреля, суббота.** День начался с небольшой радости – в ресторане появилась утренняя каша, появился и прошлогодний немолодой повар, таджик или грузин. Пришел я, естественно, в ресторан первым и сразу же встретил Светлану Хохрякову. Она теперь тоже для меня некий

проводник к Вале. Светлана в «Культуре» уже не работает; поговорили о сложностях фестиваля. Картины есть, но режиссеры часто их не дают, берегут на более престижные фестивали. Практически это то, о чем я уже говорил на пресс-конференции: мы за двадцать лет благодаря трусости и стремлению все время вести местную позицию, не наработали имиджа. Кстати, в то время, когда я имел влияние на этом фестивале, мы получили все по полному разряду. Обсудили со Светланой и нынешнее жюри. Оно все, конечно, за исключением прекрасного киноведа и филолога Андрея Шемякина, состоит из ленинградцев, людей, конечно, талантливых, но первого ли разлива? Напомню также, что мое зимнее предложение включить в жюри трех бывших министров культуры – Дементьеву, Сидорова и Соколова – никого не заинтересовало. А всё мечтаем привлечь к фестивалю влиятельную прессу.

Утро началось с фильма «Олег Чухонцев. “Я из темной провинции странник”» режиссера Сергея Головецкого. Уже в обед Андрей Шемякин, который все знает и все помнит, рассказал, почему Чухонцева после его первых стихов долго не печатали: кому-то наверху не понравилась одна из его первых подборок и «мнение», о котором забыл и его творец, так долгие годы и тащилось за поэтом. Стихи прекрасные, жалко, что в фильме их было чуть меньше, чем могло бы быть. Но замечательно показан быт, корни и истоки мировоззрения. Правда, общий наш руководитель Ирина Евтеева сказала, что не очень любит блуждающую камеру.

На этом же утреннем просмотре был и очень яркий фильм Елены Якович «Василий Гроссман. “Я понял, что я умер”». Я уже заранее знал, что фильм будет ярким и хорошим, потому что видел фильм ее об Улицкой. Мощную и спокойную стилистику не пропешь. С Еленой я каким-то образом оказался за одним столом на дне рождения Жени Сидорова, поэтому набрался наглости и выпросил у нее несколько дисков с ее фильмами. Судя по ее фильмографии, объект ее интересов в основном только русские еврейские писатели, но, впрочем, это понятно, не только я могу сказать, что Улицкая или покойный Некрасов, или Бродский прекрасные писатели. В фильме о Гроссмане аргументируют и рассказывают практически тоже люди одного миропонимания – Липкин, Лиснянская, Сарнов, Коржавин, Войнович. Многие из них отличались определенным литературным благородством. Липкин много сделал для сохранения рукописи Гроссмана, которую потом переправили за границу. Собственно, впервые рассказано о грустной, даже трагической истории романа «Жизнь и судьба». Роман просто арестовали, но на этот раз – не те годы – творца оставили в покое. Удивительна правительственная переписка по этому поводу. Знаменательно, что письмо режиссера в «органы» с просьбой показать «арестованные рукописи» – взяли все копии и черновики – закончилось тем, что архив КГБ вернул рукописи и документы, которые сейчас в ЦГАЛИ.

Третий фильм, что мы видели до обеда, это уже детский. Невольно в своем сознании соединил эту картину с фильмом Егора Анашкина и обнаружил общее лекало детских фильмов. Все они снимаются во вполне комфортабельных обстоятельствах, добротных интерьерах, с удачливыми взрослыми и сытой жизнью. Все хорошо, даже прекрасно.

За обедом, раскинув локатором уши, слушал Шемякина. Он тоже окончил МГУ и, как и я, посещал семинар Турбина, только он постоянно и долго, а я – несколько раз. Чудо, как все помнит и как замечательно говорит.

После обеда был еще один фильм – двухчасовая лента Валерия Харченко «Летящие по ветру листья». Это по повести покойного председателя Комиссии по помилованию при президенте Анатолия Приставкина. Сценарий писал опытейший Валерий Валущкий. Огромная лента с несколькими военными историями была неоднозначно воспринята залом. В первую очередь это, конечно, уже переставшие играть мотивы ненависти к прошлому режиму. Так наворочено, что ни одного светлого и человеческого момента. Мне, практически ровеснику Приставкина, общее прошлое видится не таким страшным, да и наш русский человек в войну не был таким негодяем.

После просмотра еще час сидели в комнате жюри, обсуждая весь минувший день. Интересно говорили все члены жюри – и Евтеева, и Петрова, и Данилова. Забойщиком был, конечно, Шемякин; я буквально ловлю каждое его просвещенное слово. Какая невероятная эрудиция и свободный полет рассуждений!

Звонил Черницкий – он уловил конъюнктуру с Украиной и опять говорил, как хорошо было бы поставить «Затмение», сценарий у него готов.

**6 апреля, воскресенье.** День оказался большим и насыщенным событиями, просто не знаю, как все разместить. Здесь и приезд в Гатчину Юрия Ивановича Бундина – походили с ним под дождем по парку и пообедали. И мой выезд в Ленинград на запись авторской программы. Здесь тоже было много для меня любопытного. Но я ведь все пытаю судьбу: какой я и по-прежнему ли она ко мне благоволит. А с этим, как ни странно, связана у меня еще и вдруг вспучившаяся продажа моих книг в киоске. И все-таки, несмотря ни на что, я умудрился посмотреть программу дня. С нее и начну, все остальное пока пропускаю. Я, кстати, в последнее время нашел новый ритм работы с Дневником. Все сразу, что тебя в этот день поразило, не следует насильно и как бухгалтер втискивать в собственную ведомость, то есть во что бы то ни стало записывать. Пройдет два дня – и все, что было действительно необходимо и ценно, само уляжется в текст. Даже, между всеми делами, минут 15 занимался английским и отредактировал полдюжины страниц Дневника-2008, которые привез с собою. Итак, сначала фильмы.

«Дом Марины» – здесь дом и уклад дома Марины Тарковской, сестры Андрея Тарковского, дочери Арсения Тарковского, матери прекрасного писателя Михаила Тарковского. Хорошо выстроенный и объемный фильм литовского режиссера Дали Руст.

Не очень много подробностей об Арсении, Андрее и Михаиле – здесь их почти нет, но любопытен сам уклад интеллигентной семьи, принципиально, видимо, живущей не в Москве.

До обеда посмотрели и еще один детский фильм – «Тайна детской комнаты» по повести Валерия Попова. Это, конечно, повеселее, есть напряженная интрига, что-то познавательное, хороший мальчишка главный герой. Правда, как я для себя отметил, сначала по киносюжету идет марктовенский «принц и нищий», а потом, с мотивом последнего листа на дереве, вплетется роковая тема из О'Генри.

Третий фильм, который я видел до того, как в семь вечера уехал в Ленинград, был фильм покойного режиссера Геннадия Селезнева по роману Агеева, ранее приписываемого Набокову – «Роман с кокаином». Все перенесено в наше время, и фильм вызвал и определенные раздумья, и особый интерес. Роль светской продажной твари играет дорогая одетая Ксения Собчак. Во время сцены соития показали роскошное бедро новой артистки.

Еще не успел я приехать в Санкт-Петербург, как мне передали записку: меня домогается Авторское телевидение. Я позвонил, и пришлось вечером сегодня ехать. К сожалению, пропустил фильм по книге Дениса Гуцко. Наверное, это интересно, хотя, доброхоты мне доложили, много нецензурной лексики.

В тесной небольшой студии с ведущим записали сразу две передачи.

В Гатчину вернулся в двенадцатом часу ночи, зашел в свою любимую мансарду, заснуть не смог. Взялся читать привезенную из Москвы «Российскую газету». А на ловца, как известно, всегда бежит и зверь. По моей теме, вернее по теме исторической справедливости, против сегодняшних конъюнктурщиков. Ехал ли Ленин из Швейцарии на деньги генерального штаба. В газете интервью директора Российского государственного архива социально-политической истории Андрея Сорокина. Далее фрагменты.

*Корр.: В архиве есть документальные подтверждения, что Октябрьская революция делалась на немецкие деньги?*

*Андрей Сорокин:* Вся деятельность большевистской партии представлена в делах Следственной комиссии Временного правительства, в частности, связанных с расследованием германского следа. Эти документы о событиях 1917 года хранятся в нашем архиве и вот в этих скромных папочках представлены. Они относятся к категории особо ценных, думаю, что в ближайшем будущем мы присвоим им статус уникальных. Вот, к примеру, протокол выступления Ленина 4 апреля в Таврическом дворце – одна из версий «Апрельских тезисов», записанная стенографистом. А вот первый карандашный набросок тезисов, сделанный рукой Ленина. И наконец, автограф, прямо связанный с «поездкой в plombированном вагоне». Читаю кусочек: «Денег на поездку у нас больше, чем я думал, чем на 10–12 января, ибо нам здорово помогли товарищи в Стокгольме».

*Корр.: А кто эти товарищи?*

*Андрей Сорокин:* Тут как раз всплывают концы той самой схемы финансирования большевистской партии с участием Ганецкого, Фюрстенберга, Парвуса, Козловского, Суменсон. Давайте сразу оговоримся: вряд ли можно считать Ленина германским шпионом. Никто из серьезных специалистов сегодня таким образом этот вопрос не ставит.

Притом что большинство сегодня сходится в том мнении, что действительно большевистская партия получала финансирование из-за рубежа, не беря на себя каких бы то ни было обязательств перед кем бы то ни было в Германии – будь то генеральный штаб, министерство иностранных дел, какие бы то ни было еще физические или юридические лица. В этом смысле ни Ленина, ни большевиков нельзя назвать агентами влияния Германии в России в этот период.

Другой фрагмент.

*Корр.: А есть бухгалтерская документация революции?*

*Андрей Сорокин:* Мы с вами, конечно, не найдем расписок Ленина. Единственным слабым местом считается приобретение партией большевиков в июне 1917 года крупнейшей типографии в Петербурге, в которой затем начинают печататься массовыми тиражами газеты «Правда», «Рабочая правда», «Солдатская правда» и так далее. Каким образом были извлечены из коммерческого оборота деньги или они были получены как так называемые спонсорские взносы, остается не совсем ясным. Как я понимаю, была создана сеть коммерческих фирм, торговых и посреднических, которые, имея в распоряжении оборотные финансовые средства, покупали товары за рубежом, в том числе германские, те, что были запрещены к ввозу на территорию Российской империи. Они завозились сюда, продавались, и с прибыли от этих коммерческих операций, судя по всему, и финансировалась деятельность большевиков.

**7 апреля, понедельник.** Как я уже писал, появился, наконец-то, повар, который кормил по утрам завтраками в ресторане в прошлом году. От чувства радости съел не одну порцию, а две. За завтраком поговорили со Светланой Хохряковой.

Утро после каши началось с тридцатиминутного фильма о Белинском. Вот уж не думал, что фильм с таким героем может оказаться в моем читательском жури одним из главных претендентов. В ленте много рисунков «неистового Виссариона», есть несколько довольно ходульных сцен из очень давнего фильма Козинцева, прекрасные рассуждения актера Родькина, который в спектакле Стоппарда на сцене театра Алексея Бородина играет Белинского, но все это неожиданным образом контрастирует с удивительно современной речью самого Белинского. Мудрый Шемякин сожалел, что в фильме нет еще одного поворота – Белинский начинает «учить» писателей; действительно, жалко.

Первым послеобеденным фильмом официально стала прелестная картина по книге Дениса Осокина «Небесные жены луговых мари». Но еще до этого, так сказать вне конкурса, на большом экране мы посмотрели потрясающий рисованный фильм Ирины Евтеевой. Здесь китайско-буддийский нравоучительный сюжет и редчайшая эстетика. Какое в этом году у нас замечательное жури! Постепенно я узнаю этих людей и их паразитические качества.

Что касается «Небесных жен», то здесь много этнографии, много оставшегося в недрах народа язычества; здесь чуть ли не двадцать с лишним маленьких новелл, названных по именам героинь; все эти имена начинаются на букву «О». По-своему фильм прелестный, подлинный по этнографии, но в титрах актеры «Табакерки», много удалого молодого секса. Рынок приоткрыл свои двери.

Вторым фильмом стал «Чапаев, Чапаев», который сложил старый мой знакомый, один из создателей группы «Митьки» Виктор Тихомиров. Это и постмодернистский фильм, с одной стороны, с другой – это масса мелких пародий на кино советской поры. Порой очень смешно.

На фильм «В зеркала» я шел со страшным предубеждением. Во-первых, не очень люблю Марину Цветаеву, а во-вторых, и это главное, понимаю, что подобную жизнь не уложишь в киноленту. Кстати, фильм огромный – 130 минут, более двух часов. В титрах как сценарист значится не только Анна Саркисян, но и, как принимавший участие, Юрий Арабов. Первоначально фильм показался мне принадлежащим к «большому стилю», все-таки линии были прочерчены, почти все как бы обозначено. Но дискуссия, которая началась в комнате жури, поколебала мое мнение. Все лишь намечено, как довольно быстро понял и я сам, царствует пунктир. Название фильма должно подчеркнуть две мужские фигуры – мужа, Сергея Эфрона, и его друга и любовника Марины Ивановны, между которыми и мечется ее жизнь. К счастью, мало стихов, вернее, они тактично прочитаны в конце фильма одной из близких к ней женщин. Кое-где не те акценты, погибла-то это не очень здоровая женщина скорее от писательской черствости, а не от добычливости домохозяйки в Чистополе. Нелепым выглядит Пастернак в исполнении Князева, передающий вдруг Цветаевой весь свой разговор со Сталиным, и многое другое. <...>

**8 апреля, вторник.** Кажется, зиму отгеснили: утром в окне солнце. Встал довольно поздно, но сделал зарядку и съел порцию каши, чем горжусь. Утренние просмотры начались с фильма Галины Евтушенко

о драматурге Александре Галине. Фильм на этот раз она сделала вместе со своей дочерью, которая тоже в Гатчине – невысокая приземистая девушка, вся в модных дредах. Фильм называется «Александр Галин. Человек-оркестр». Подобных «оркестров», если судить по телевидению, у нас несколько: и Галин-оркестр, и Киркоров-оркестр. На экране перед нами предстает самовлюбленный, говорящий только о себе молодой человек. Он все время распространяется о спектаклях, которые идут или у Галины Волчек, или у Александра Калягина. Цитирует драматург, что сердцу близко, – то Шагала, то Бабеля, но уж если в этих перечислениях я, как некоторые поймут, на что-то намекаю, то скажу прямо: Галин – это далеко не Володин, о котором, кажется, нет фильма. Этот «Оркестр» небрежно смонтирован, сцены из спектаклей вульгарны. Ругали, ругали подобные Галину писатели советскую власть, а она ушла – и писать стало не о чем, и писатели пропали.

Второй дневной сеанс – это тонкий и нежный фильм «Лыях (Мотылек)», сделанный по рассказу якутского писателя Семена Ермолаева. Действие происходит в советское время. Здесь все замечательно, трогательно и человечно. Есть, конечно, огрехи, но общее ощущение чистоты и ясности. Прекрасно работают якутские актеры, просто великолепно.

Днем позвонил на кафедру – сегодня кафедральный день, вторник, и надо было узнать, как идут дела. Надежда Васильевна меня огоршила – утром пришел ректор и сказал, что он уже не ректор. Ему, как в свое время мне, до семидесяти лет оставаться в должности ректора не разрешили. Не могу сказать, что меня это обрадовало, скорее озадачило. С одной стороны, последняя министерская проверка вскрыла, если судить по слухам, большие недостатки, с другой – радости здесь мало, когда вуз и ректор становятся не уважаемыми в министерстве и обществе. Не помогли и попытки Тарасова перевести вуз в другое министерство. Но главной своей цели БНТ за время ректорства добился – собрал большой урожай премий, купил квартиру в Москве и стал позиционировать себе «мыслителем».

Первый фильм после обеда – «Метель», которую сочинил в советских декорациях телеведущий Александр Гордон по рассказу Льва Толстого. Фон сегодняшней московской тусовки – Быков, Хакамада, другие знакомые лица, и деревня, куда приезжает хоронить бабушку московский баловень судьбы. Зимнее бездорожье, таксист и милицейские патрули в заснеженных ночных полях. Общее соображение: почти во всех фильмах «деревенское, истовое действие» происходит под классическую музыку. Получилось далеко не все, но замысел Гордона я вижу. Хороши разговоры дух крестьян, отца и сына, подбравших замерзающего в поле «барина». Но здесь больше Толстого. Старого крестьянина играет Мозговой. Зимние крестьянские похороны я уже видел в прежней картине Гордона. Символы все те же – стоицизм русского человека.

После обеда, уже в семь часов, показали фильм младшего Андрея Эшпа по рассказам Куприна. Это бесспорный лидер фестиваля, здесь все хорошо – режиссура, актерские работы, декорации. Выше похвалы интерьеры, провинциальные зимние улицы, имения богатых людей и так любимый Куприным цирк. Мы все, жюри, после просмотра вздохнули с облегчением: наконец-то появился уровень. В старой истории все дышит современностью. Хорош, конечно, герой, который из опительного красавца и смельчака превращается в вора. Даже немножко деньги пораскидал, чтобы не подумали на него. Как одну из лучших страниц фильма могу назвать сцену бунта на фабрике. Актер, играю-

щий героя, как уже намечено, получит приз за лучшую мужскую роль; скорее всего, получит приз за лучшую женскую роль и одна из героинь, младшая. Прекрасно играет ее Лиза Боярская.

**9 апреля, среда.** Сегодня последний день просмотров. Утром фильм Бориса Караджева «Писатель П. Попытка идентификации». Фильм о Пелевине, но без него, а только с рассказами об этом писателе П. Это длинно, не интересно; участвует, конечно, либеральная тусовка. Караджев – это творческий псевдоним, настоящая фамилия по-настоящему знаменита – Абрамович, правда, другой. Шемякин мельком рассказал о том, что во времена министерства Швыдкого министр устроил человека с творческим псевдонимом Борис Караджев директором какой-то студии, но студия ничего выразительного не произвела. За фильм горой стоял Шемякин, который дал ему премию Гильдии кинокритиков – знаменитого Слона, и он же – не будем забывать последний день – написал прекрасное обоснование для этой награды – показ литературной тусовки.

Последний фильм, очень не понравившийся всему жюри, – это «Инакомыслие». Фильм совместный с Украиной. Действие происходит на живодерне, много жестких сцен и полусимволических эпизодов. Как источник многих бед назван и показан некий еврей, скупающий боевые ордена и командующий бандой. Мне показалось, что в фильме что-то было подлинное, от жизни, и наработка чувствований. Я, как трус, промолчал о своем мнении, да и особых прав не имел. Некие мотивы творчества Льва Толстого здесь все же чувствовались.

Еще до обеда сделали все аннотации к премиям.

В шесть часов в библиотеке им. Куприна состоялся круглый стол, посвященный роману «Герой нашего времени». Присутствовал носитель фамилии – М.Ю. Лермонтов, я его знаю по Министерству культуры времен Соколова. Мне показалось, что все было неинтересно, я выступал исключительно для того, чтобы разрядить обстановку. Мой тезис на все изящные кружева Шемякина, он оперировал все-таки отраженным светом кино: герой начинается с ощущения им времени.

**10 апреля, четверг.** <...> В половину одиннадцатого, как договаривались накануне, встретились с Андреем Бурлаковым, местным краеведом и историком; я его знаю чуть ли не с первых фестивалей, но никогда до этого подробно не разговаривали. Я попросил его показать мне Приоратский парк, в котором я никогда не был. Также оказалось, что сравнительно недавно в Гатчине открылся антикварный магазин, и вот Андрей вызвался мне все это до обеда показать. Краевед выбрал свой, несколько кружной маршрут, и мы прошли мимо здания администрации города, где когда-то, чуть ли не при Павле, был госпиталь для инвалидов, потом миновали длинное двухэтажное здание – когда-то здесь была богадельня. При Павле Приоратский парк, в отличие от дворцового, куда можно было попасть только по записке-пропуску и только в отсутствие в городе царской семьи, так вот Приоратский парк был предназначен для прогулок горожан. Для них чистился лес и несколько озер, прокладывались дорожки, даже строились купальни. Сейчас парк несколько загажен, пруд зарос камышом. О магическое слово «недофинансирование»! Но я крепко забежал вперед, а пока я разглядываю старое и необычно гармонически построенное здание Павловского госпиталя. Когда в последнюю войну Гатчину взяли немцы, то они в бывшем царском госпитале устроили свой, а перед ним и позади него организовали кладбище. Видимо, хоронили, четко придерживаясь плана,

потому что с десяток лет назад, когда приехали, чтобы перезахоронить своих солдат, мгновенно всех нашли, выкопали останки и увезли.

Антиквар расположился в здании, кажется, бывшего гаража. Прелестные двое немолодых продавцов. Вещей пока немного; хорошо поговорили, я рассказал им о своей коллекции фарфоровых фигурок. У них на витрине есть такие же «каретные» часы, как и у меня; узнал, кстати, им цену – 50 тысяч рублей. Выставленные часы не работают, починка-разборка стоит 10 тысяч; а у меня работают. Купил у ребят каталог советского фарфора за 500 рублей, они все норовили мне этот каталог подарить.

Вечером состоялось закрытие, ужин – не растрепанный банкет для всех, как раньше, а теплый ужин для участников фестиваля и прессы, в том же ресторане «Арсенал», где нас кормили обедом. На ужине Галя Евтушенко почему-то именно мне выразила свое негодование: она ничего не получила за свою картину о драматурге Галине. Я ее гнев понимаю. А все потому что Галин много рассказывал о своем величии как драматурга, который ставился во всех театрах и играет до сих пор в футбол. Я сказал Гале, что конкурс – это соревнование, но она была неумолима и сказала, что «это концепт». Я даже боюсь расшифровывать это мудреное слово. Снимать надо лучше, время конъюнктуры проходит.

**11 апреля, пятница.** Все эти дни потихонечку через гатчинский телевизор, который больше любит рекламу, чем политику и сегодняшний негламурный день, наблюдал за Украиной. Где же выход? Весь Юго-Восток восстал, центральные силы пытаются бороться со своим народом. Народ, поживший долго под гнетом, пытается, когда дело дошло почти до националистически-капиталистического рабства, вылезти из-под глыб. Пейзажи вокруг областных администраций Харькова, Донецка и Луганска российскому телезрителю стали до боли знакомы. Технология, как эффективная, была взята с майдана – «коктейли Молотова», отработанные покрывающие. Восхищение вызывают мужественные ребята. Такие ли решительные и ясные в своих намерениях мы, жители Центральной России, или зажирели?

В 13.30 сел в Санкт-Петербурге в «Сапсан» и чрез четыре с половиной часа был в Москве. Не отрываясь, все время читал остатки от верстки Дневника-2008. В Москве наслаждался разными формулировками телеканалов, смотрел дуэт Вл. Соловьева и Сергея Лаврова, уже ночью добил всю рукопись. Завтра буду дописывать Дневник и приводить в порядок бумаги.

Последнее. В дневном «Сапсане» теперь уже, как в самолете, кормят. Очень неплохо, не надо возиться с булками и колбасой.

**12 апреля, суббота.** В почтовом ящике утром газет не было, но было два листа с приказами по Минобрнауки России. Я несколько оторопел, но памятуя, что я все-таки и летописец нашей литературной жизни, решил эти два приказа перепечатать.

Радости, конечно, никакой.

«Об освобождении Тарасова Б.Н.

П р и к а з ы в а ю:

Освободить 2 апреля 2014 года Тарасова Бориса Николаевича от занимаемой должности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Литературный институт имени А.М. Горького” в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Литературный институт имени А.М. Горького» произвести с Тарасовым Б.Н. расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации и выдать трудовую книжку.

Основание: предупреждение Минобрнауки России от 25 марта 2014 г. №: МК-401/12.

Министр Д.В. Ливанов».

Кажется, наш институт теперь избавлен от «вертикали», от невероятной секретности и таинственности недоучившегося студента Института военных переводчиков Тарасова. Как я от всего этого устал! Может быть, теперь начнется настоящая работа. Я даже не понимаю, на что БНТ надеялся, оказывается, получив 25 марта предупреждение.

«О возложении исполнения обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Литературный институт имени А.М. Горького».

П р и к а з ы в а ю:

Возложить с 3 апреля 2014 года исполнение обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Литературный институт имени А.М. Горького» на заведующую кафедрой общественных наук Цареву Людмилу Михайловну до утверждения ректора в установленном порядке.

Установить Царевой Л.М. за исполнение обязанностей ректора института доплату в размере разницы между её фактическим должностным окладом и окладом по должности ректора за счет средств института.

Основание: заявление Царевой Л.М.»

**13 апреля, воскресенье.** <...> Утром по пути на работу приходил Ашот, как говорится, «покалякать». Снятие ректора его особенно возбуждает. Он рассказывает, что выборная борьба уже началась и о том что уже состоялось заседание кафедры у Стояновского. Ректор во что бы то ни стало хотел бы остаться в должности президента. Не выезжает из кабинета; как и прежде, принимает посетителей; о его тайном желании говорят на всех углах. Наконец-то стал мил и приветлив. Ашот обратил внимание, что приказ о его отстранении был подписан министром Ливановым 2 апреля, день в день по истечению контакта. Видимо, приказ, с печатью и заверенной подписью министра, ректор тогда же, 2-го или 3-го, получил на руки. Однако принес приказ в отдел кадров и стал объявлять о своей отставке только 8 апреля. Я уже писал о письмах, которые были разосланы всюду, вплоть до Администрации президента; Ашот сказал, что чуть ли не патриархия отправляла свое письмо. В этом смысле у нас всегда наготове и Николаева, и Малягин, который просто работает в издательском центре патриархии.

Мне в каком-то смысле было даже жалко Тарасова. Но так все непристойно; нельзя так неприлично держаться за власть. Я спросил у Ашота: почему ты так не любишь, даже ненавидишь БНТ? И тут Ашот мне рассказал и про то, как тот ткнул его кулаком в живот в отделе кадров, и про всегдашнюю грубость Тарасова по отношению к нему. Он даже признался, что однажды сказал ректору: дескать, вы лижетесь с работниками кафедр. А вот к нашим, к тем, кто внизу, к обслуживающему персоналу относитесь, как к холопам. Накипело.

Днем звонил Л.М. Царевой – все-таки мы с ней проработали чуть ли не пятнадцать лет. И она сразу меня обрадовала: надо думать о вступительных экзаменах. В этом году нам предстоит на очное отделение набрать 90 человек. Не меньше двух раз я с этим подходил к предыдущему ректору – у него нет концепции, нет даже совета.

Вечером еду в Дом музыки с Жуганом – его какая-то взрослая барышня купила билеты, но пойти не может. Ведет концерт известный радиоведущий Михаил Казиник, которого я довольно часто слушал по радио «Орфей». Казиник очень ловко обходился с разными музыкальными комментариями. В принципе он мне всегда нравился, хотя, конечно, пожиже Варгафтика, но то же быстрое перебирание деталей, дат, имен, сам что-то показывает на рояле. Поехали, конечно, на роскошном барском «мерседесе».

Зал был полон. Самого Казиника встретили немислимым энтузиазмом и аплодисментами.

Если забежать вперед, то исполнение трех знаменитых квартетов – Моцартовского, Бетховенского и квартета Чайковского не понравиться не могло. Играл «Новый русский квартет» – две девушки и двое молодых мужчин.

Удивили сначала надписи на билете. Пунктов несколько. «3. Посещение мероприятия является риском, который принимает на себя владелец билета». О риске чуть позже. «6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ проходить на мероприятия с огнестрельным, холодным, газовым оружием, пиротехникой всех видов, легковоспламеняющимися жидкостями, крупногабаритными и пачкающимися предметами, проносить в зал любую стеклянную тару, а также напитки».

Еще больше удивил сам Михаил Казиник, когда начал говорить не о музыке, а о себе. В первом отделении это была старая либеральная мысль, что не надо бояться Америки, что, дескать, все это русская пропаганда. Допускаю. Отнесся к этому как к либеральному наваждению, неким давним выступлениям на радио «Эхо Москвы». Во втором отделении узнал, что музыковед, скрипач и пианист в начале 1991 года эмигрировал в Швецию, «резидент». Во втором же отделении был рассказан дурно пахнущий эпизод о том, как молодой Казиник, представляя в Минске слушателям знаменитого композитора Тихона Хренникова, чуть ли не боролся со всем белорусским Агитпропом и сумел наговорить на публике «эдакое». Вдобавок ко всему дураками вывел всех вокруг себя, молодого и гениального. Сказал, правда, что, в отличие от Фадеева, Хренников никого из композиторов не сдал – это факт широко известный, сказал, что у Хренникова просто никакая симфоническая музыка, но есть хорошие песни. За всеми высказываниями музыковеда такая нелюбовь ко времени, которое дало ему блестящее образование.

**14 апреля, понедельник.** <...> Я уже собирался позвонить Авангарду Леонтьеву – я-то не забыл, что собирался написать очерк о нем, – как именно Авангард Николаевич и позвонил мне: «Хотите ли сегодня на “Последнюю жертву” Островского?» <...>

Ну, конечно, хочу. Спектакль этот я видел десять лет назад. Тогда еще блистал, в роли Флора Федулыча, Олег Табаков и совсем молодой была Марина Зудина, его новая жена. Тогда я еще хорошо помнил и Люсю Крылову, прежнюю жену Табакова. С некоторым усилием уговариваю поехать со мною в театр соседа Жугана – значит, едем на его машине. Анатолий любит театр только с полным комфор-

том; где и как ставить машину при новых московских правилах, мы уже приловчились.

Театр по обыкновению полон, сидим в седьмом, гостевом ряду. Еще раз поражаюсь удивительной современности пьесы. Почти все олигархи ныне женаты на длинноногих молоденьких девушках. Преступлений вокруг денег тоже хватает. Сразу же, как только под оглушительные аплодисменты вышел Табаков, поражает: дар О.П., как все говорят, не ослабел, его игра тонка, многозначительна и невероятно современна. Замечательно ведет свою беспроегрышную роль свахи и тетки главной героини Ольга Барнет, похуже Зудина, красивая, уверенная, но скорее это жена Табакова нежели героиня Островского, десять лет как бы прошли мимо. В роли, которую играет Барнет, я видел много лет назад Раневскую. Великолепен и пригласивший меня Авангард Леонтьев, роль у него крохотная, но такая поразительная расшивка, такое виртуозное владение скрытой психологией вещей. Здесь он почти, как и в «Лесе», приживал, мелкий обессиленный хищник. Какой балет здесь разыгрывается, когда эта маленькая, страдающая от своих действий ничтожность должна передать письмо героини. Как актер снимает снег с башлыка и воротника, как по-бедному любит и холит носильные вещи. И этот истощный вой, обращенный к приятелю, вокруг которого он в качестве слуги, посыльного и приживалосообщника вертится и кормится.

**15 апреля, вторник.** Плохо спал, хотя лег все-таки довольно рано, в одиннадцать часов. Семинар был скверный, потому что материала, о котором можно было говорить, почти не было. Попросил студентов порядно проанализировать по страничке текста; текст сырой. В самом конце, значительно лучше, чем это сделал бы я сам, заключил Саша Драган; я с ним солидаризировался. Перед этим, перед разбором, прочел куски из «Нового мира» о Бунине. Это просто поразительно, как точно; прочел и кое-какие еще отрывки. Торопился идти на кафедру, которую собрал, потому что уже приближается дипломная сессия: у нас 104 дипломные работы по очному и заочному отделениям, надо было активизировать моих преподавателей. И вот тут, в конце семинара, опять тот же самый, как и вначале первого семестра, взрыв моих студенток. И те же персонажи. Одной кажется, что я заклевал другую, что в повести есть что-то еще, что я не заметил. Я расстроился.

На кафедре объявлял загрузку всех преподавателей; все сидели напряженными, и я понял: ждут каких-то разъяснений. Ровно неделю назад в Институт приезжал начальник Управления кадрами министерства, объяснял, что ректор уходит – 65 лет, хватит, но день уже заканчивался, наши мастера разошлись, все хотят известий из первых рук. Прочел два приказа, удивился, почему, как в свое время это сделал я, ректор не вывесил эти указы на обозрение.

Б.Н.Т. ведет какую-то странную борьбу за уже уплывшее от него место, которое он невероятно полюбил. Позже Л.М. объяснила мне, что фраза в приказе «Основание: предупреждение Минобрнауки России от 25 марта 2014 г. №: МК-401/12» означает лишь то, что ректору объявили, что с ним договора не продлят еще 25 марта. Никому ни слова, на что-то уповал! 2 апреля уже появился приказ министра, но принес его ректор в отдел кадров лишь 8-го числа! На что надеялся? Какие делал звонки, какие писал письма? Сейчас по Институту интригуется, чтобы мы ввели в устав должность президента. В нашем крошечном Институте еще одного «дармоеда»? Говорят, что уже попросил у наших

хозяйственников сделать табличку «Советник ректора». Кстати, на собрании кафедры я сказал, что буду бороться против введения в институт для Тарасова должности президента. <...>

**16 апреля, среда.** Главное – не забыть записать мелочи. А они, собрал по газетам и радиоголосам, такие: во-первых, «Российская газета» (14 апреля) опубликовала скромные декларации о доходах нашего правительства. Все уже устроились, у всех большая родня и верные друзья, но все просто обнищали, даже жены почти перестали зарабатывать. За 2013 год В.В. Путин заработал 3,672 млн рублей, Сергей Иванов – 11 млн, его супруга – 2 млн, Вячеслав Володин – 14 млн, Дм. Песков – 9,2 млн, его супруга – 4,9 млн. А вот секретарь Совбеза уже 34,4 млн.

Из данных в «Российской газете» можно сделать вывод, что чем ниже должность, тем больше заработок. Помощники президента уже побогаче своего принципала: Игорь Левитин – 21,9 млн, Константин Чуйченко – 11,2 млн, столько же Андрей Фурсенко, дальше цифры снижаются, но до таких ничтожных сумм, как у президента, не доходит никто. Так что помощники президента могут смотреть на своего начальника сверху вниз, а некоторые даже, про себя, конечно, проговаривать: «Если ты такой умный, почему такой бедный?»

Еще круче обстоит дело в самом правительстве, впрочем, схема повторяется: почти нищий Медведев – всего 4,25 млн рублей, но у вице-премьера Игоря Шувалова денег побольше, его заработок – 226 млн рублей, его супруга – 237 млн. Судя по списку заработанного, Шуваловы – чемпионы, но все остальные члены правительства тоже не нищие. Я тоже не нищий – только что пропищал телефон, пришла зарплата – 39 тысяч рублей.

Из мелочей:

– мошенник из Чечни по поддельным документам получил в банке 90 миллионов рублей;

– в Москве опять взяли парочку из начальства одной из налоговых служб – подозревают, что просили взятку в 3 миллиона рублей.

– отыскали мошенников, которые хотели Сиверский лес – это под Гатчиной, откуда я только что приехал, – пустить под дачное строительство.

– дяди, большие начальники, занимавшиеся обустройством государственной границы, столько наворовали, что их пришлось арестовать. У их начальника была замечательная фамилия – Безделов. Эту информацию я получил, набрав в Интернете: «комитет по обустройству государственной границы, мошенничество». Сам бывший начальник Дмитрий Безделов сейчас находится в административном розыске.

**16 апреля, среда.** Вечером снова ездил во МХТ имени Чехова, на так называемую Новую сцену. Здесь спектакль «Шинель» по Гоголю. Спектакль замечательный, хотя и очень небольшой, 1,5 часа. Невольно вспомнил недавнюю «Последнюю жертву», тоже очень крепкий спектакль. В «Жертве» есть удивительные по силе места, но часто вдруг что-то происходит, и целая сцена медленно и вяло тянется до следующего эмоционального взрыва. Зритель терпеливо ждет. Я не могу здесь бросить упрека драматургу, это что-то другое – нерешенный актером или режиссером фрагмент. Здесь, в «Шинели», подобных с «бельмом» мест нет, театральное и временное пространство эмоционально однородно, оно кипит. Игровой клубок, как бы постоянно действующий центр спектакля, который задает энергетику и ритм, – это три актера

«чиновника»: Валерий Малинин, Артем Быстров, Валерий Трошин. Собственно всех представляю, потому что все хороши. Они, выполняющие из огромных декоративных шинелей на авансцену, играют всю массу, весь социальный срез, так блестяще развернутый Гоголем в недомолвках и мелких замечаниях. Всех подтрунивающих над Башмачкиным молодых и не обращающих на него внимания как на муху сановных чиновников. Трое этих неоспоримо талантливых актеров почти все время на сцене. Приплясывают, подпевают, напевают, кружатся, приговаривают, ведут диалог, играют толпу, площадь, бандитов, коллег Башмачкина, его начальников, городских, прохожих, – весь Петербург. Делают это актеры виртуозно, переходят из одного состояния в другое, меняют темпы и ритмы, завораживая зал Новой сцены МХТ своей энергией. Вот бы, невольно думаешь, эту энергию и нашим управленцам. Но, видимо, чиновничье племя во все времена одинаково. Оно, как понятно, равнодушно к низшему и подобострастно к стоящему на ступеньку выше. Оно равнодушно ко всему и интересуется только собою. В этой атмосфере, которую полагает подлинной и неизменяемой, возле сытого подбрюшья директоров департаментов, чиновников по особым поручениям, столоначальников, их помощников, секретарей, экзекуторов, курьеров, швейцаров и живет Акакий Акакиевич Башмачкин. Песчинка, сам маленький чиновничий чин, пишущая машинка по-нашему, ксерокс, копировщик – переписчик бумаг, писец. Перелгать всю историю Акакия Акакиевича, известную со школы, как он шил шинель и как у него ее отняли, бессмысленно. Но все предыдущее написано мною не даром, мне важно было описать ту неимоверно яркую, условную атмосферу, в которой должен был действовать главный герой, его играет Авангард Леонтьев. Ведь основные свойства у Башмачкина это «забитость», «тихость» и «покорность». Попробуйте их сыграть на фоне чиновничьего карнавала молодой «троицы». Да ведь, положив руку на сердце, мы больше любим героев блестящих и молодых, с горящими глазами и ослепительными улыбками!

Мы только раз видим Башмачника в его новой шинели с по-детски подвязанными к ней на бечевке рукавичками. Как на мгновение помолодел, как мимолетно-осанист, как счастлив. Все остальное время спектакля Башмачкин в своих кальсонах, нательной рубашке и стариковских шерстяных носках. С редким актерским бесстрашием Леонтьев протягивает в самом начале спектакля, через смыкающиеся створки занавеса свою лысеющую, с сумасшедшими глазами голову. Это первый крик о помощи, который никто не услышит. Ах, как, наверное, здесь хотелось бы покомиковать, что очень любит публика. В этой роли Леонтьев ни разу до этого не унизился до просьб признательности, ничего не ронял, ничего по ошибке не переставлял, не заикался и не коверкал слов. Это большой талант следовать за автором и снискать сочувствие зрителя. Овация после окончания спектакля накрыла буквально всех актеров, но каким-то образом всегда в этом накале аплодисментов возникал шквал, когда к рампе выходил в кальсонах, рубашке, шерстяных носках и со смущенной немолодой улыбкой Авангард Леонтьев.

В ночь ушел под телевизионные рассуждения Жириновского и большой компании соучастников. Это была передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Все говорили об Украине; Жириновский был одет в красный пиджак. Сын юриста удивительным образом умеет озвучивать первым то, что у всех на языке или еще не до конца сформулировано.

**17 апреля, четверг.** В двенадцать часов началась большая пресс-конференция Путина. Уж даже не знаю что, потому что кроме корреспондентов в огромном зале сидела и знаковая общественность – Шахназаров и другие. Путин, как всегда, был блестящ, последователен и уверен в себе. Ни один человек, ни у нас в стране, ни, думаю, ни один политический деятель в мире, не способен ни на что подобное. На этот раз к микрофону допустили даже «протестующую» интеллигенцию, вроде Хакамады, и ничего – тот же эффект, у президента в доказательствах неоспоримое преимущество. Много по поводу Украины, где мы и дипломатически и стратегически всех переигрываем, возможно, потому, что руководствуемся не сиюминутной выгодой, а некоторыми принципами. После Крыма у многих из нас появилось ощущение, что мы снова живем в великой стране. У меня чувство, что в сиюминутной и суетливой борьбе за власть в столице, которая вроде дает ощущение власти над страной, Киев потеряет и южные свои области. Слово «Малороссия» из уст Путина прозвучало.

К трем часам поехал в Институт. К этому времени Н.Е. Рудомазина уже принесла мне рукопись Дневника 2012 года, надо ее взять, отдать в кассу те деньги, которые я брал, но основное, что меня погнало, это консультация по тексту Леша и Студенческий совет, где распределялись так называемые президентские стипендии. Довольно быстро выяснилось, что, несмотря на то что мы *творческий* вуз, даже с тройкой наши самые лучшие по творческому потенциалу студенты получить такую стипендию не смогут. Она дается «без троек». Это означает, что ни Миша Тяжев, ни Маша Поливанова ее не получают. Мои другие прекрасные и многообещающие, Саша Драган и Женя Былина, не получают ее тоже – они студенты платные. А что же прочие? Лучшие по творчеству всегда ущербны в чем-то другом – вспомним Евтушенко, который ушел после третьего курса Литинститута, потому что не сдал политэкономии, или Романа Сенчина, которого два или три раза за буйство и неуспеваемость исключали.

Что-то похожее на реакцию на смерть Павла Первого в Институте. Никто не бросается, правда, друг другу в объятья, но есть ощущение другой свободы. Это притом что наш бедный Борис никому никакого зла не сделал. Все протестовали против его стиля, против молчаливой унылости, отбросившей Институт от столбовой дорожки жизни.

На кафедре после Студсовета с Лешей разбирал его текст. Кажется, чуть-чуть наладили с ним экспозицию. Работать буду теперь с ним по частям. Леша производит впечатление после буйной эйфории первого и второго курса ушедшего глубоко во внутренний мир человека.

Уже дома до позднего часа разбирал ошибки, которые Наталья Евгеньевна мне пометила. Она над рукописью проделала просто огромную работу. Теперь буду думать, кто бы посмотрел оставшиеся куски, что я дописывал перед новым годом. <...>

**19 апреля, суббота.** Утром Ксения Ларина и Ирина Петровская придиричиво разбирали пресс-конференцию В. Путина. Мне это напомнило беседу двух дам у Гоголя по поводу личности Павла Ивановича Чичикова. Недостатки сыпались, как искры из-под круга точильщика.

Погода прекрасная; вместо зарядки долго мучил себя сгребанием листьев, потом днем, после перерыва посадил лук в маленькой теплице. Это тоже сделать было нелегко; все старюсь перемочь усталость от старости. Читал также английский учебник; прочел к семинару большой материал Полины Комаровой – той самой девушки, что устроила бучу

у меня на последнем семинаре, два рассказа Миши Тяжева, который, как мастер, стал давать для чтения абсолютно не вычитанные отрывки. Единственно, что не стонет и не знает особой усталости, это мозг, без особого напора, но что-то ищет и работает без натуги.

Разгорается скандал по поводу Жириновского, два дня назад буквально напавшего на журналистку. Что в нем прорвалось, не знаю, но кроме обычной брани, вдруг как пена вышла какая-то невероятная озлобленность по отношению к женщинам. Даже я не решаюсь повторить несколько слов из лексикона этой инвективы вице-спикера; слово «лесбиянка» было самым корректным; говорил и о каком-то звере, который у некоторых женщин живет между ног. Как я понял, требовал, чтобы кто-то из охранников пожалел бедную женщину.

Вечером – теперь с особой жадностью смотрю вечерний телевизор в надежде узнать что-то новое об Украине – после незапомнившейся передачи Вадима Такменева пошел жуткий материал о Юлии Тимошенко под названием «С Тимошенко в постели». Даже для политической борьбы всего, что было сказано, многовато. Здесь и ее еврейско-армянские корни, и ее миллиарды, заработанные непосильным трудом, и ее любовники. Было стыдно за политическую журналистику, которая должна была пользоваться такими средствами.

**20 апреля, воскресенье.** Пасхальное воскресенье; я по-прежнему грешный и не готовый к тому, что в силу возраста, буквально стоит у порога. Проснулся и вместо святой молитвы взялся писать Дневник. Вчера даже не стал, как делал всегда, смотреть передачу из храма Христа Спасителя. По телевизору, правда, по вечерней программе показали, как Патриарх коленопреклоненный молился за нисхождение мира на Украину. Во мне борется русский человек – это все наше, и европеец – с его словарем и такими понятиями, как «аншлюс». Побеждает все-таки русский человек; я, вообще, больше закона уважаю правду и благодать, понятия абсолютно русские.

В одиннадцать утра позвонила Оксана Лисковая. Какая-то наша выпускница, что живет и работает в Италии, не может дозвониться до меня, а уже обещала интервью русского писателя по поводу цензуры. Тут же стал диктовать. Вот что получилось.

*«1. В современном мире писатель так или иначе связан с политикой. Какими, на Ваш взгляд, должны быть отношения писателя и политики?»*

Политика и то, что мы ею называем, существовала всегда, было ли это время Ивана Грозного, первых Рюриковичей, Людовика Святого, ацтекских царей; человек всегда шел за политикой. Он шел за ней, и он боялся ее. Точно в таком же положении всегда оказывался и писатель. С одной стороны, он понимает, что должен отражать современные тенденции, с другой стороны, политика – его враг. Она может скрутить его в бараний рог, а потом заставить говорить ее языком. А это смерть для писателя, потому что он лишается последней надежды быть интересным потомком следующих поколений. Здесь тьма примеров из нашего «социалистического прошлого».

*2. Каково влияние политики на художника? Можно ли его избежать?»*

На этот вопрос я уже ответил. Это с одной стороны, но нужно ли избегать этого влияния? Представим на минуточку Данте не эмигрантом, а добросовестным гражданином Флоренции. Появился ли бы в этом случае «Ад», «Рай» и «Чистилище», которые великий изгнанник населил своими друзьями и врагами?

3. Я знаю, что есть авторы, которые стремятся писать “по горячим следам”: пьесы про Майдан, новые герои Болотной и так далее. Такая литература имеет ли смысл, может ли быть настоящей или это произведения-однодневки?

А я бы этот вопрос расширил. Я знаю авторов, которые писали про 90-е, про красные пиджаки, про тогдашние отношения. Я знаю очень успешных авторов, которые придумали для себя страну воров, убийц, детективов и монстров, и ничего – благополучно живут. Плохо про Майдан и Болотную писать – это значит не быть писателем. Задача в том, чтобы написать хорошо и на все времена. В древности были такие авторы, как Аристофан. Написано было много, дошло до наших дней несколько пьес, но каждая на все времена.

4. Сейчас весь мир делится на два лагеря в зависимости от отношения к ситуации в Крыму и на Украине. Люди ссорятся, рвут дружеские связи. Что происходит в писательской среде?

Я тоже внутри себя раздвоен: с одной стороны – я русский, отчетливо понимаю, чьей кровью полита та земля. Отчетливо понимаю, сколько раз ходили наши воеводы и стрельцы на юг, чтобы перекрыть дорогу орде постоянно вербующих себе рабов для продажи на рынках малой Азии и Константинополя, с другой стороны, я все-таки европеец и слышался разных слов, даже таких, как “аншлюс”. Но какой там аншлюс, когда, если у меня на даче сосед без спросу забирает лопату, я иду к нему на участок и молча забираю лопату обратно. Я русский, для меня дороги слова “правда” и “благодать”. Русская литература начиналась со “Слова о Законе и Благодати” митрополита Иллариона. То, что освящено традицией и Богом – то мое. Крым – это не только моя история, но и моя молодость. Отношение писателя по этому поводу такое же. Одни предпочитают новорожденный закон, другие – закон древний и благодать.

5. Должен ли писатель поддерживать власть? Какими, на Ваш взгляд, должны быть отношения писателя и власти? Ходят слухи о возвращении цензуры. Как Вы к этому относитесь? Нужна ли цензура в СМИ, в литературе, в культуре?

Цензура страшна только для плохого писателя. Хороший писатель умеет сказать все, минуя ее. Цензура – поразительный стимул для славы. Здесь любопытны даже обратные примеры. Если бы в свое время не был “арестован” роман Василия Гроссмана, читали ли бы мы его с таким восторгом сегодня?»

Утром же получил эсэмэску от Захара Прилепина. Мне дорого все, что он пишет.

«Дорогой Сергей Николаевич! Получил Ваше приглашение: в этот раз не смогу, но твердо обещаю в следующий раз запланировать встречу в Лите. Очередной том ваших дневников прочел с удовольствием. Нашел пару маленьких ошибок: роман “Тяжелый песок” вы назвали “Золотой песок” (стр. 79), а документалист Мирошниченко, упомянутый вами, отсутствует в финале книги, в списке упомянутых лиц. Всегда ваш, Захар, сердечно».

Захар абсолютно прав – ошибок у меня в Дневнике много, но ведь я и издаю их почти в самодеятельном издательстве, за свой счет, практически без редактора. Утешаю себя тем, что хочешь не хочешь, через тридцать или пятьдесят лет мои дневники переиздадут по академическому принципу и тут-то разоблачат и все мои недоговоренности, расшифруют все фигуры умолчания и поправят все ошибки, имена и даты. Блажен, кто верует.

Вечером внезапно обретенный друг детства Марк Ратц прислал мне статью о начавшейся информационной войне между Россией и остальным миром. Один фрагмент, самый начальный, меня просто поразил. Будто про меня, я всегда был человеком рефлексии и полутонов...

«В логике информационной войны комфортно тем, кто на “полюсах”, кто представляет все в черно-белом цвете. Тем, кто пытается жить в мире полутонов, в пограничной зоне, а тем более переходить границу (и в смысле линии, определяющей предел государства, и в смысле идейного размежевания), приходится особенно трудно. Такие “приграничные существа”, как правило, получают с двух сторон».

**21 апреля, понедельник.** В Москве даже жарко – 21 градус с плюсом. Просто лето; единственное огорчение – плохо растет рассада. Видимо, придется покупать. Вчера вечером и сегодня с утра разбирался с бумагами и читал своих студентов. Что касается Полины Комаровой и Миши Тяжева – буду перечитывать завтра ближе к семинару, а вот новая работа Володи Артемьева меня просто порадовала, это хорошо, хотя не советовал бы ему обсуждать на семинаре. Это рассказ о том, как молодой мужчина возвращается на родину в провинцию и листает свою записную книжку, где у него телефоны девушек, счастливый и несчастливый «донжуанский список». Так искренне, что создается ощущение «нелитературы». А ты попробуй так! Хорошо, плотно написано и читается, но надо убирать очень частое сквернословие.

**22 апреля, вторник.** Замечательно три часа подряд проходил семинар. Ребята хорошо и полно выступали; успел опросить почти весь семинар. Матвей Шуршиков сделал просто великолепный обзор прошлого семинара. Тот редчайший случай, когда и обстановка, и обсуждение, и суть произведения, и оценки автора обзора, и собственно «литературные места» полны и нарядны. Когда у кого-то получается хорошо, я радуюсь, будто это я сам. Опускаю необходимые кафедральные дела, а сосредотачиваюсь на очередном «парном случае».

Еще вчера позвонил Вася Гыдов, недавний директор ныне закрытой книжной лавки, с просьбой привезти ему еще одну пачку Дневника за 2009 год. Вася, конечно, в моем лице видит ходатая по его делам и, как из моего Дневника видно, я регулярно и его защищал и лоббировал на Ученом совете эту лавку и Васин бизнес. А вот сегодня, когда ехал в машине в Институт, вдруг подумал, а, собственно, так ли справедливо, что Вася с меня берет довольно значительные проценты за распространение? Я эту лавку открывал, я, собственно, всегда предоставлял Василию разные мелкие льготы. Сколько же моих книг Вася продал за это время, часто получая их именно на мое имя из издательства по льготной цене. Второй раз эти соображения у меня бы не возникли, если бы не один Васин рассказ. Он, бедный, оказывается, мучается, почему Л.М. Царева, у которой в руках все экономические рычаги Института, его недолюбливает и не торопится снова книжную лавку открывать. Но все по порядку.

Я, значит, навестил Васю, мы поговорили с ним о делах, он даже показал мне подборку высказываний литературной общественности о смене режимов в Лите. Уже дома я скачал из Интернета отдельные комментарии с минимальными купюрами.

Жена Лесин: «Я только сейчас узнал о произошедшем. Очень грустно. Интеллигентнейший, умнейший, образованный человек Борис Николаевич отправлен в отставку?! Возможно, он и не справлялся, потому что ученый может быть не очень хорошим хозяйственником.

Но главное в институте – внимание к писателю и литературе. В мое время ректором был Сергей Есин. Люблю Есина нежно, пламенно и страстно, как Лермонтов Москву. Самое страшное, что произошло в годы руководства Бориса Николаевича, это закрытие книжной лавки Литинститута. Ее очень не хватает».

Кирилл Ковальджи: «Конечно, Тарасов во многом уступал Есину. Из того энергия прямо кипела. Он буквально жил Литинститутом. Тарасов в этом плане был послабее. Я уже не говорю о тех временах, когда я сам учился в Литинституте. А при Тарасове преподавательский состав подобрался отнюдь не самый лучший. Но чья эта беда: самого Тарасова или времени, в котором мы сейчас пребываем, не скажу.

Сергей Арутюнов: «Два срока Бориса Николаевича Тарасова явились для института светлым пятном, поскольку были продолжением курса Сергея Николаевича Есина на реконструкцию института и адаптации учебных программ к современным реалиям. Борис Николаевич – фундаментальный учёный, но это не помешало ему вникать в проблемы института, эффективно им руководить. Тарасов не отдал институт в загребущие руки дельцов-олигархов, сохранил институт как уникальную мастерскую.

Сейчас, как говорят, есть два кандидата. Мне было бы приятно и ректорство Царевой Людмилы Михайловны, и ректорство Алексея Варламова, поскольку они оба замечательные, вдумчивые специалисты, глубоко и профессионально любящие литературу».

Помещаю точку зрения видящего далеко вперед Сережи полностью, без правок и купюр, как образец глубокого и взвешенного сервизизма. Какого мы вырастили стратега, как искусно играет сразу на всех полях! В его рассуждении не хватает эпизода, как из института ушел его друг Лаврентьев, несколько месяцев просидевший в «предбаннике» нового ректора.

Григорий Шувалов: «Ничего плохого я про Тарасова не могу сказать, разве что пожурить его за плюрализм. Конечно, были у него, как у ректора, недостатки, но говорить о них не хочется».

Мария Арбатова: «Никак я не оцениваю деятельность Тарасова за те десять лет, что он пребывал на ректорском посту. Мне ничего не известно про эту деятельность. Дело в том, что когда я узнала о появлении в Литинституте платного отделения, то испытала шок. Нет ничего более позорного, чем за деньги обучать творчеству. Я в своё время выдержала страшный конкурс в Литинституте. На отделение драматургии приняли всего трех человек. А конкурс зашкаливал за сто человек на одно место. А что сегодня? Кто знает про Литинститут? На мой взгляд, преподавать там – и тем более руководить – могут только известные писатели, чьи имена у всех на устах. А кто такой Тарасов? Попробуйте меня током, не знаю».

Итак, возвращаюсь к прерванному сюжету. Так вот, посмотрели мы все с Васей Гыдовым эти в «Литературной России» высказывания, и Вася, наконец, вспомнил эпизод, почему Людмила Михайловна могла его не любить. Оказывается, Васе во время очередной проверки указали, что он наряду с помещением книжной лавки, за которое он платит аренду, потихонечку, видимо, с согласия нашего знаменитого хозяйственника Владимира Ефимовича, начал распространяться и распространился на находящийся рядом институтский склад, из которого мудрый хозяйственник постепенно убирал институтское добро. Один убирал институтское добро, другой, умелый книжник, заполнял освобождаю-

щееся место. И вот умелого книжника попросили написать по этому, почти семейному поводу объяснительную записку. Ну, справедливый книжник и написал, что, дескать, так было при ректоре Есине. И вот тут Людмила Михайловна – она никогда не рассказывала мне этого эпизода – спросила у мудрого Васька: «А вы, Вася, представляете, что этой объяснительной запиской подставляете Сергея Николаевича?»

Выслушав весь рассказ нашего Васька, я пообещал рассказчику, что обязательно все это помешу в Дневник.

**23 апреля, среда.** Пришлось отменять назначенное на сегодня свидание с Авангардом Леоновым. Мне нужно взять у него интервью, чтобы наконец-то закончить очерк для «Литературки». Но совершенно внезапно выяснилось, что сегодня в 12 начнется конференция, посвященная 80-летию творческой деятельности Юрия Любимова и какому-то «летию» его театра. Конференция должна была произойти в театре им. Вахтангова – в свою старую Таганку Любимов, которому 96 лет, теперь не пойдет ни за какие коврижки. Вести конференцию будет Евгений Сидоров – он меня и пригласил. Мне безумно интересно окурнуться в этот омут либерализма и зарубежного театроведения – конференция международная.

Устроено было все замечательно – в большом просторном фойе под присмотром портретов отцов-основателей Вахтанговки, двух, отца и сына, Симоновых, Михаила Ульянова. Среди других, уже портретов поменьше, был и портрет недавно скончавшегося Юрия Яковлева, уголков которого был перечерчен черной ленточкой. Был кофе-брейк, чай, дарили огромные книжки про Любимова. Просидел, внимательно слушая чрезвычайно неаналитические выступления наших искусствоведов и зарубежных воспоминателей. Здесь бы надо привести список, но свой список из 17 или 19 выступающих я отдал Вале Федоровой, с которой рядом сидел. С Валей я дружу уже много лет, замечательная женщина, с хорошим и метким русским словом. Она, собственно, первой сформулировала мне то положение, в котором оказалась Таганка после ухода Любимова. Объяснила, что в результате того скандала в Чехословакии, когда труппа торопливо потребовала некий гонорар, я об этом с некоторым «перехлестом» писал в Дневнике, труппа стала практически «невъездной» – не приглашают, и театр никому не нужен, и актеры. На брата тогда вышло что-то 200 или 300 долларов. Стоил что-то только Любимов.

Выступали все в привычном для подобных конференций духе. Рассказывали свои собственные биографии, как-то склеивая их с творчеством или влиянием на выступающего работ обожаемого мэтра. Довольно быстро это стало меня раздражать, и я набросал тезисы для выступления. Слово Женя Сидоров дал мне уже ближе к концу, телевизионных камер уже не было, но удовлетворение я получил. Валя Федорова меня похвалила за краткость, едкость и наличие мыслей.

Я начал со старого тезиса Инны Вишневской: если пришел, то хотя бы выступи. Дальше я начал говорить, что тоже хотел бы, как многие присутствующие, рассказать свою биографию, тем более что в отличие от всех я помню тот знаменитый, еще выпускной, студенческий спектакль «Добрый человек из Сезуана». Никто из присутствующих этого спектакля, наверное, не видел. Поговорил о том, что тоже хотел бы порассказать и о своих впечатлениях, и о том, как я попадал в театр, и о том, какое тогда было фойе. Но все-таки говорить буду об ином: о том, чему нас научил Любимов, так сказать, об уроках мастера. Все у меня в блокноте было по пунктам.

Он первым сказал нам, что театр может быть и новым, а не только нам привычным.

Он показал, что режиссер должен много читать и знать и что его добычей может стать текущая литература. И Джон Рид, и Можяев, и Владимир Васильев.

О его умении держать удар властей и не гнуться.

О его умении заводить друзей и поклонников по всему миру говорить не приходится – иначе не было бы этой конференции.

Также я счел необходимым вспомнить, что кроме нынешней его жены Каталины была и еще одна муза – Людмила Целиковская. Он, как рассказывали апокрифы, часто звонил ей по телефону с каких-то проработок из МК или даже из ЦК, и она говорила: не подписывай, не соглашайся, держись!

А вот это, хотя и было в блокноте, я забыл рассказать. Однажды, когда я опоздал и сидел в конце зала на вручении премии Солженицына, то вдруг за мною образовался еще один опоздавший, а потом и еще один. Сел сначала Любимов, а потом и также опоздавший Лужков. Я буквально стал свидетелем, как во время светской беседы Любимов вытряс у Лужкова какую-то помощь для театра. Какой менеджер своего театра и своей славы.

К половине четвертого уже был в Институте. Сегодня должна была состояться защита докторской диссертации Сергея Казначеева, но кворум не собрался, да и Сережа был не очень свеж – защиту отменили.

**24 апреля, четверг.** Утром все же дописал статью к юбилею Юры Полякова, вечером он – уже по другому поводу – звонил мне и поговорили об Украине и положении в Институте. Не сам Поляков, но есть люди, которые интересуются почти свободною должностью ректора.

В час у меня в Институте была встреча с А.Н. Леонтьевым. Два часа сладко и хорошо – есть масса совпадений с детства – поговорили. Теперь надо садиться писать очерк. В половине четвертого начался первый Ученый совет с новым ректором. На этот раз были практически все, даже В.П. Смирнов. Сама Л.М. Царева делала доклад о финансах за прошлый год. Среди общих цифр прозвучало, что деньги, которые зарабатывает профессорско-преподавательский состав, уходят не только на оплату мало получающему техническому персоналу, но и на оплату административному звену, начальству, потому что бюджетных денег не хватает. Выяснилось также – это меня просто поразило – проректора получают на 10% меньше ректора, а их у нас в маленьком институте тьма. Я раздельным залпом задал три вопроса: 1. Какая часть этих самых денег тратится на оплату административных расходов? В ответ были не цифры, а слова. 2. Каким образом в начале учебного года стоимость места в общежитии оказалась 2200 рублей, а потом – я промолчал, что за это новаторство ректор получил от министра выговор, – оказалась чуть ли не самой маленькой в Москве. Здесь тоже были лишь уклончивые слова со ссылкой на министерство. 3. Только что прошла проверка бухгалтерии силами комиссии министерства. Доведут ли до членов Ученого совета ее результаты или, как во все прежние разы, ректорат ограничится усеченным пересказом? Ответ: результата, дескать, еще нет, рассматривается в министерстве, а потом нам расскажут.

Сидоров предложил, чтобы все-таки по финансам были какие-то представлены цифры. Л.М. Царева отослала его к нашему сайту. <...>

**25 апреля, пятница.** Еще вчера, когда я разговаривал с Леонтьевым, раздался звонок из РАМТа – в субботу будут давать «Берег уто-

пии» Тома Стоппарда, пойдут ли мои студенты. Конечно, пойдут, легкомысленно ответил я. Звонила Ксения Аронова: мы договорились, что о количестве зрителей я скажу завтра. Вчера студенты уже разошлись, пришлось ехать сегодня к началу занятий, обошел несколько аудиторий, вместе с Мариной, моей лаборанткой, составили объявление, которое начали так: «Нелюбопытные и ленивые студенты семинара С. Есина...»

Из Института сразу поехал в «Ашан». У меня сегодня гость; дело в том, что позавчера объявился мой старый знакомый из Дублинского университета Джон. Джон работает на кафедре у Сары. Но это и знакомый С.П., когда он работал на кафедре в Дублине. Продуктов пришлось купить целую тележку, среди других русских разносолов будет узбекский плов – его варит Гафурбек. С.П. обещал взять на себя половину расходов.

Джон, как и подобает европейцу, пришел строго к семи; стол уже был накрыт. Я постарался придать ритуалу приема гостя определенную пышность – мой долг за участие ко мне Джона в Дублине. В подарок Джон принес мне бутылку виски, купленную, судя по всему, в Москве. К этому времени подгреб и С.П. Сидели довольно долго. В Дублине опять некий всплеск интереса к русскому языку. Джон это связывает с тем, что в Ирландии довольно много живет теперь русских, и с тем, что опять образовался некоторый интерес в России, которая выплывает в современном море глобальной конкуренции. Сара, наша общая подруга, теперь в отпуске – в Ирландии университетская профессура раз в три или четыре года имеет право на большой, чуть ли не годовой, отпуск для повышения своего научного уровня. Сара сейчас делает какую-то работу, связанную с ирландцами, носителями русской речи в стране. Кажется, я понял правильно. Джон приехал сюда с каким-то своим ирландским другом снимать телевизионный фильм о работе «Московского комсомольца»; до Гусева они не дошли, а один из его, кажется, замов весь замысел дезавуировал, и «ирландских телевизионщиков» не пустили даже в столовую. У Джона среди корреспондентов и сотрудников газеты были знакомые – не дали с ними пообщаться. Слово «пообщаться» ненавистное мне слово, которое ныне вошло в лексикон даже общественных деятелей.

Говорили также о Крыме и Украине. Джон, как человек много читавший русской прессы и знающий наш менталитет, говорил о некотором психозе на Западе по отношению к действиям русских. Никто, по его словам, не хочет всматриваться в подлинность событий, даже в историческую правоту крымской проблемы. Занятную реплику бросил его друг и коллега, приехавший с Джоном оператор, по поводу западных «санкций». Когда приглядишься к улицам Москвы и к транспорту на улицах, а в частности к обилию машин иностранных марок, то понимаешь: «Никаких серьезных санкций не будет, очень уж емок русский рынок».

После провода гостей, что-то в одиннадцать вечера рухнул без сил на свой диван.

Не читал.

**26 апреля, суббота.** Опять практически пустой день – ничего не сделано для себя, то есть для литературы. Правда, утром ездил на Охотный ряд в Молодежный театр, чтобы провести моих ребят из семинара на спектакль. Это, как я писал, спектакль Стоппарда «Берег утопии». Пришло все-таки 15 человек. Это, конечно, Володя Артамонов,

Алексей Слета, Леша Костылев, Оля и другие девочки, две девочки были из семинара Рейна. Я отчетливо понимал, как много этот спектакль может дать именно молодому человеку, принявшемуся изучать русскую литературу. Если бы меня в мое время пытались учить так же, как теперь нянчимся с ребятами мы! Как я вообще выскользнул из лап плохой школы, плохого заочного университета?

Утешением утром за мой педагогический подвиг был английский язык; читал Шерлока Холмса в метро. И вдруг понял, что надо не переводить каждое слово, а стараться понимать все «блоками»; понял так же, что мысль английская в словах складывается по-другому.

Пока ехал, как обычно, слушал радио. На этот раз в «Книжном казино» на «Эхе» разбирали новую книжку о Сталине. Как обычно в таких случаях, если источник заграничный, то объективности больше.

Дома стал быстро собираться на дачу и уже во втором часу выехал. Весна уже разгорается – и большинство деревьев покрыто зеленью.

Часа три или четыре, до семи, возился на участке, чинил большую теплицу и сгребал оставшиеся от предыдущих уроков листья. Делал все, чтобы «раскочегарить» свой уставший и слабый организм. Устал, работоспособность резко упала, даже мысли присели и не взлетают. По устоявшемуся обычаю, посмотрел и вечернюю информационную передачу. <...>

Об отвратительных сплетнях, которые старательно по субботам НТВ показывает народу, не говорю. Балерину Волочкову какой-то «телефонист» обвиняет в проституции. Лайма Вайкуле виновата в жадности – не помогла какому-то работавшему с ней человеку, а вот четыре миллиона истратила на поездку в Индию. Потом показали Маргариту Терехову, у которой деменция, то есть старческое слабоумие... Не забыли интеллигентные люди сказать о давнем пьянстве актрисы. Все полный мрак и гадость.

Заснул уже в девять часов вечера, но в десять меня разбудил телефонный звонок. Звонил отец Алексея Костылева: сын обещал вернуться после спектакля в девять, а его все еще нет. Я тоже начал волноваться, а потом придумал, что надо позвонить Володе Артамонову. Позвонил как раз в тот момент, когда спектакль заканчивался, в трубку гремели аплодисменты. Ну, слава богу! Перезвонил отцу: ждите свое чадо. <...>

**27 апреля, воскресенье.** Утром по радио Майя Пешкова беседовала с Жоржем Нива, которому только что вручили какую-то отечественную премию. Старый профессор, житель Женевы, а теперь, кажется, и России, очень интересно говорил, сравнивая Толстого и Солженицына. У обоих почти неосуществимая тенденция писать как можно ближе к речи простого народа, но разная философия. Толстой все время говорит о народном духе и влиянии народа на повороты истории, а вот Солженицын – о борьбе за свободу, о лично выгоревшей индивидуальности. <...>

Днем ездил в Белоусово, это километров в пяти от моей дачи, менять резину на машине. <...> Довольно быстро и легко проехал обратный путь и к семи был дома. Опять телевизор, поражающий обилием рекламы. Я приспособился, как с ней бороться. Сначала передача записывается, а потом при просмотре рекламу можно «проматывать».

Уже дома видел сюжет, как Ходорковского то ли в Донецке, то ли в Харькове, когда он по душам попытался поговорить с протестным населением и пройти в какое-то захваченное здание, внутрь не пустили.

Раздался возглас «предатель» и какие-то еще слова. Поодаль, на втором плане, можно было увидеть члена свиты олигарха, Юлию Латынину. Она потом по «Эху» что-то довольно невнятно об этом говорила. Сразу до очевидности стала ясна ее ангажированность и любовь к серьезным деньгам.

**28 апреля, понедельник.** Утром ездил к врачу – это была специалист по УЗИ, работающая быстро и точно, как космонавт. Я уже заметил быстроту и крайнюю профессиональность молодых врачей – все почти нормально, в левой шейной артерии есть небольшая бляшка, кровоток почти нормальный, позвоночные артерии не так хороши, как бы ей хотелось, но жить еще можно. С этим и вернулся к 12 часам домой. Из метро прошел прямо на стадион и там ходил средним шагом 6 или 7 кругов – весеннее разнашивание организма.

Работы на завтрашний семинар Миша Тяжев переслал мне – это не его вина, а моей малышни, долго вылизывающей в тексте места, которые при чтении не имеют никакого значения – лишь часов в восемь-десять. Весь внезапно освободившийся день занимался чтением непрочитанной еще прошлой «Литературки» и Дневником. Вот две цитаты – моя добыча. Первая из неизменного Льва Пирогова. На этот раз он написал на колонку комментарий об интеллигенции. Вот начало:

«В связи с событиями этой весны в нашем информационном пространстве стало реже встречаться слово “россияне” и чаще – “русские”. Как-то не ложится на язык “россияне” в связи с тем, что сейчас происходит. А “русские” – ложится.

Такого национального душевного подъема, как сегодня, не добились бы никакие националисты. Как бы они его добились? А вот государству – достаточно оказалось пальцем пошевелить. Становится понятно, что не “империя” была причиной усталости русской нации, как твердили наши националисты. Причиной была болезнь империи. Пока с государством было плохо, и народа не видно было, а как оно начало подавать признаки жизни, так и народ сразу зашевелился».

Ну, а теперь – конец статьи – умный читатель поймет основное содержание. Я, естественно, вспомнил картинку с состоявшегося в Киеве стыковочного совещания российской – следи за терминологией – и украинской интеллигенции.

«Что было (дважды в XX веке) причиной упадка Русской империи? Ее выжирали изнутри “элиты” – как выедает дом плесень: вроде и стены целы, а жить нельзя. Нам не стены ломать – нам надо плесень вытравить. Устранить от власти “элиты”, не желающие строить и воевать, потому что это отвлекает их от жранья. А для этого – поставить страну в такие условия, когда не строить и не воевать невозможно.

Это и происходит. Постепенно и аккуратно – “вежливо”. Даже жалко немножко, что так вежливо. Драки ужасно хочется».

Другой веселый комплекс цитирования – это роман Аллы Боссарт, интерпретации рубрики «Литпрозектор». Боссарт – обозреватель «Новой газеты». Умнейшая женщина – я часто ее читал; охват, темперамент, эрудиция. Известно ее суждение о Ходорковском и ситуации, в которую он попал. «Конечно, Ходорковский – не мессия и не истребил бы в одночасье балагановскую страсть к воровству, заложенную в русской природе. Но он уже начал работать над новой генерацией... Первого чиновника страны лишала сна невыносимая мысль об историческом шансе, который такие парни, как красавец, интеллеktуал и богач с доброкачественными генами, могут дать России». Угомнись, ты уже и так

знаменита, попала в историю. Но у нашей грамотной интеллигенции есть ощущение, что литература творится по неким лекалам. Потом, в России всегда престижнее быть писателем, нежели журналистом. То, что ты неглупый человек и понимаешь чужой текст, совершенно не означает, что подобный текст ты мог бы и сам сотворить. А ведь творят, значит – недостаточно умные. Вот что пишет газетный обозреватель:

«Смотрю я иной раз на количество издаваемых нынче книг, и – тоска берет. Это же сколько леса сгубили! Особенно жаль, если зазря. Графоману-то, ему что: издал книжку и ходит довольный, а деревья уже не вернуть. А ведь и грубая кора его, и нежное шелестение листвы гораздо более живые и настоящие, чем тонны зачем-то написанной и изданной чепухи.

Как вот, например, “Холера” Аллы Боссарт. Милая такая книжечка, на обложке унитаз в виде ракеты (можно предположить, какое топливо там используется) устремляется в небо. Открываем, читаем: “Допустим, у интеллигентного мужчины тридцати девяти лет, с высшим образованием, холостого жизнелюба – страшнейший понос”. Ну, думаю, ладно, с кем не бывает, понос так понос. Читаю дальше, надеюсь, что, когда диарейный процесс у главного героя закончится, то начнется наконец какое-то повествование. Вы не поверите: дальше ничего не начинается – практически весь роман про это. Герой попадает в инфекционное отделение, потом у него якобы обнаруживают холерный вибрион и больницу закрывают на карантин. При этом запрещают пользоваться туалетом. И дальше автор с упоением описывает, как продукты жизнедеятельности больных транспортируются из больницы: “...В палаты поставили двойные контейнеры на колесиках, типа мусорных, кубов на двести, и ящики с хлоркой. В контейнеры неуравновешенные желудочно мужики сваливали из суден продукты своей жизнедеятельности и засыпали хлоркой. Два раза в неделю, во вторник и пятницу, приезжал просто-напросто золотарь, дежурным больным выдавали специальные робы, те выносили параша с чёрного хода во двор, и золотарь откачивал все это хозяйство в цистерну. Предполагалось, что дерьмо впоследствии уничтожается с помощью негашёной извести, а робы стерилизуются”.

Весьма, весьма познавательно. И главное, очень уж достоверно, – вещь, похоже, автобиографическая. Что интересно, все основные персонажи этой мистерии поноса почему-то евреи – может, подобное недержание – национальная особенность... А редкие русские – непременно пьяницы».

Днем стало известно, что ранили во время спортивной пробежки ставшего знаменитым на всю Россию за последнее время мэра Харькова Геннадия Кернеса. Его обвиняют и в братании с бандитами, и в братании с теми, кого на Украине называют «федералами». Возможно, это месть или тех или других – быстрых изменений политических пристрастий не любят нигде. Меня поразило даже не это, а мгновенное появление у постели раненого врачей из Израиля. Пожалуй, этим можно восхищаться.

**29 апреля, вторник.** Провел огромный на три с лишним часа семинар. Это рассказы Леша Рябинина и два рассказа Оли Орленковой. Что касается фантастики Орленковой – она грамотна, не без чувств, но чуть старомодная. Собственно, об этом говорил Степа Кузнецов. Троица, которая всегда кучкуется на задних партах у окна, – Степа, Саша Драган

и Женя Былина, – это очень сильный кулак мыслителей и уже сейчас теоретиков. Прочли всех французов и американцев. Вообще наши ребята читают англичан, шведов, американцев, немцев и по их лекалам пытаются написать что-то про нашу жизнь. Не получается.

Очень интересно в начале семинара ребята говорили о спектакле «Берег утопии», пожалуй, так, что мне самому захотелось посмотреть его еще раз. Зал был переполнен. Все-таки молодежь хочет что-то узнать, пока жизнь ее не скрутит.

После семинара почти час занимался с Лешей Костылевым – правил его работу. Парнишку очень жалко, что-то в нем было сломлено.

Домой приехал в три, чтобы поесть и к шести ехать на Арбат, в центр Людмилы Путиной на вручение премии Горького. Сил после семинара уже почти никаких не было, никогда я раньше после семинаров так не уставал. Но делать нечего – что меня так тянет преодолевать себя, трифоновское ли «до упора» или Дневник, который требует каждый день новой жертвы? Отчасти действительно я последнее время управляем Дневником.

Вручение премии состоялось в том же здании возле метро «Арбатская», что и в прошлом году. Сегодня здесь еще разыгрывали призы читательских симпатий. В зале были вывешены стикеры с тройками финалистов, надо было выбирать, и выбор этот, как всегда, был случайным и довольно бессмысленным. Гости – литераторы, бывшие лауреаты, писатели – болтались по залу, разговаривали занятно, полезно и даже мило. Народа было поменьше, чем в прошлый раз, не было редакторов «толстяков», по крайней мере «знаменцы» – и Сережа Чупринин, и Наташа Иванова – отсутствовали. Сама церемония проходила в том же зале, но на этот раз были еще и телевизоры, «приближающие» президиум. В жюри на этот раз были кроме Миши Попова, который, по его же словам, «профессиональный член жюри», еще и «условно наши» – Олеся Николаева, выступавшая с привычным пафосом, и Инна Ростовцева, довольно долго и складно говорившая о лауреатах. Я уже давно заметил, что обычно подобные приветственные высказывания мало соответствуют представляемым произведениям. Председательствовал ласковый и спокойный Алексей Варламов. Изменилась немножко «художественная часть». Вел-то, конечно, неутомимый Гордон, но вместо певцов и певиц играли молодые ребята из Центральной музыкальной школы. Это было веселее. Лауреаты – Маша Ряховская – второй раз она получает премию за свой роман «Записки одной курехи» – проза. Машу я в свое время принимал в Институт, она тогда писала стихи. Поэзия – Евгений Чигрин. Евгений оказался страстным читателем моих Дневников, читал их даже в журнале «День и ночь». Саша Сегень получил премию за свою книгу о московском митрополите Филарете. Его «Попа» я не читал, мне все это показалось достаточно сконструированным, хотя и вроде бы была документальная основа, а вот «Московский Златоуст» прочту. Горьковскую премию – уж тут-то наверняка заслуженно – получила уже очень немолодая Лидия Спиридонова, – всю жизнь эта женщина проработала в ИМЛИ и выпускала полное собрание сочинений Горького. Сейчас выпускают что-то совершенно неизвестное. Мне пришлось вручать премию Юрию Архипову – в год Германии он в «Дружбе народов» опубликовал очерки о Германии, надо бы найти их и прочесть. Во время моего представления образовался некий конфуз – я никак не мог прочесть еврейское отчество одного из финалистов.

Теперь самое, наверное, интересное – «Комсомолка» об этом сказала так: впервые после развода на публике появилась Людмила Путина. Она как глава фонда произнесла очень толковую и просто отличную речь о литературе и значении и Горького и Горьковской премии. Хорошо была одета, хорошо держалась, это про нее – моя любимая цитата – «без притязанья на успех». Кстати, когда начался банкет, то она вместе с сотрудниками фонда, но чуть в стороне, не пренебрегла. Была Вербицкая, теперь она президент Педагогической академии. Я обещал прислать ей Дневники. Власть во время вручения и банкета проговорили с Леней Колпаковым, потом шли вместе до метро.

**1 мая, четверг.** Прежде чем продолжать Дневник, необходимо рассказать о двух событиях ближайших дней. Начну с того, что мне, как работнику высшего образования, ближе. Приказом министра Ливанова – я отношусь к нему с каждым днем лучше, решительность – редкое качество – снята ректор Социального университета Лидия Федякина. Причина этой гражданской казни одна: в диссертации доктора педагогических наук слишком много «некорректных заимствований». Доктором она останется, количество лет, по которому ее можно было бы лишиться этого звания, было слишком велико, опоздали. Пикантность ситуации заключается в том, что, оказалось, Лидия Федякина – дочь предыдущего очень верткого и энергичного ректора Жукова. Жуков остался президентом этого огромного образовательного комплекса. Я уже давно написал, что враг репутации отцов – дети.

Второе происшествие, мимо которого как секретарь и летописец эпохи я не могу пройти, – сообщение в «Российской газете»: «Александр Бастрыкин возбудил дело против председателя райсуда». Дело в том, что по законодательству это может только председатель Следственного комитета, – лелеют, как и положено, независимый суд. Теперь суть: некий провинциальный районный судья Сергей Кашин взял взятку в 18 миллионов за решение в пользу одного из собственников. Предприимчивого судью взяли во время передачи взятки. Каково воруют! А мы все обиженно воркуем по поводу несправедливого распределения заработанных коллективом преподавателей средств и роста администрации.

С раннего утра начал собираться и выехал только в половине второго в надежде, что поток автомобилей уже схлынет. Со мною свита – Гафурбек, который должен помочь с огородом, уборкой дачи и хозяйством, и С.П. За рулем просидел почти пять часов, выходя из машины, еле разогнулся. Мне стало совершенно ясно, что власть не справилась с таким огромным количеством транспорта, которое она выпустила на старые дороги, стараясь не только снабдить каждого автомобилем, но и запустить как можно больше «инвесторов». За дорогу я бы сошел с ума, если бы у Сергея Петровича не оказалось на его плеере записи с портретами знаменитых деятелей культуры Серебряного века. Подобное неизменно собирается со словом «Сто». Это и хорошо, потому что, кроме имен, безусловно, значительных и знаменитых, появляются лица второго ряда, подробности о которых ушли. Здесь были интересны не Есенин и Маяковский, о них почти все известно, а Сергей Клычков, Рюрик Ивнев, Вера Инбер. Оказалось, она еще была и племянницей Троцкого. В свое время, когда дядя был на вершине и в почете, было написано стихотворение. Утерпеть не могу, вот как надо писать о вождях! Почему Быкову или Улицкой так не написать о Путине, да и о Ходорковском с такой проникновенностью писать не могут.

При свете ламп – зеленом свете –  
Обычно на исходе дня,  
В шестиколонном кабинете  
Вы принимаете меня.  
Затянут пол сукном червонным,  
И, точно пушки на скале,  
Четыре грозных телефона  
Блестят на письменном столе...  
И наклонившись над декретом,  
И лоб рукою затеня,  
Вы забываете об этом,  
Как будто не было меня.

Уже на даче услышал по радио о первой за последние двадцать лет демонстрации трудящихся на Красной площади. Мир, Труд, Май. По НТВ кое-что и показали, кроме красных флагов были еще транспаранты про Крым. Жизнь неизменно станет более скудной, зато Крым наш!

Перед сном долго читал небольшую книжечку старой моей знакомой Анны Козловой «Общество смелых». Это еще во вторник наша Книжная лавка устроила распродажу литературы у дверей Института, на солнышке. Мои Дневники за 2004-й – это книги – собственность Института – по 110 рублей, а вот Козлова вошла в «комплект» – 5 книг за 100 рублей. Меня это удивило, я полагал, что подобная современная литература расходуется быстрее. Издательство «Сова», 2005 год, тираж 3000 экз. Оказывается, и подобное не очень расходуется. «Как-то утром, после недели знакомства, когда были навсегда отброшены всякие кремы и презервативы, он придвинулся к ней сзади и зашептал, что ему было бы очень приятно, если бы она сделала одну вещь.

– Какую?

– То, что ты всегда делала одна.

– Ну, что? – Она заинтересованно хихикнула.

Проведя пальцем по ее шее, он просил, чтобы она мастурбировала в его присутствии». Впрочем, человек она талантливый, здесь во всем выпуклая, словно через увеличительное стекло, жестокость. Конечно, читаю пристрастно, знаю, что в текстах всегда у писателя отражается его быт, а я знаю обоих мужей Анны.

«...Полина миновала заграждения с облупившейся серебряной краской, какой красят урны, и поняла, что это митинг. На эстраде, затянутый свежими красными флагами, стоял высокий мальчик в сером двубортном костюме, который был ему велик, и что-то покрикивал».

**2 мая, пятница.** <...> Днем, как обычно весной, занимался огородом, а в качестве отдыха продолжал читать Анну Козлову. Все-таки это талантливый человек, умеющий глядеть, видеть все остро и ярко, но не видящий подлинной жизни. Ее прием – все наоборот и все в яркой обертке. Это можно развернуть. <...>

**4 мая, воскресенье.** Уже в Москве. <...> Уже когда лег спать, то вдруг по телевидению началась передача о Льве Кулешове. Я так мало о нем знал, а здесь все подробно и определено – его вклад в кино огромен, но результатами воспользовались другие. Из подробностей – благородство Ивана Пырьева, в Париже, в Сорбонне сказавшего, что то новаторство в монтаже, которое в Сорбонне уже называли «эффектом Пырьева», на самом деле идея Кулешова, а он, Пырьев, лишь следовал за учителем. Это я еще к тому, что наша интеллигенция Пырьева дружно ругала –

ну, как же, «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской»! А вы попробуйте снять своих «Казаков», чтобы они продержались на экране семьдесят лет! <...>

**6 мая, вторник.** Утреннюю разминку для студентов устроил из книги Анны Козловой и двух небольших эссе. Почти весь четвертый курс блистательно отсутствовал. Анастасия Плаксина дала на сегодняшнее обсуждение два рассказа – оба скорее некое калькирование

После семинара довольно долго говорил с Л. М. о положении на кафедре. Оно почти критическое. Сегодня семинар у приехавших на сессию заочников. Все-таки пришел Владимир Костров, но болен Эдуард Балашов, у него бюллетень, он многое забывает. Из наших преподавателей-дневников не пришел на занятия Евгений Рейн. У Рейна что-то весеннее, приехала его жена Надежда, взяла дипломные работы. Юра Апенченко уехал перед праздником в Германию проверяться после операции, сегодня его тоже нет, дай бог, чтобы был к следующему семинару. Продлил свои весенние каникулы Евгений Сидоров. Дело даже не в том, что кого-то нет, ощущаю внутреннее неудобство перед студентами. Вдобавок ко всему упал и разбил спину Олег Павлов. Решили, что его семинар с кем-нибудь соединим, а он будет работать дома – завалим его дипломными работами. Собственно, об этом говорили с Л.М. Царевой. Надо что-то предпринимать, тем более, что количество заочников у нас сокращается. Проблемы есть и на Высших литературных курсах.

Моя более или менее свободная жизнь заканчивается – 26 мая начнутся защиты у дневного отделения. Решили, что делать это будем в параллель, две комиссии, в одной Турков, в другой – я. Уже взял шесть дипломных работ, всего надо прочесть и отрецензировать около тридцати, я читаю прозу. <...>

Ашот, помня, что меня интересует внутренняя жизнь Института, бросил мне в почтовый ящик приказ, подписанный нашим новым ректором. Для меня здесь оказалась любопытная задачка. Вот фрагмент:

«На основании Дополнительного соглашения № \_\_ к трудовому договору от 21 марта 2011 № 15-64.

За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором и уставом вуза, ректору Тарасову Б.Н. установить с 1-го января 2014 г. по 2 апреля 2014:

– ежемесячный должностной оклад в размере 232 143,84 рублей.

– ежемесячная доплата в размере 10% от должностного оклада за сложность, напряженность и специальный режим работы.

Ежемесячная доплата за наличие ученой степени доктора наук – в размере, установленном законодательством...»

Любопытна здесь даже не заплата, а наличие сроков. Так что за весь 2014 год до 2 апреля, когда приказом министра ректор был освобожден от должности, договора с ним не было, и Институт платил зарплату без договора? И наконец – почему 10% процентов от должностного оклада? Кого, ректора или заведующего кафедрой? Пожалуй, я поговорю по этому поводу с Л. М. <...>

**7 мая, среда.** Утро начал с чтения дипломной работы Ксении Руденко, студентки Апенченко, «В конце света». Заголовок плохенький, но работа очень сильная. Это «фантазии», которые все время посещают героиню, они острые и часто отважные. Она может нафантазировать все что угодно, даже смерть кого-нибудь из близких. В работе, конечно, есть некоторая новизна в освещении психологии современного человека. Здесь – юность, вся вплоть до первой любви, которая описывается

скорее через плотское, но везде просвечивает дух. Замечания, они есть, я записал на последней страничке.

Минут тридцать читал по-английски знакомый текст. Еще раз убедился, что надо читать фразу целиком, а не разбирать каждое слово.

До дачи по Киевскому шоссе долетел почти мигом, пробка была лишь в Обнинске – опять сбили мотоциклиста.

На улице довольно холодно, пришлось включать электрическое отопление. Затянул последние дырки в теплице и посадил помидоры. Завтра посажу в теплице огурцы, накрою пленкой и вернусь домой. <...>

Лег спать часов в восемь.

**8 мая, четверг.** Проснулся в час ночи и принялся дописывать Дневник. Шелестело радио, сквозь сон я слушал передачу о старых песнях и пластинках. Хорошо и точно говорили о Шульженко, Утесове, Высоцком, Окуджаве. Потом пела песни Вертинского – хорошо, с собственным рисунком! – Евгения Смольянинова. А потом вдруг, как зов былого, объявили, что передачу о старых певцах Большого театра вести будет Анатолий Агамиров. Подумать только, это Анатолий Агамиров, с которым я работал еще в «Кругозоре»! Как все иногда сходится! Совсем недавно я шел и размышлял, что совершенно забыли великих певцов Большого театра. Анатолий доказывал, что нынче в Большом нет выдающихся художественных результатов именно потому, что нет дирижеров, умеющих работать с вокалистами. Большой театр, который мы потеряли! Здесь прозвучали родные для меня голоса: Пирогов, Образцова, Нежданова, Козловский, Лемешев, Собинов. Сколько страсти, точности, истомы и любви. Действительно, таких голосов и таких интонаций больше нет. Ведь пели по выразительности на уровне старого МХАТа. Пели, между прочим, даже зарубежную классику на русском языке. По крайней мере Собинов пел Лоэнгина на русском. У нас все поется «на языке оригинала». Конечно, солистам, выучив партию, легче порхать с одной сцены мира на другую.

Спасибо, Толя, как я рад, что ты еще жив! Живи долго.

Еще ночью начал читать следующую дипломную работу – это Ирина Смирнова. Дочитывал уже утром. Судя по некоторым деталям текста и фамилии с отчеством – это дочь Владимира Павловича Смирнова. Здесь, казалось бы россыпью, не особенно структурировано, несколько – четыре – очерка о ребятах из детского дома. Детский дом, кажется, особенный – ребята со слабым здоровьем. Студентка, судя по всему, в нем поработала или хорошо все там знает. Постепенно возникают не только портреты ребят и их судьбы, но и общая ситуация – и директор, и обстановка, и кормежка, и учеба, и кружки. Смирнова даже борется с привычной для подобного рода работ эстетикой – чернухой в письме. Есть, правда, и уже ставшие штампами приемы – что-то ребята едят в утешение, или что-то друг другу дарят. Из того, что мы называем журналистикой – директор говорит, что за все время только 20 человек выпускников не сгинули потом в тюрьмах, не были убиты передозом или тюрьмой. Здесь же картины со странными родителями. <...>

**9 мая, пятница.** Впервые за многие годы в этот день в городе. Обычно же еще накануне уезжал на дачу. Интернет-день начался с новости – наследники братьев Стругацких изъяли книги знаменитых фантастов из свободного интернет-доступа. В информации есть указание, что покойный Гайдар женат был на дочери одного из братьев. Что следует? Что Маша Гайдар, одна из ведущих на «Эхо Москвы», видимо, родственница фантастов. Как все сплелось!

До десяти утра, когда включилась Красная площадь, прочел еще одну дипломную работу. Это собрание «кусков» (видимо, мысли в форме около эссе) и «побегов» (экскурсии и туристские путешествия по родной стране) Гаппасоевой Алины Рамильевны. Завидую я сегодняшним ребятам, для которых жизнь удовольствие и которые признают, что есть и иная жизнь, но установка у них на первую. Тут же написал себе памятку для выступления на комиссии.

«Лишь в известной мере содержание работы соответствует названию семинара – “Публицистика”. В работе вещи невременные, почти дневники путешествий и легкие “про душу и духовное состояние” эссе, скорее высказывания. Но здесь же, чтобы не было никаких кривотолков, надо прямо сказать, что Гаппасоева работает со словом мастерски, четко, без сбоев, большое это искусство – называть вещи своими именами. Но постепенно из всех этих переживаний и лирических вздохов возникают очень четко сформулированные дефиниции времени, я бы даже сказал, что еще более ценное – мысли. Кое-что я даже решил записать себе в Дневник, как интеллектуальные украшения».

«Я вот думаю, что все известные люди, которые писали кучу писем, наверняка писали их не просто так, а работали над ними, потому что никуда не могли деться от своей известности уже на тот момент, если их признавали при жизни. Так что они скорее всего относились с огромным трепетом к своим перепискам, потому что знали, что их опубликуют, и, разумеется, отпускали там всякие заведомые афоризмы или умные вещи, или шуточки, короче, продумывали, какое впечатление это все можно создать. Работали над своим образом, и над тем, какой ореол они создают вокруг своей жизни, какие цитаты потом разлетятся, как их охарактеризуют. А те, кто при жизни не знал славы, прилагали все усилия, чтобы ее добиться, и вот уж они наверное больше всех продумывали все до деталей, потому что очень хотели, чтобы так случилось, что все это станет кому-то нужно – их письма, их высказывания, любовные перипетии. Писатели, так они вообще не могут свое писательство выключить ни на минуту».

«Неожиданно стало беспокоить перепроизводство. Все в этом участвуют. Все хотят что-то сделать и показать другим, все преумножают и без того страшное количество ненужных вещей, картин, фотографий, текстов, рисунков и всего остального».

«Странно ощущать свое взросление и течение времени только по внешним факторам, а не по внутренним изменениям.

Мелочи, но вдруг понимаешь, что они существенно меняют положение дел. Обнаруживаешь, что сам следишь за своими документами, например. Приходится знать, где лежит паспорт, всякие свидетельства и медицинские страховки».

«Дело не в лени, не в нежелание работать над чем-то. Дело в нежелании увеличивать и без того огромное количество ненужных, не стоящих ничего вещей. Вещей».

<...> Парад пропускаю – знамена стали очень яркие, почти как в исторических фильмах, солдаты прибавили в росте, выправка все строже, нога поднимается все выше. Империя задышала своими ритмами. То, что делали восемь человек солдат, вынесших знамя России и знамя Победы, не снилось никакому балету Большого театра. И ноги подняты на одном уровне, и руки делают одинаковый взмах.

Самое невероятное: вечером, когда включил телевизор, то оказалось, что Путин уже в Севастополе – принимает парад Черноморского флота, потом идет через центр города. Приветствуя его, народ буквально ликует. Ни тени наигранности. <...>

**10 мая, суббота.** <...> Вчера вечером в только что пришедшей «Литгазете» прочел хорошую и по-человечески скорбную подборку стихотворений Евгения Рейна, а пока еще не садился за компьютер, читал статьи Быкова о советской литературе – Есенин, Ахматова, Бабель, сейчас сижу на Луначарском. Умен и доказателен, какая эрудиция и какая память! <...>

Вечером принялся читать очередной диплом. Это опять студентка Апенченко, но, видимо, перебравшаяся к нему из семинара критики Гусева, – Наталья Анищук. Полагал, что прочту работу так же легко и с удовольствием, как все предыдущие, не тут-то было, все вязко, с претензией. Вызывает некое недоумение, что публицист пишет квазилитературоведческие статьи об «Альгисте Данилове» и некоторых других произведениях Владимира Орлова, называя работу «циклом статей». Статьи эти, особенно первая, «Легкая сила», больше напоминают троечные курсовые работы. Я просто удивлен, что Апенченко это все подписал к защите. На тексте диплома я сделал свои пометки, для обсуждения. Я даже подумываю, не отказаться ли мне от этого диплома, передав его более объективному и лучше меня все знающему критику Туркову. <...>

Весь день про себя, между другими занятиями, перетирал очерки Быкова: как это здорово, хотя местами и спорно.

**11 мая, воскресенье.** <...> Весь день что-то ладил в очерке о Леонтьеве, а вечером ходил в театр Пушкина, на спектакль по пьесе Шекспира «Мера за меру». Позвал, как обычно, Саша Колесников. Вошли в зал, где, по обычаю новых времен, открытая сцена, в глубине, как бы очерчивая сравнительно небольшое пространство, шесть красных кубов, над сценой – посчитал, уже заранее зевая от скуки, – тридцать один светильник; что-то подобное со светильниками я уже видел в театре Вахтангова. По пьесе действие происходит в Вене.

К моему удивлению, спектакль несколько захватил. Режиссер – это англичанин или американец – нет, английский режиссер Деклан Доннеллан и его постоянный соавтор художник Ник Ормерод. Много интересного, и образ толпы-актера, которая постоянно и стремительно выбрасывает из своей среды участников следующих эпизодов, и обнажение смыслов до аналогий с нашими днями. Сюжет не описываю – он вечен: о правителе, который оставляет царство, чтобы на все взглянуть со стороны. Гарун-аль-Рашид в народе, но наблюдает и за народом, и за оставленным вместо себя визирем. Без пошлости не могу: Путин уходит в монастырь – так в пьесе поступает герцог, – и оставляет вместо себя Медведева. Сцены с «бюрократией» занимательны, это говорит о ее неискоренимости. Мне было интересно думать, как это все выглядело в «Глобусе» и какие эпизоды были выписаны драматургом для украшения и удлинения сюжета, а какие – для публики. Саша после спектакля – всего 1 час 50 минут, без антракта – говорил о брехтовской эстетике, об обнажении смыслов. Что плохо – актеры очень быстро говорят; стремительные диалоги и монологи в их устах превращаются в какой-то словесный фарш. В этом смысле не додали Шекспира.

Поделился с Сашей своими недавними впечатлениями о передаче про Большой театр; к сожалению, я ошибся: Анатолий Агамиров несколько лет назад умер.

**12 мая, понедельник.** <...> Весь день сидел и правил очерк о Леонтьеве, потом отослал Лене. Вот финал:

«У Леонтьева, как я считаю, в репертуаре театра две главные роли. Одна уже безусловна, потому что это Башмачкин в поразительном спектакле “Шинель” на Новой сцене МХАТа, а вторая – актер Аркашка Счастливец в “Лесе” Александра Островского. У нас в литературе два Островских, и оба по-своему велики.

Со мною можно спорить, потому что “Лес” вроде бы не о том, о деградирующем дворянстве, а если подходить к пьесе, так сказать, с литературоведческой стороны, то это начало смыслов “Вишневого сада”. Не правда ли, забавно? А какой же тогда Фирс главный герой? В тайнах пьес иногда лежит и основа актерских интерпретаций, они часто на уровне интуиции, но актеры – чрезвычайно дотошные люди.

Совсем недавно попалась мне в руки цитата из мемуаров известного когда-то критика и главного редактора журнала “Волга” Сергея Боровикова. Вот что он, между прочим, пишет:

“Самый гнусный образ в русской литературе... Плюшкин? Иудушка? Смердяков? Как бы не так! – Гурмыжская в “Лесе”!

Барыня “лет 50 с небольшим” соблазняет, а затем женит на себе юношу, недоучившегося в гимназии, притом сына своей подруги. Карп, старый лакей Гурмыжской, перечисляет тех, кто был у нее на содержании: “Доктору французу посылали? Итальянцу посылали? Топографу, что землю межует, посылали?” И это в те времена, когда и сорокалетние женщины уже считались пожилыми.

И это об руку с ее патологической жадностью и жестокостью, с какими она обходится с племянником Несчастливцевым и воспитанницей Аксуюшей.

Отчего-то у Островского репутация чуть ли не добродушного писателя, тогда как по беспощадности изображения русских типов он превосходит едва ли не всех русских классиков».

Но разве вы когда-нибудь видели пьесу, в которой отрицательному герою не противостоял бы герой другого морального строя? Два русских актера – бывший аристократ Несчастливцев и мещанин Счастливец – вот и противостоят. Искусство всегда противостояло злу.

Леонтьев выходит здесь на сцену, вооруженный не только текстом Островского, но и всем прошлым актерским бытом своего героя: старым паричком, набором водевилей и даже – современная придумка, думаю, режиссера – металлической складной сеткой, в которой хозяйки носят с рынка клубнику и другую ягоду. Сцена и коллизия хорошо известна – “Из Костромы в Астрахань” и из “Астрахани в Кострому”. Сначала, конечно, текст и параллельно упоительная в своей изобретательности игра с предметами. Милый, добрый, суетливый, но только вдруг за всей этой комической чепухой, как предчувствие трагедии в музыке, начинают, звучат жесткие и хищные ноты созвучные и сегодняшнему крутому дню и растленной атмосфере усадьбы Гурмыжской. Не пара ли он ей, в своей циничной правде простака? Вот это, пожалуй, то новое, что привнес Леонтьев в эту бенефисную роль, сыгранную в свое время Щепкиным.

Во всем текущем репертуаре, который играет Леонтьев, пожалуй, не хватает действия самого героя. Он всегда не кремень, а оселок, по которому кто-то непременно бьет, стремясь высечь искру. И ты попробуй, как актер, вывернись в таких обстоятельствах, наполни образ. Но

я уже упомянул великолепный спектакль, никогда ранее не известного мне режиссера Антона Коваленко, “Шинель” на новой сцене МХАТа. Леонтьев играет Башмачкина. Здесь все хороши, у каждого актера почти бенефисная роль, каждый играет себя, а Башмачкин порой лишь объект этой игры. Здесь все, как брызги в лицо маслом с раскаленной сковородке. Взгляд, поднятые плечи, дрожащая спина. “За что вы обижаете меня?” Слов Гоголь не так много дал своему герою, постоянно рассказывая о его мытарствах, да и зритель всю коллизию знает со школы почти наизусть. Зритель вообще любит героев ярких, подвижных, по возможности молодых. Что ему Башмачкин и протертое сукно на его шинели? В этих обстоятельствах Леонтьев работает с ювелирной точностью, будто впитывая в себя возникающее сочувствие зала. Эта ломкая под белой рубашкой спина, интонация этой знаменитой фразы: “За что вы обижаете меня?” – разве забудется. А сочувствие к униженному и оскорбленному герою растет. В конце концов, все мы – компьютерщики, продавцы, бухгалтеры, библиотекари и учителя – те же самые писцы, что и Акакий Акакиевич Башмачкин, и обидеть нас, как и героя Леонтьева, может каждый». <...>

**13 мая, вторник.** Когда ехал в Институт, проспект Вернадского был весь белый – зацвели яблони, и так обильно, что рой быстро движущихся машин не смог разогнать орду лепестков. Природа и ее дикие инстинкты всегда сильнее человеческих стараний.

На семинаре обсуждали главу из некоего романа Даши Чабан. Здесь реконструкция одного дня молодой жительницы Праги пани Катарины. Как и положено научной реконструкции стоит и год – 1931, и точная дата, день. Я помню этот материал еще с прошлогоднего времени, по приемке. Это была работа, отличавшаяся своей зрелостью от других, и только потому, что я заподозрил, что он «списана», я поставил оценку 94, а не 99 или 100. На обсуждении Женя Былина, выросший в прекрасного критика-аналитика, сказал, что это лучшая работа из всех, которые рассматривались в этой аудитории. Как обычно, постарался опросить всех.

Говорил ребятам о спектакле, который видел позавчера, рассказал о книге Айзека Азимова «Путеводитель по Шекспиру» и о книге по советской литературе Дмитрия Быкова. Опять, и вчера и сегодня утром, все это читал. Сколько же осталось в жизни непрочитанного, и сколько останется!

В Институте резко поменялась атмосфера. Встретил Л. М. – ректорат переезжает во флигель, который раньше занимало «Знамя». Л. М. уверена, что в ближайшее время начнется реконструкция. Интересно, что во флигель переезжает не только ректор, но и Стояновский с Ужанковым. Я не думаю, что Ужанкову будет так уж уютно рядом с Л. М., которая привыкла на работе торчать с утра до глубокой ночи.

После семинара пришла ээмэска от Лени Колпакова, которому я вчера послал очерк о Леонтьеве. «Очень здорово, и, слава богу и Есину, – не театроведчески. Убедительно и нежно. По-есински элегантно. Молодец и герой и автор». Почему мне так нужны какие-то еще признания, кроме своего собственного?

<...> Невестка Владимира Высоцкого, жена его сына, регистрирует название песен покойного тестя как возможные бренды на спиртное – кажется, она владелица чего-то производящего. По этому поводу некоторые деятели искусств высказались, обращаясь к сыну знаменитого барда. Если не хватает на водку или бензин, мы, дескать, скинемся! <...>

**14 мая, среда.** <...> На даче, после осмотра угодий, распределились – я занялся огородом, общим ненастырным руководством, Игорь взял на себя то, на что я не смел даже замахнуться, приведением в порядок – чистка, мойка бани и всего подвала и топка печи. Я довольно быстро угомонился и занялся на улице, среди шепота молодых листьев и поклонов «желтых цветочков», которые вскоре должны были превратиться в одуванчики, чтением работы Кристины Бова «Море молчания». Это студентка Королева. Читал, собственно, почти весь день, и настроение было довольно пакостное. Буквально вся работа на котурнах. Монологи, обращенные к некому спутнику или спутнице, попеременно, произносимые почти в стерильной, безвоздушной атмосфере. Нет ни обстановки, ни пейзажа, ни лиц, чистые «чувства». Нет ни ложки, ни вилки, ни тарелки – все почти в космосе. Все эти рассказы-монологи снабжены эпитафиями, к этому привлечены авторы самые именитые – Овидий, Тацит, Мильтон. В любимцах литературы и искусства, которые в текстах называются, ни одного русского классика. На девятой странице появилось понятие «оральный секс», я человек терпимый и способный понять разнообразную молодую человеческую природу. Этим меня теперь в Литинституте не запугаешь. На 31-й странице слово «сифилис».

Постоянно, как уже привык, свои замечания фиксирую на последней странице дипломной работы.

Возникает ощущение, что А.В. Королев работу студентки не читал. Все плохо структурировано, речь разбалансированная, запас слов на самом минимуме. Конца работы нет, скучно. На 22-й странице вдруг вырисовывается тема первого в работе рассказа, правда несколько коряво:

«Кто бы мог подумать в итоге, что гораздо интереснее, чем узнать, как наука объясняет любовь, станет жажда понять, как и чем объяснить нелюбовь. Мою – к тебе. Твою – ко мне. Нашу. Живущие в одной квартире, просыпающие вместе по утрам, готовящие совместные ужины, смотрящие фильмы, посещающие бары трижды в неделю и клубы – по пятницам, посвящающие сексу половину любого вечера, мы не любим друг друга. Впрочем, это не новость. Интереснее, на мой взгляд, тот факт, что мы просто не способны любить. По крайней мере, друг друга. И этому тоже должно найтись объяснение».

Пока читал, посещали коварные мысли: отдать работу А. Туркову, который, конечно, устроит ей показательный разгром, или снять с защиты? Две первые трети этого «труда» на законных основаниях давали возможность это сделать. Но недаром я всегда с тайной надеждой, «а вдруг», дочитываю любую работу, как бы ни сопротивлялась душа, до конца. В конце дипломной работы был прекрасный десятистраничный рассказ «Там, где была она, был Рай». Это рассказ о больной шизофренией матери, которая боится, что сын отправит ее в сумасшедший дом. Здесь и изысканный эпитафия из Джона Мильтона пригодился: «В Аду везде я буду. Ад – я сам». Просто великолепный рассказ.

Когда что-нибудь более или менее хорошее прочту – настроение поднимается. <...>

**15 мая, четверг.** Прочел еще две работы семинара Королева. К счастью, две вполне хорошего уровня – настроение хорошее. <...>

Повесть «Имя художника» Александра Илюшенко – это практически попытка нарисовать путь, как мальчик, герой повести, и, видимо, молодой человек, написавший повесть, пришли к слову, попали в Лит.

Здесь неплохо написанное детство, попытка матери пустить не очень, видимо, здорового ребенка по пути отца-художника. Школа, учителя, первые опыты. «Всё вокруг мельтешило, всё чего-то требовало: сдай ЕГЭ, нарисуй тысячу натюрмортов и миллион эскизов, иначе не сможешь пройти вступительные экзамены... Дни проносились как мошки, и среди их мушиного мельтешения росло и ширилось внутри глубокое, всеохватывающее безразличие и полное онемение». Трудно выражать призвание по чужому желанию.

Вторая половина очень приближается философскому трактату о вещах, именах, сущностях окружающих явлений. Попытка к философскому парению. Много в сущности хороших и точных наблюдений.

– «Настоящие цветы так же мало похожи на цветы, как и искусственные. Они не дотягивают до хризантем».

– «Слова – это пелена, закрывающая от нас реальный мир, слова – это и свой отдельный самодостаточный мир».

– «Есть три типа художников. Одни рисуют не яблоко, а слово “яблоко”, то яблоко, которое спрятано в слове, то идеальное круглое яблоко, выпуклое и настоящее...»

А есть те, кто пытаются изобразить вещи, такими, какими они предстают без имени. Многие люди думают, что “Подсолнухи” Ван Гога – это светлая и радостная картина...» Не продолжаю цитату, но рассуждение очень интересное. <...>

Утром, пока я что-то читал, Игорь, лежа на солнышке, изучал толстенный том знаменитого музыканта Кита Ричардса «Жизнь», я думаю, это почище моих дневников. Из рассказов Игоря я теперь все знаю о нашей ментовке. Вернее, об организации, где регистрируют таджиков, оформляют виды на жительство и выдают эмигрантам паспорта. Игорь, который пять лет прожил в России, уже получил «вид на жительство», это почти паспорт, и сейчас оформляет гражданство. Уже появилась целая толпа ребят из Луганска и Донбасса, которые регистрируются в Москве. Но еще до них пришла армянская волна. Есть «подпольная» очередь на оформление. Есть и персонажи, которые, еще раньше записавшись, теперь продают близкие номера.

**16 мая, пятница.** <...> Утром померил сахар – 6,3, попытаюсь весь день просидеть на скромной диете. Объявил для себя «день здоровья», сделал зарядку и минут пять, для разгона, посидел на «велосипеде» – это такой у меня спортивный снаряд. Естественно, поливал, и несколько раз смотрел, как всходят, мощно пробивая почву в теплице, кабачки. Еще две плохих новости – ушел из жизни Виктор Суходрев, переводчик Хрущева, Брежнева и Горбачева. Я помню его рядом с вождем всю жизнь. Всегда глядел на него и думал, сколько же этот человек всего знает. С ним меня в молодости познакомил Андрей Луцкий, художник «Кругозора» и московский бонвиван. Я, конечно, это знакомство запомнил. Умер еще мой хороший знакомый Александр Арцыбашев, писатель и брат Сергея Арцыбашева, народного артиста и режиссера. Александр много и талантливо писал о нашем разрушенном сельском хозяйстве. Умер еще молодым – 62 года. <...>

**17 мая, суббота.** В постели перед сном начал, а утром, не вставая, дочитал огромную повесть Дианы Альбертовны Даричевой «Тетрактида». Это опять ученица Анатолия Королева. Раздражен, что работа велика, 67 страниц, хотя существует норма – 45–55 страниц, раздражен, что практически Королев со своей студенткой не справился и к смыслу добираться лишь в самом конце. Раздражен, все непросто,

а с неким вывертом. «Тетрактида, или четверица – последовательность первых четырех чисел, священная для пифагорейцев...» – это что-то вроде эпитафии. Автобиографическая справка начинается так: «Вопросы самые простые: кто ты, что делаешь и откуда пришел сюда». Дальше в справке о целой грозди семейных перемещений по России, но посвящено все родовому, первоначальному и отчасти темному. Сначала глава о каком-то сватовстве или отношениях некой непроявленной героини с Милым. Все чрезвычайно неопределенно, язык почти лишен богатств, но грамотно и интонировано. Потом огромный кусок про некое родовое или даже роевое начало. Дом, в котором живет некая Бабушка, то ли лекарица, то ли провидица. Вокруг Бабушки сонм прислужников или потомков, с именами из первого крика. Бараны, одеяла, подушки. Уже в самом конце появляются приметы современного быта: машины, самолеты и пр. Я понимаю, что автор человек одаренный, даже талантливый, но все-таки из богатства русской литературы выбирает углы темные, задние комнаты, где живет свой, родной запах. Вспомнил алеутскую повесть Айтматова. Раздражен, что талантливому человеку не спрямили путь. <...>

К вечеру прочел еще одну ученицу Анатолия Королева, не очень мне нравится его выводок, все как-то по верхам, в лучшем случае по филологии, а не по жизни. Это повесть «Испанское золото» Юлии Ким. Во вступительной автобиографической справке она пишет: «Мои родители не знают корейского, тут нечем гордиться, но во мне никогда не было желания его выучить, так как я не чувствую связи с Кореей. Потому меня стало интересовать, как человек осознает себя? Через язык, на котором он говорит, и Бога, в которого он верит? И что важнее: генотип или страна проживания, когда отвечаешь на вопрос: “Откуда ты?”»

Это все в теории, а на практике – получилась неплохая дамская проза. Молодая дама, студентка, со знанием несколько языков, сначала живет с немолодым похотливым Левоу. Потом путешествует в любви и в согласии по островам Средиземного моря и Европе с другим уже зарубежным пожилым кавалером. Все невероятно, до приторно-сказочного красиво. Какие гостиницы, интерьеры, страсти!

Сама Юлия Ким девушка определенно способная, но жизнь видит не так, как ее разглядывает русская литература. Сколько глянца, белых простыней, бокалов, дорогой еды и мест бизнес-класса в салонах самолетов – на 56 страниц. Читается, как и положено такой литературе, захлеб. <...>

**18 мая, воскресенье.** Чтобы обмануть подмосковный трафик, выехал с дачи еще в половине десятого. Через полтора часа был в Москве. Эвакуировался с дачи так быстро в основном еще и потому, что два материала к семинару пока не прочитаны. Но милые девочки – Астахова и Цуранова – и за неделю ничего не сделали, шлифовали, видимо, свои материалы. Пришли тексты уже в вечерней темноте. Зато прочел материал выпускницы ВЛК, здесь я понял, что каждый мой, даже плохо пишущий ребенок, это классик и гений. С другой стороны, судя по текстам, я понял также, что три года, пока наша слушательница ВЛК аккуратно платила деньги за свою учебу, с нею над текстами никто не работал. За три года это все, рассказик за рассказиком, можно было бы привести в порядок.

Днем все-таки сел за компьютер и начал приводить в порядок еще один кусок из Дневника 2012 года – Австрию. Делаю это исключи-

тельно потому, что думаю все-таки издать книгу путешествий, как советовал мне Олег Павлов. К счастью, у меня сохранились компьютерные наброски. Дело идет, кроме записей смотрю в путеводители, но постепенно я понимаю, что организованный туризм – это, как правило, за редким исключением, лишь скольжение по верхам культуры.

<...> На РЕН-ТВ Марианна Максимовская, одетая в элегантный костюм и туфли на грандиозном, как Эйфелева башня, каблуке, помогла бывшему министру финансов Алексею Кудрину считать наши потери в связи с Крымом и возможные потери в связи с гипотетическим присоединением Донбасса и Луганска. Считали они по-крупному, расходами на сочинскую Олимпиаду, на которую было потрачено что-то 1 миллиард рублей. Крым – одна Олимпиада, если Донбасс и Луганск – еще две или три. Напирали, что где-то не будет построен детский сад, а где-то больница, а где-то не проиндексируют зарплату. В расчетах интеллектуала-финансиста и элегантного телевизионного обозревателя отсутствовали только страдающие, в основном русские, люди. О языке и культуре не говорю. <...>

**20 мая, вторник.** <...> Днем повздорил с главбухом. Ректорат переехал во флигель, и я впервые туда пошел в надежде встретить Стояновского. Сегодня М.Ю. отсутствует. Сразу поразился обилию у нас начальства. На всех дверях отпечатанные на принтере служебные клички – проректор по капитальному строительству и АХЧ, советник ректора, проректор по учебе, проректор по науке, здесь же Володя Харлов. Внизу – там, где в «Знамени» находился отдел критики, – «зал заседаний». Л.М. расположилась в кабинете Кожевникова, туда была переброшена новая мебель, которую купили для Тарасова в начале его управления. Как говорится, хорошее и знаменательное начало. Управление, судя по многим признакам, было талантливым. Во вчерашнем номере «Вечерней Москвы» нас опять признают «неэффективными». А что значит неэффективный вуз? Это значит, у него плохой менеджмент, а у нас он еще и дорогой. Наш менеджмент – это ректор и все его проректоры включая советников. Кстати, бывший ректор Тарасов, так энергично знаменитый вуз приведший к славе «неэффективного», просился и интриговал по поводу президентства, а теперь хочет быть хотя бы советником ректора. Про неэффективный можно много и долго говорить. Почему «неэффективный»? Один проректор купил квартиру, сам ректор тоже купил квартиру в Москве и еще дом или квартиру в Болгарии. О других подвигах наших «хозяйствующих» субъектов помалкиваю.

Ну, ладно, поднялся я наверх, увидел нашего бухгалтера в прелестном цветном платье и сказал, что, дескать, время прошло оплатить мне билет в Германию и обратно. В свое время я принес все требуемые от меня документы, где на копии приказа стояло ректорское (Тарасов) распоряжение оплатить мне билет. Тогда согласившись со мною, бухгалтер сказала, что оплатит, как только в институте будут деньги. Тогда сначала она требовала от меня посадочный талон на самолет, я его достал через министерство. На этот раз она вскричала, что ей нужен приказ, который есть, но есть и одна тонкость. Если уж я начал распутывать тонкости, то буду делать это до конца. Сейчас, пропустив срок, она кричит, что платить не станет. Уже есть подпись ректора, а в нашем институте, в котором такая бездна приказов писалась и дописывалась задним числом, дописать при живом и действующем тогда ректоре одну фразу туда для главбуха, у которого в бухгалтерии работала

дочь и парень дочери, никакого труда не составляло. Покричали друг на друга. Занятно, что мне удалось расследовать всю историю. Для этого я пошел в зарубежный отдел. Дина, которая здесь работает, рассказала мне – как это все занятно, двоедушие хорошо знакомых людей, для меня всегда представляет особый интерес – итак, Дина сказала, что принесла приказ ректору и спросила, надо ли включать слова о платном проезде, Тарасов ответил: это к Людмиле Михайловне; Людмила Михайловна сказала, что проезд не оплачивать. Денег видимо, нет, деньги все уже растратили. Это была конференция по Ломоносову, ездили мы туда вместе с ректором. Ректор после Марбурга полетел куда-то еще, пробыл в Марбурге на один день меньше. И, наверное, не за свой счет, и деньги нашлись. Все это гадость.

А не начать ли мне дневники публиковать в Интернете ежедневно? Если на нашем Ученом совете, который, по идее, управляет Институтом, нам даже акт о министерской проверке показывают «частично», только то, что кого непосредственно касается. Если говорят, что акт другой, только что окончившейся проверки, после которой, собственно, ректору и не продлили испрашиваемый срок «царствования», еще утверждается в министерстве, и его нет в институте, может быть, мне есть смысл действительно публиковать странички дневника каждый день?

В четвертом часу приехал домой <...>. Ехал не один, подвозил еще и Ашота, который в отпуске, но все знает и за всем в Институте наблюдает. Он рассказал мне, что бывший помощник и конфидент прошлого ректора Галина Яковлева бросилась к нему на шею с воплем, что ее увольняют с работы. Новый ректор вызвала ее и сказала, что ее услуги Институту больше не нужны. Услуги были значительными, она числилась директором несуществующего музея Института, вела разнообразные детские кружки и убирала кабинет ректора – она была единственным человеком, который в кабинет мог заходить, когда ректор отсутствовал, даже секретарь этого делать, чтобы положить только что пришедшую бумагу, не смела. А куда же ей идти, когда она вместе со своими тремя, кажется, взрослыми детьми живет в общежитии. <...>

**22 мая, четверг.** Несмотря на забытое в Москве снотворное хорошо спал, просыпаясь ненадолго и опять засыпая. <...> Принялся читать очередную студенческую работу. Не жизнь, а каторга, хотя и работаю дома, но без воскресений и праздников, и уж, конечно, на «институтское» трачу больше восьми часов. Это опять студентка Королева – он выпускает прозаиков в этом году – девочка со знаковой фамилией Куйбышева, Наталья.

Как обычно в прозе, перебор в объеме, вместо 45–50 страниц – 62, а это лишний час чтения. Хорошо, что хоть час не бессмысленный – работа очень неплохая – «Сказ про деревню Хмарь». Здесь современные, но под старину, сказки, не очень и не только языческие, но с прелестными мотивами, верой в сказочное. Написано все не без влияния, может быть и далекого, романа Колядиной «Цветочный крест», несколько лет назад получившего «Букер». Опять русское, замешенное на христианстве, язычество. К концу, правда, что-то в повествовании ломается, скорее всего не хватает материала, и возникают мотивы западного фольклора и привычных литературных сказочных образов и оборотов. <...>

До новой программы по НТВ успел прочесть еще одну дипломную работу семинара Королева – это «Молочные реки, кисельные берега», повесть Александры Комаровой.

Конечно, это беллетристика, и очень литинститутская – поиски и выборы молодой женщины. Возраст студенческий. Здесь и ее работа, и ее любовь без чувств и любви, и ее карьера. Но есть одно обстоятельство, сразу выбрасывающее повесть если не в топ-лист отечественной литературы, то в литературу очень востребованную и премиальной критикой замечаемую. Все истории открываются одним ключиком, через поразительную и очень земную страсть героини – через еду, через вечную женскую диету и через вечное желание что-нибудь съесть. Это не девичья, как у нас обычно, это настоящая женская проза. Можно позавидовать. <...>

Занятные происшествия в Крыму. Крым живет с ощущением советского времени и нравов. Они объявили акцию «чистый берег» и сейчас спиливают железные загородки, отделяющие пляжи перед дворцами и виллами финансовой знати от простого народа – берег принадлежит всем. Если бы что-нибудь подобное произошло у нас где-нибудь на Пестовском водохранилище!

**23 мая, пятница.** <...> Вечером – слушал радио в машине – рассказывали про Мединского. О присуждении почетного доктора одним из университетов Венеции. В Италию министр культуры, дескать, не рискнул приехать, потому что в академическом сообществе поднялись волнения. Диплом и мантию – цитата одного итальянского журналиста – как готовую пиццу доставили на дом, вручили в тиши уютного кабинета. Проректор, которая вручала диплом, из университета уже уволена. Пархоменко утверждает, что премия вручена по инициативе одного из итальянских фондов, который существует за счет бюджета Минкульту. Вот тема для следующего романа! Сергей Пархоменко взялся за Мединского крепко и уже не впервые.

Парень хват, чуть ли не в детском возрасте защитил первую кандидатскую диссертацию, потом была первая докторская, как политолога, с моей точки зрения это почти несуществующая наука, потом защитился как историк. Плохие это диссертации, хорошие ли, к ним формально претензий мало. Но вот что оказалось с кандидатской, которая, собственно, и давала право защищать потом диссертации докторские. В ней оказалось – как говорит Пархоменко – 72 или 82 страниц – брал со слуха – принадлежащих его руководителю. Но дело в том, что защита руководителя и его аспиранта проходила с разницей что-то около двух недель. Пархоменко считает, что здесь сговор. Какие шустрые люди делают нашу отечественную политику! <...>

**24 мая, суббота.** <...> Позвонила прекрасная моя знакомая Нина Васильевна Мотрошилова – есть новости. Оказывается, вся Европа бурлит: вышли черные – по обложке – тетради Хайдеггера, некие – не дневник – личные записи, которые он сдал в архив и наказал публиковать только после того, как будет закончено в печати его полное собрание сочинений. Дальше все со слов Н. В., но, правда, так как я ее услышал.

Собственно, самих сочинений у Хайдеггера томов 5-6, остальные, всего 104 тома – вот это немецкий размах и отношение у немцев к культуре – это лекции, конспекты лекций, конспекты устных сообщений, возможно, часто записанные студентами или слушателями. Так вот, когда все это оказалось напечатано, дошло дело до «черных тетрадей». Эти три или четыре тома сейчас у Н.В., она, просматривая материалы, еще не дошла до тех конкретно слов, которыми скандализирована интеллигенция, но вот три пункта, вокруг которых разворачиваются споры.

– Размышления и записи о нацизме, которым Хайдеггер был сначала очарован, потом разочарован. Есть два национал-социализма, один, гитлеризм, но есть и другой, когда социализм с привязанностью к своему кровному.

– Высказывания по поводу евреев. Мнение о том, что Мартин Хайдеггер – антисемит, уже было. Я думаю, это не совсем так. Огромное число евреев-олигархов, ставших миллионерами и миллиардерами в смутное время 90-х, лишь смущает русский народ, вечно готовый, в случае обстоятельств, спрятать своего соседа-еврея у себя в шкафу или под кроватью.

– Есть еще какие-то соображения Хайдеггера относительно очень бойких людей и их жизни, но здесь я не вполне уверен, что понял. <...>

**26 мая, понедельник.** <...> Позвонив по телефону на кафедру, узнаю – по обыкновению я все перепутал – защита не завтра, а через два часа. Хорошо, что я все делаю по возможности заранее, прочитанные дипломные работы на кафедре, осталось только скопировать из Дневника рецензии. Все прошло довольно удачно – в две руки. А.М. в 24-й аудитории, я в 23-й. У него поэзия, у меня проза. К шести у меня было три пятерки, две четверки и одна тройка, у Андрея Михайловича, кажется, одна пятерка и три тройки.

Шел пешком до Пречистенки – там в семь часов церемония вручения Новой Пушкинской премии, звала Катя Варкан. Церемония прошла со всей атрибутикой интеллигентности – камерная музыка времен Пушкина и Екатерины, потом представление двух поэтов. Во время музыкального приношения публика скучала. Слава Пьецух был в черном костюме и с бабочкой, все остальные кто в чем. «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру» дали 350 тысяч рублей поэту из Саратова Светлане Кековой. Стихи были про Божественное, очень интеллигентные, профессорские. «За новаторское развитие отечественных культурных традиций» премировали молодого по виду поэта из Екатеринбурга Алексея Кудрякова. Естественно, он автор журналов «Знамя», «Звезда», «Урал», «Сибирские огни». Новаторство оценили в 150 000 руб. Стихов этого автора пока не читал, а вслух прочитанное не понял.

Наиболее интересным во всем мероприятии был фуршет, устроенный для литературной интеллигенции. Никогда не думал, что интеллигентные люди могут столько есть. Какие поразительные тарелки. С невероятной прытью интеллигенция ринулась от сцены к столам. Здесь была приготовлена снедь. На рыбе фрукты, на фруктах – жареные пельмени, на пельменях – куриный шашлык. Пил томатный сок, съел рыбу в кляре, и еще выпил две чашки чая. Поздоровался с Битовым, сказал Чупринину, что он воспользовался моей биографией, которую опубликовал в своем знаменитом словаре. <...>

**27 мая, вторник.** Последний семинар был очень длинный – четыре часа. Я уже накануне знал, что обсуждать четырех ребят, которые остались у меня не обсужденные, не стану. Но это все уклончивые хитрецы и осторожные ребята, пытающиеся в обход всех выведать какие-то пути. Семинар построил по-другому. Во-первых, час у меня проговорил Виктор Петрович Голышев. Это было особенно интересно, потому что его речи это о той литературе, которые ребята очень любят – об английской и американской. Среди многого прочего Голышев сказал о неумении современной русской литературы освоить

тот внутренний слой в человеке, который возник у русского человека, когда он перестал быть советским. Рассуждения Голышева, как и у любого искреннего глубокого и с интересной биографией человека, были интересны и поучительны. Любопытно, что, являясь хорошим знакомым Бродского, он не хотел бы, чтобы, как Рейна, его по Бродскому идентифицировали.

С ребят четвертого курса потребовал «заявку» на содержание дипломной работы.

Первый курс написал мне самоотчет за год – первый пункт, и второй – что за год им дал Литинститут. Неожиданно для ребят я, не распуская семинар, попросил каждого прочесть написанное. Все было очень по-разному, ребяташки-то думающие, вылилось все в полезный нравоучительный урок. Каждый письменный отчет был прочитан автором вслух, и я его откомментировал. После четырех часов постоянного говорения – выступление В.П. Голышева было построено, как интервью, – я был почти без сил и даже боялся потерять сознание.

К трем – гулял по скверику и обедал – отошел и еще три часа подряд вел комиссию по защите дипломов. <...>

А дома меня уже ждали гости, которых ни отменить, ни перенести на другое время было нельзя. Буквально спас меня Гафурбек, ему я поручил все праздничные устройства, и он не только наварил плов, но и все обустроил – стол, сервировку, убрал квартиру. Когда я приехал из Института, стол уже был накрыт, закуски стояли на столе. Кроме гатчинских гостей Ани и Данилы был еще Леня Колпаков, Светлана Хохрякова, Андрей Шемякин, и после семинара, уже в девять, подъехал С.П. Говорили о кино, как можно говорить с очень подготовленными людьми, на бреющем полете, недосказывая начавшееся предложение и почти не называя имен – и так все ясно. Вот оно, интеллектуальное счастье хорошего разговора. Вспомнили о Мединском, которому Андрей Звягинцев посвятил в Каннах половину своего выступления на пресс-конференции. Звягинцев тогда еще не получил премии за своего «Левиафана». Министр учил кинорежиссера, про что снимать кино. Говорили о Хуциеве, который так и не доснял свой грандиозный фильм о Толстом. И тут мы со Светланой вспомнили о Вале Попове, что, может быть, лучше всех сыграл в «Заставе Ильича». Но его не приняла в свой состав съемочная группа – там были знаменитые мальчики и девочки из центра, а Валя с окраины, из самостоятельности ЗИЛа.

**28 мая, среда.** Утром только успел пару часов посидеть над Дневником, как надо было ехать на защиту дипломов. <...> Закончили по времени почти параллельно с защитами А.М. Туркова, и я тут же нырнул на докторскую защиту Сергея Казначеева. Вошел, когда помолодевшая, но в черном платье с ниткой светлых бус на шее, М.О. Чудакова громила термин «социалистический реализм» и даже сомневалась относительно правомочности присуждения искомой степени диссертанту. Свою позицию она, как обычно, подкрепила в голосовании. Кто еще, кроме М.О., бросил один черный шар, не знаю, но догадываюсь. 15 «за» и 2 «против». Сразу же за М.О. поднялся С. Небольсин и ответил достаточно убедительно, потом то же самое сделал Петя Калитин, которого я сначала не узнал, так он раздобрел. Меня тоже подмывало встать, потому что я был экспертом по этой работе, но здесь был совсем вне контекста. Потом в разговоре с М.О. я сказал, и она, пожалуй, согласилась, что основная часть была сделана очень добросовестно, я с огромным удовольствием ее прочел.

На полагающийся после защиты традиционный банкет я не пошел: сегодня 80 лет Юрию Апенченко; сел в машину и покатил на Савеловский вокзал. Довольно долго, путаясь, искал его квартиру, давно не хожу, а ведь было дело, бывал у Апенченко чуть ли не раз в неделю. Народа в квартиру набралось человек сорок, многие лица были знакомые, но были и новые лица. На столе разная домашняя разность. Собрались, чтобы отметить день рождения очень хорошего и беззлобного человека. Встретил Роберта Репейнера, говорили о молодости и о Марике Ратце, с которым Роберт учился. Роберт вспоминает, что Марик в юности был пижоном, ходил в голубых штанах. Вспомнили также еще одного нашего знакомого, уже давно покойного, Валеру Безродного.

**29 мая, четверг.** Сахар в крови диабетика – самая таинственная вещь. Несмотря на некоторые безумства вчера на дне рождения у Апенченко – три пирожка, одна вареная картошка и кусок холодца – показатели такие: 5,1.

В три часа началась последняя «порция» наших дипломников. Вел комиссию Андрей Михайлович. Я побывал лишь в начале, где высказал несколько критических соображений по поводу стихов одной из учениц Николаевой. В ответ услышал от Олеси Александровны, что Блок и Фет рифмовали, дескать, еще хуже. <...>

Ученый совет проходил вяло, и хотя я что-то «вякал», душа моя совсем опустела. Боюсь, Институт в плену обывательского отношения к литературе. Распределяли «правительственные» стипендии – критерий «отличник», а не высокие и профессиональные творческие достижения. Мы довольно успешно имитируем творческий вуз. Тарасов все еще не выехал из своего кабинета – такое ощущение, что он все еще ждет каких-то перемен в своей судьбе. Опять взял с собою читать 12 работ – это уже заочники.

Вечером не утерпел и смотрел английский фильм «Лучшее предложение» – с одной стороны, как же лжив и бессовестен современный человек, с другой – антиквариат, английская дотошность в изображении материальной стороны жизни. И то и другое мне невероятно интересно. <...>

**31 мая, суббота.** Уже давно знаю: на даче, если сразу встанешь с постели и спустишься на участок, то поливки, посадки, подрезки захлестнут и ничего путного по основной своей работе не сделаешь. Не поднимаясь с постели, сразу же, пока в доме тихо, принялся читать первую работу из большой серии дипломов заочников.

Повесть «Тоня» представляет к защите Александра Сафонова, это шестой курс, руководитель Самид Агаев. Совершенно по-другому все это читается, словно овечья жизнь, после работ наших в основном девочек-очниц. Только ли в этом случае возраст и нажитый опыт? Но может быть, еще и мастер?

Очень простая, даже немудреная история. Молодая женщина Тоня приезжает в город ее детства, чтобы продать комнату в квартире, которую ей подарила ее бабушка. Рассказ ведется от лица все ведающего автора, со знанием дела и деталей, в простой манере. Семья непростая, мать с отцом развелись, бабушка в больнице, брат, которого любила вся семья, покончил жизнь самоубийством. В городе у молодой женщины происходят новые встречи – это и не очень юный сосед Ной, и сутенер, который предполагал купить комнату, и другие персонажи. Главное – некое духовное озарение, которое происходит в это время с героиней. Ей надо продать мир, в котором она жила. От повести веет

свежестью, непритязательный язык созвучен сегодняшнему настрою, справедлива общая картина маленького провинциального города.

Вторая работа, которую не без удовлетворения прочел после всех дневных дел по саду и порчи новенького, только купленного триммера для стрижки газона. Это созвучная с предыдущей работой повесть Екатерины Андреевой «Наследие». Екатерина уже ученица С. Толкачева. Сюжет несколько схож, тоже молодая женщина борется за наследство, за дом в деревне, которое ей досталось от довольно дальнего родственника, художника. Основное достоинство повести в непритязательности рассказа, почти как в жизни, но становится и страшно, как в реальной жизни, и за эту жизнь. Здесь сделан большой срез: провинция, деревня, деревенские запуганные новой жизнью люди, суд, праведный и неправедный, отвратительная и преступная милиция и такая же ленивая и преступная полиция, здесь адвокаты, судьи, бизнесмены, – все связано и укатано в общий страшный и одновременно очень современный сюжет имущественных споров. Понятие «наследие» имеет здесь глубокий, в том числе и социальный контекст. Своеобразный «корявый», почти разговорный язык, как знак подлинности. Здесь нет литературной гладкости, здесь сама жизнь. Мелкие замечания на последней странице. Более страшной картины современной жизни я в литературе не встречал. Блеск подлинности.

Сгорел телевизор, поэтому отправился наверх, в свою комнату, и прочел еще одну очень неплохую работу.

Владислава Бессараб, повесть «Правила хорошего тона», ученица С. Толкачева. Вот рецензия, которую я написал на последней чистой странице работы. Тут же горькие размышления, где же справедливость: «пятерки», которые мы поставили нашим «отличникам» с дневного отделения, часто не дотягивают до «четверок» наших заочников. <...>

Наверху, в бывшей Валиной, а ныне моей комнате, все время включено радио – «Эхо Москвы». Наводнение на Алтае и в Хакасии. Река Бия поднялась на 7 метров выше средней отметки. Опять слава МЧС, лодки, разезжающие по улицам поселков и городов, одинокая собака на крыше сарая, потом придет Путин, пообещает все отстроить и все будут счастливы.

**1 июня, воскресенье.** Повторил вчерашний номер – не вставая, прочел дипломную работу студента С. Толкачева Александра Афонина. Это – «отрывок из романа; проза». Роман называется «Ящер». Пометок на полях, фиксирующих ошибки и сбои повествования или стиля, у меня нет. Блестящая работа, и хотя автор пишет, что это лишь «отрывки», на мой взгляд, тема совести и ее рефлексий отработана полностью. На общем фоне прочитанного мною за последнее время, это подлинная и настоящая литература. Человек заглядывает в тайны своей судьбы. Три действующих лица. Прекрасные диалоги.

В двенадцатом часу выехали с дачи, в машине опять слушал радио. В Мурманской области разбился вертолет с местным начальством – кажется, полетели порыбачить в выходной день на берег Белого моря. Впрочем, власти утверждают – смотрели новые туристские маршруты. Все это из советского образа жизни. Один начальник предоставляет вертолет, другой туристическую базу, третий будет кормить-поить. Зачем, собственно, было летать начальнику Апатитов? Подленькое опять в душе поднялось – так им и надо.

В дороге же слушал, как всегда по воскресным дням, боевую Ксению Ларину, которая беседовала со специалистами и издателями

о творчестве и книгах Кафки. Ее постоянный и прибыльный антисоветизм внезапно дал сбой, показав и ее ангажированность и лишь журналистский багаж культуры. Когда разговор зашел о вышедших книгах, она вдруг воскликнула: в советское время Кафку не выпускали! Я начал хохотать и уже прикинул, какую бы я по этому поводу мог бы написать реплику. Собеседники, правда, ее тут же поправили: несколько рассказов напечатала «Иностранная литература», а первый томик с «Процессом» и рассказами вышел в 1965-м. Я хорошо помню этот том, я отдал его Диме Морозову, с которым вместе работал на Радио.

**2 мая, понедельник.** Утром на метро ездил на «Автозаводскую», там, в бывшем 22-этажном заводоуправлении завода «Динамо» офис Геннадия Петровича Воронина. Я знаком с Ворониным по клубу Н.И. Рыжкова. Титулов у Воронина тьма, он работал и министром судостроительной промышленности, и председателем Госстандарта, знаком со всею отечественной обороной. Сейчас, кроме прочего, Г.П. издает и журнал «Стандарты и качество». Для этого журнала я сделал небольшое интервью – все то же: образование, учеба, национальная идея. Но самое главное, это поразительный разговор, с массой великолепных подробностей, которые я не могу не передать. Например, его уход в возрасте 60 лет с высокой должности, ибо что-то не так сложилось с ныне самым богатым человеком в правительстве Игорем Шуваловым. До того как Шувалов стал и членом правительства, и самым богатым из правительства, он просил у Воронина для разных нужд сначала 20 квадратных метров площади, потом еще 20, потом бизнес потребовал 2000 кв. метров. Скучная эта история о человеческой неблагодарности. Зато какие в рассказах бывают реплики: «Ты все еще об этом народе думаешь?..»

Среди многого, о чем мы с Г.П. поговорили, возникла еще проблема нашей последней неудачи в космосе; я посмеялся было над идеей о возможном саботаже, которую выдвинуло космическое начальство, но тут Г.П. рассказал мне занятную историю. Потом мы посмотрели с 15-го этажа из окна бывшего заводоуправления, ставшего теперь приютом множества офисов и большого отеля – на многие сотни метров, даже на километры расстились бывшие корпуса завода.

Выходя из метро, я встретил нашего дорогого Ашота, с которым и пошли домой. По дороге он рассказал мне о внуке одного знаменитого, даже гениального музыкального деятеля, который продал квартиру своего деда, где раньше предполагал создать музей. Вот тут у меня и появилось желание создать новую книжку. Первая глава будет называться «Саботаж», а вторая «Внук композитора».

Днем прочел дипломную работу Андрея Вискалина «Моя Галина», рассказы. Очень здорово, с блеском. Прочел написанное автобиографическое вступление, дальше очень серьезные работы, к которым Вискалин был не совсем готов, хотя по замыслу и местами по исполнению даже мощно. Это работа о поиске художником своего стиля, о поиске смыслов. Но здесь студента подвели малая начитанность и огрехи стиля. «Доведя мысленный образ до апогея, до внутреннего взрыва эмоций...» Все, как обычно, пометил на последней странице. Я позвонил С.П., разве нельзя было почистить? Это последняя по времени работа, парень в стрессе – нелады с женой и разбитая топором нога. Финал рассказа о счастливо обретенной натурщице – художник рисовал некий собственный фантом, который «посадил» на вполне реальное кресло.

«Проснуться в Каире» – второй большой рассказ Вискалина. Это о неких миражах, которые всегда рядом с человеком, о происках Шайтана и Дьявола, которые тоже тут как тут.

Наконец, третий рассказ – «Возмездие Иванова». Иванова, правда, зовут Зиновий Соломонович. Смешно, вряд ли с серьезными антисемитскими намерениями, но, по сути, очень точно. Чуть-чуть человека прищемили – и он уже другой. <...>

**3 июня, вторник.** Утром Ашот написал эсэмэску – умер Святослав Бэлза, мой сосед, я часто с ним разговаривал на улице и во дворе. Потом позвонил чуть ли не со слезами Леня Колпаков, он его тоже знал, уже давно Бэлза работал в «Литгазете». По телевидению сообщили, что умер в мюнхенской клинике; покойный Виталий Вульф, почти ныне забытый, тоже лечился в Мюнхене. Я всегда поражаюсь Лёнинскому открытому и прекрасному сердцу – вот кто знает людям цену и их ценит!

Утром же, до двенадцати, читал еще одну работу семинара Толкачева – «Гаснущие огоньки» Ии Зиньковской, рассказы. Это, как и Вискалин, умная, но с невероятными вкусовыми огрехами пишущая дева. Здесь много о стариках, о смерти, о вечной жизни, о Боге. Есть куски по мысли прекрасные (всегда я произношу про себя слово «прекрасно» с интонацией и нажимом Визбора – от собственной юности никуда не денешься).

– «Человек заботится о том, чтобы жить дольше, а не о том, чтобы жить правильнее! – и с этими словами старуха встала и, хромая, поплелась к храму».

Или:

– «Я учила тебя, чтоб ты каждый день каялась в своих грехах, а не дожидалась зрелых лет! Думаешь, к Богу обратиться только к старости? Услышит ли Он тебя тогда?» <...>

**4 июня, среда.** Поздно вечером, почти ночью начал, а утром к одиннадцати дочитал, может быть, лучшую работу семинара Толкачева – «Результат положительный». Автор здесь Денис Копейкин. Начинается работа с повести со слишком прямым названием «Убитое детинство», но как иногда все сходится, даже текущая политика и жизнь литератора. Это поездка героя в город, где прошло его детство, в Харьков. Значение здесь имеет не сюжет, а каждая деталь, любая мелочь, в основном, даже не относящаяся к Харькову, который только что пережил очередную трагедию, а ко взгляду на жизнь героя.

Очень точный, без красивых нарядностей язык, органическое чувство формы. Мощно и очень по-мужски.

Второй рассказ, давший название всей работе – «СПИД», здесь тоже мощное и точное решение на фоне удивительных превращений жизни. Я-то все под влиянием телевизора и гладких выступлений Путина думаю, что жизнь меняется; она меняется там, где рядом Путин – в Сочи, например, а в глубинке она безжалостная, мерзкая, почти животная.

Днем ездил в Институт. Девятого у очного отделения вручение дипломов, я решил подарить каждому выпускнику Дневник за тот год, когда они поступали. Попытка взять хоть какой-то документ о требованиях к дипломной работе выпускника – через полторы недели я еду в Пятигорск принимать экзамены – закончилась неудачей – подобного документа у нас нет. <...> Встретил в коридоре административного корпуса И.Н. Зиновьеву и – не поздоровался. Ленива, лжива, и, как теперь

выяснилось, подла. Удивительное дело, за жизнь это второй человек, которого я подвергаю такой «санкции», первым был Матвеев.

Когда приехал домой, пришлось еще встречаться с телевидением, с передачей «Постскриптум». Приехал мой бывший ученик Александр Петров – несколько слов о нашей стихослагательнице Евгении Васильевой, так удачно почти пустившей Министерство обороны по ветру. <...>

**5 июня, четверг.** Все утро, как и обычно, мучительно собирался в дорогу. В Крыму должен состояться какой-то конгресс, связанный с культурой, а параллельно – встреча с крымскими писателями, вот на эту встречу меня Володя Еременко и пригласил. Одновременно, как я понял, он хотел меня прозондировать относительно Института и выборов ректора. Что у него на уме, я не знаю, но догадываюсь. Связи у него – последние годы Володя работал, может быть, одним из самых доверенных лиц у Миронова – огромные, литературу он знает не изда- лека, а подробно, кандидат наук, отчетливо представляет чиновничью работу, никого не грабил, не воровал.

Встреча состоялась у Думы, где все грузились в автобусы, а потом дружно улетели. Вместе с Володей летит и Юра Козлов – замечатель- ный писатель и порядочный парень, работали мы с ним вместе в Лите, ездили в туристическую поездку в начале перестройки. Оба, Володя и Юра, просто кладезь знаний о жизни современной чиновничьей эли- ты, оба невероятно много знают и о жизни наших писателей. О чем только с часа дня, когда сели в автобус, и до двенадцати часов уже ночи, когда разошлись по своим номерам, мы только не переговорили! За это время доехали до «Домодедова», посидели в кафе, летели до Симферополя, ехали до Алушты, ужинали, уже поздно ходили к морю и по набережной, ели мороженое. Я делаю невероятные усилие, чтобы запомнить что-то из рассказанного, но запоминается плохо, надеюсь, как-то незаметно, без особого авторства многое опять всплывает в моих дневниках.

Пока к книге историй, которую я задумал, чтобы не забыть – еще парочка былин.

– О том, как принесли в газету целый том стихов олигарха. Хоро- ших стихов для поэтической подборки нет, а деньги уже взяли. Подбе- ри лучшие из плохих. Оказалось – модернизм.

– О том, как один крупный чиновник-писатель продавал 15% акций издательства.

В самолете читали газеты. В «Коммерсанте»: 25-летний сын Зюга- нова баллотируется депутатом в горсовет.

Много в самолете говорили о Переверзине, Кузнецове, Ганичеве. С Переверзиным и его властью все, кажется, заканчивается. У него был в юстиции серьезный покровитель, с которым они – по слухам – кол- лекционировали молодых художников, в надежде, что потом те кем-то станут. Ваня в том числе обеспечивал своего покровителя дорогими рамами для картин. Но его финансовые фокусы так всех доконали, что один из главных, а может быть, главный небожитель позвонил покровителю. Охранительную руку с Вани сняли, и тут он стал проигрывать в судах одно дело за другим и даже оказался под следствием. Я уве- рен, что вывернется. Но какая хватка! Оказывается, не успел благо- словенный Крым стать снова российским, а умный и предприимчивый Ваня уже потребовал возвращения в лоно российского Литературного фонда и бывшего Дома творчества в Ялте и бывшего Дома творчества в Коктебеле. Чем больше собственности, тем слаще жизнь! Зачем во

все это уже давно ввязался Ст. Куняев, не понимаю. Но ведь крепко союзничают.

В разговоре вспомнили и моего друга юности Арсения Ларионова, которого я до сих пор по-доброму вспоминаю. Он, оказывается, за свои финансовые действия с писательской собственностью получил 7 лет условно, по старости.

Основные разговоры, конечно, об Украине и последних событиях. Неожиданную роль, оказывается, в этой блестящей операции сыграл бывший спикер Совета Федерации и руководитель «Справедливой России» Миронов. Я уговариваю Володю Еременко написать, хотя бы с рассказов, мемуары об этом.

Часов в девять оказались в Алуште. Поселили в большом с хорошей зеленой территорией отеле «Золотой колос». Три «звезды» – рассчитано на хохлов среднего достатка. Наверное, это старый санаторий с новым коммерческим корпусом. Узенькие, как тюремные камеры, одноместные номера. Но, правда, есть все необходимое: койка, телевизор, холодильник, туалет, душ, кондиционер, шкаф, запах ацетона и синтетики от мебели. В коридоре, на всякий случай, как резерв для вторжения, – стоят раскладушки.

Несмотря на поздний час, пошли к морю, оно минутах в пятнадцати, каменистые темные пляжи; потом через прекрасный старый парк попали на набережную. Народа все-таки не так много, как бывало в это время раньше. Услышал реплику: «Хохлы не едут». А им сейчас и не до этого. Набережная в относительном порядке, по ощущению – время наших девяностых. Везде «крымские вина», открытые допоздна, тиры, свет, разная музыка, громкость, по старой битой бетонной плитке ходят бедные девушки на огромных каблуках и платформах. Пир и праздник бедняков.

**6 июня, пятница.** Утром в половине восьмого ходили на море, пляж галечный, тяжелый для вхождения в воду; я только окунулся; вода показалась мне очень холодной, боялся простудиться; сразу вышел; ребята долго и отважно плавали; я порадовался за их здоровье. Силы заметно меня покидают, после завтрака не рискнул идти на пляж, хватит и пятнадцатиминутной утренней прогулки. Крым, конечно, сильно запущен, это видно по дорогам и асфальту, по старым пятиэтажкам. Но надо отметить, что пока ехали от Симферополя – много, как в Подмосковье, новых хороших и в зелени особняков и особнячков. По желтым трубам, идущим от дома к дому, видно, что все сплошь здесь газифицировано. Если бы что-то подобное можно было наблюдать в средней полосе России! <...>

В три часа началась встреча крымских писателей с лидером парламентской партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Вторая часть этой встречи – это уже наша тройка. А все это приурочено еще и ко дню рождению Пушкина. 215 лет. Миронов говорил о том подьеме, который возник в стране после присоединения Крыма. И как полагает Миронов, в первую очередь этому триумфу мы обязаны крымчанам, которые целых 23 года смогли сохранять язык и русский уклад. <...>

После Миронова очень долго и не вполне деликатно говорил с писателями артист Конкин. Много, как обычно у актеров, о себе, и потом собрание исторических эпизодов, не всегда сбалансированных. Писатели не любят, когда их поучают.

После небольшого перерыва уже говорили и местные писатели, и говорили довольно интересно. В частности, о своеобразии именно

крымской литературы как об особом анклаве русской культуры. Говорили также о том имуществе, которое когда-то принадлежало русским писателям, и о возможности опять им пользоваться. Среди этого имущества и Дом творчества в Ялте, и Дом творчества в Коктебеле. Писатели, оказывается, знали, что не успел пройти референдум, как знаменитый среди писателей деятель Ваня Переверзин вместе со Станиславом Юрьевичем Куняевым, который нынче директор Литфонда, уже написали письмо: верните имущество обратно в Литфонд.

Правда, – об этом говорил Вл. Еременко, – недавние события по управлению писательским имуществом привели к тому, что деятельность фонда приостановлена чуть ли не до октября, а против Переверзина возбуждено уголовное дело.

Юра Козлов подробно рассказывал о номере, который редакция «Роман-газеты» готовит из материалов крымских писателей. Потом пришла моя очередь.

Я говорил о рефлексии, которую испытывал во время всех речей. О том, что главная проблема у писателей – это обретение нового качества и завоевание читательского интереса. Я предостерег коллег от слишком больших ожиданий; они думают, что все будет как раньше, как при СССР. Но сейчас другая страна с другим отношением к писателю. Еще раньше Юра говорил, что писатель маргинализируется. Я говорил так же об одиночестве писателя, о суровой жизни, которую ведем, что нас так же не печатают, как и их.

Закончил свое выступление под аплодисменты.

После ужина довольно долго ходили по Алуште. Два знаменательных дома. В одном из них во время подготовки Ялтинской конференции ночевал Сталин. Вероятно, этот небольшой дом еще дореволюционной постройки, солидный особняк. Второй дом построен с современным шиком нового богача. Когда мы проходили возле него, целая бригада рабочих мыла мраморные стены, крыльцо и квадратные колонны. Дом купили под банк «Российский». Банки, как и марки-танты, приходят на освобожденную территорию первыми. <...>

**7 июня, суббота.** <...> По поводу украинского языка. Судя по некоторым признаниям специалистов, из языка выкорчевывается все, что имеет сходство или огласовку с русским, и эти слова заменяются полонизмами, отчего украинский диалект русского языка огрубляется и лишается прежнего очарования. <...>

**8 июня, воскресенье.** Утром сказали, что билет мне поменяли, улетаю неудобным вечерним рейсом сегодня. Но зато я успеваю, если Светлана Викторовна, наш деканат, что-то не напутала, на вручение дипломов выпускникам очного отделения.

<...> Утром купаться с ребятами не ходил, но зато прочел еще одну очень хорошую работу выпускницы С. Толкачева Антонины Казаковой. Это небольшая серия коротких рассказов о жизни. С невероятной точностью, социальным сочувствием и хорошей изобразительной силой. Дети, взрослые, врачи, учителя – грустная картина современной действительности. Буду бороться за «пятерку». <...>

Уже второй день заходим в магазинчик возле отеля – санаториев вроде сейчас нет, но в нашем трехзвездочном отеле целый медицинский корпус – там продаются «напитки». Невероятные, по сравнению с обезумевшей Москвой, цены. Кружка пива – 40 рублей, рюмка прекрасной чачи или граппы – 25. Напили почти на 100 рублей. Для сравнения цены в «Домодедово» – 780 рублей кружка пива.

Что касается цен, то они, в принципе, небольшие. Маленький одноместный номер, с питанием и одной из пяти или десяти медицинских программ стоит: 1482 рубля осенью и зимой, и 4522 – в «высокий сезон», июль–август.

Жалуется ли народ и как относится к происходящему?

Естественно, я взял интервью: мы, конечно, все за Россию, но у многих родственники на Украине. После замены «гривны» рублем цены выросли. Взял, конечно, интервью и относительно так понравившегося мне санатория. Он еще советский, сейчас принадлежит какому-то украинцу. Зарплату пока не прибавили, она маленькая, с работой в Алуште трудно.

В шесть часов на небольшом классном минивэне уехал в Симферополь. Попался прижимистый, хитрый хохол шофер. Взяв единственного пассажира, это меня, он потом заехал на остановку автобусов и троллейбусов до Симферополя и взял еще десять или двенадцать пассажиров. При этом была разыграна небольшая сцена. Пока ехали к остановке, шофер кому-то звонил и, как только мы остановились и начали садиться возможные пассажиры, появился некий как бы кассир. Здоровенный мужчина, собирающий со всех по семьдесят рублей. Потом за машиной произошла дележка, одному за провоз, другому за услугу на маскараде.

<...> В половине второго был дома.

**11 июня, среда.** Утром померил сахар – 5,9, терпимо, а ведь перед сном почти не утерпел и наелся – плов и копченая колбаса, и тогда было 13. Может быть, старая мельница еще работает, скрипит. Правда, стали уставать глаза, не сорвать бы их, как в прошлом году. <...> Днем, часов в двенадцать, выехали на дачу. <...> Уходя из дома, вынул «Литературную газету», ею и занялся.

Номер не очень интересный, много про Крым. Последнее время газета все чаще и чаще обслуживает не просто патриотическое направление, но и озвучивает многие правительственные акценты. Это я читаю редко, но в «Литературке» всегда нахожу что-нибудь интересное. Скорее всего, это зависит от авторов. Всегда читаю Льва Пирогова, который всегда о пишет литературе, и Александра Кондрашова, умеющего талантливо разворошить осиное гнездо телевизионщиков. Один, первый, анализируя книгу модного писателя Крусанова, вдруг очень точно говорит о русском, т. е. нашем направлении в литературе. Вот и цитаты:

### ***Особенности русской литературы. Жизнь.***

«Разница между постмодернизмом и нашей литературой в основе проста. Мы полагаем, что главное в литературе – жизнь. Чем “жизненнее”, тем лучше. А “жизненность” обеспечивается искренним чувством. У них во главе угла – интеллектуальный акт, литературный прием. Хорошее использование хорошего приема пробуждает в постмодернисте такие чувства, что никакая искренность не нужна. Да и нет ее в литературе, ибо – “что есть искренность?”, как сказал художник Николай Ге».

### ***Особенности русской литературы. Прием.***

«В нашей литературе, наоборот, это считается неприличным. Взгляд на мир с точки зрения “как все устроено” или “как это работает” мы считаем незрелым, школярским и даже – смешно сказать – ограниченным. Принятие жизни во всей ее полноте – со всеми ее “несправедливостями” и “свинцовыми мерзостями” (которые только кажутся таковыми самонадеянному человеку, думающему, что ухватил бога

за бороду) и принципиальное неприятие человеческих “мерзостей” (списываемых нашими оппонентами на “многообразие мира”) – такова наша позиция».

**Особенность русской литературы. Талант у автора.**

«Собственно, постмодернизм тем выгоден – можно скрывать ограниченность таланта и неглубину души. Скрывать и заменять “другой глубиной”».

Кондрашов – я всегда еще помню, что он талантливый романист – скрупулезно и точно рассматривает большой выброс телевидения на темы Александра Куприна, т. е. то, что я смотрел в Гатчине, и то, что я отчасти видел уже в Москве, – «Яму». Здесь о смысловых подтасовках в фильмах, но есть еще и про один культовый фильм, сценарист которого сразу же перебрался в Мюнхен.

«Сериал вызвал взрыв интереса к этой когда-то опасной древней профессии. Это, конечно, не гимн проституции, как в “Интердевочке”, толкнувшей многие тысячи комсомолок на панель, но все же некое оправдание жриц любви и их ремесла».

В газете также известия из Союза на Комсомольском. Большой «шефский» дом с колонами, когда-то входивший в комплекс Хамовнических казарм, уходит в ремонт. Дом, построенный Баженовым, а ныне числящийся за Союзом писателей России, практически больше уже не писательский. Знаменитый «Дом на Комсомольском». Так как он принадлежит Минкульту, то министры и их советчики уже решили, что после ремонта там будет ПЕН-центр и гроздь московских образовавшихся за последнее время союзов. Прощай аренда и та воля, с которой Союз под управлением Ганичева так вольно на протяжении многих лет обращался с общей собственностью. Слава богу, что никого не посадили, а, наверное, можно было бы.

В газете также известия из Союза на Комсомольском. Большой «шефский» дом с колонами, когда-то входивший в комплекс Хамовнических казарм, уходит в ремонт. Дом, построенный Баженовым, а ныне числящийся за Союзом писателей России, практически больше уже не писательский. Знаменитый «Дом на Комсомольском». Так как он принадлежит Минкульту, то министры и их советчики уже решили, что после ремонта там будет ПЕН-центр и гроздь московских образовавшихся за последнее время союзов. Прощай аренда и та воля, с которой Союз под управлением Ганичева так вольно на протяжении многих лет обращался с общей собственностью. Слава богу, что никого не посадили, а, наверное, можно было бы.

Обо всем этом накануне в Институте я говорил с Ларисой Георгиевной Барановой-Гонченко. Мы все понимаем, что это конец Союза, который почти никому, кроме руководителей, в Москве не нужен, но как-то писательскую провинцию этот Союз поддерживал. В провинции это еще что-то значило. Сейчас Союз переводят в помещение на Берсеневской набережной, когда-то именно там он и располагался, а после ремонта, может быть, ему дадут несколько комнат на 3-м этаже.

Лариса Георгиевна, как и я, давно предполагала, что все это так, как намечено министром, и закончится. Слишком уж вольно жили, слишком сладко сдавали. Ганичева, по словам Барановой-Гонченко, об этом предупреждали, говорила и сама Л.Г., и, вроде бы, говорил С.Ю. Куняев. В Союзе давно надо было менять власть – чуть ли не 25 лет вращаются эти старые истертые жернова.

– Ну, и что сейчас предпринимает Г.Н. Ганичев?

– Как всегда, пишет письма Зюганову.

Сколько ударов сразу – и по сплоченной и дружной команде, так удачно устроившейся на Поварской, и по бригаде, затаившейся на Комсомольском проспекте. <...>

**12 июня, четверг.** <...> Стал читать дипломную работу Ольги Зуйковой. Это опять студентка Толкачева, сразу же заголовок показался мне банальным. Но все поменялось, когда я вчитался. Зуйкова – девушка-инвалид, видимо, детства и пишет о себе и своей болезни, своей борьбе и миропонимании. Все наши молодые студенты пишут о том, что знают, так почему же не имеет права на то же и Зуйкова? Она пишет о папе и маме, о школе, подругах, о мечте стать любимой, о мучительных уроках физкультуры, о, все-таки о своем, парне, о расставании с ним, о бабушке и дедушке, об отчаянии и об обретении жизни. Вершина счастья – это сама жизнь. Все эти эпизоды выполнены в виде маленьких рассказов, которые перемежаются и рифмуются с выдуманной, сказочной историей некой счастливой и ожидающей счастья прекрасной и легконогой девушкой. Есть эпизоды и предельно откровенные и жестокие, все написано с ощущением бесстрашия и предельной искренности. Есть небанальные высказывания о Боге и религии, о доброте. Наверное, поставим «пять». Привожу:

«Родители решили отдать меня в частную гимназию с более сильной программой. Какая разительная перемена с интернатом. Учительницы добрые и ласковые, дети приветливо расспрашивали меня о моих хобби. Один мальчик подарил наклейку, которую ему самому вручили за проведенную зарядку. Я таяла, словно мороженое, оставленное под лучами южного солнца. Потом я узнала, что директор, старая еврейка с пронизательным взглядом из-под тяжелых век, всегда перед приходом нового ученика беседовала с учителями и ребятами и уговаривала их проявить максимум внимания и заботы к новичку, чтобы он захотел здесь остаться. Надо сказать, её метод работал, почти все, после такого тёплого приёма, не хотели возвращаться в свои прежние школы. Я много думала об этом, неприятно осознавать, что люди добры к тебе по обязанности. Но, с другой стороны, – так чудесно окунуться в мир тепла и света, которого был всегда лишен. До сих пор я не знаю, были ли улыбки, обращенные ко мне, искренними, или это только маска...»

Другой сюжет. О подлинности веры.

«Ко всему прочему, тренерша отличалась религиозностью, граничащей с фанатизмом. Часто отчитывала меня за отсутствие натального креста. Однажды сказала с упреком: “Ты не веришь, ты доверяешь”. Я не ответила ей, хотя подумала, что доверие требует частички души, когда человек доверяет, он вручает свою жизнь, а за веру не обязательно нести такую ответственность, можно просто верить и все...»

Как несчастья заставляют иногда думать.

«Первый раз о самоубийстве я задумалась классе в третьем, вдруг возникла мысль, как хорошо было бы не существовать, моя смерть сделала бы всех счастливыми. Видимо, начинался переходный возраст...»

Мать и дочь. О подлинности отношений и любви.

«Зоя (так героиня называет свою мать. – С.Е.) решила родить другого ребенка. Когда забеременела, родители сильно обрадовались. Они долго готовились к этому, многое делали для здоровья. Как только мама узнала о своем положении, она сразу же предупредила: “Если

со мной что-нибудь случится, виновата будешь ты! Не смей меня доводить, а то отправишься в инвалидный дом!»... <...>

**14 июня, суббота.** Рано лег спать, под урчание радио «Эхо Москвы». Ночью божественная Ксения Ларина со своей компаньонкой допрашивали Веллера и Радзиховского. Частями, просыпаясь, слышал и того и другого. У обоих все получается очень гладко, но в духе мировоззрения редакции. Веллера смущает невероятная поддержка народом Путина, чуть ли не 90%. Отсюда вывод, что народ склонен, чтобы им обязательно управляли. Как склонен, так уж и склонен, народ перевоспитать трудно. Кстати, впервые за многие десятилетия и даже за несколько столетий, пожалуй, после Петра Первого, который энергично всем управлял, Россией правит чисто русский человек. <...>

Днем взял томик Булгакова, который у меня еще с того времени, когда в «Гудке» мне вручили премию. Прочел три рассказа о новых похождениях Чичикова – с одной стороны, какое знание текста классика, а с другой – будто написано не в тридцатые годы, а в наши. Потом прочел рассказ о Чечне – картины очень близкие к тому, о чем писал Лев Толстой, и все то же почти бессмысленное мародерство, и еще читал рассказ «Звездная сыпь», из «Записок врача». Этого рассказа вполне достаточно, чтобы понять: Октябрьская революция была неизбежна. <...>

**15 июня, воскресенье.** <...> Читал дипломную работу Анны Попеляевой «Сделано в сердце (стихи)». Эта очень сильная работа студентки Андрея Василевского опять вызывает у меня раздумья. Почему у Олеси Александровны почти нет самостоятельных дипломных работ – это все немножко стихов и какие-то бесконечные прозаические эссе с одной темой – папа и мама, бабушка, дача и собственная исключительность. Василевский просто молодец! Я сделал много пометок на последней странице работы, но все это «плюсы» и «плюсы». Редкая для современной поэзии словесная точность в ощущении современного, покинутого Богом и обществом человека. Он везде один, он сам собирает, как пазл, свой мир из деталей ближних: дача, родители, любовь, вечер, пруд, холодный одинокий ужин. В стихах Попеляевой очень мало литературы, но много наблюдений и в первую очередь над собой. Не знаю, что цитировать. Хорошо, молодец!

**16 июня, понедельник.** <...> Утром прочел диплом Виктора Паршина, парень пьющий, но добрый и талантливый, и выселяли его из общежития, и выгоняли из института – диплом хороший. Первое ощущение – книга человека искусства. Поэзия явно мужская, жадная, властная. Или я в искусстве, или – никто. Пометил на тексте много отличных мест. «Я ладонь собираю в железный кулак, на корню уничтожу в себе конформиста... И рабочий мой стол, как слесарный верстак...» Мрачный пьющий талант. <...>

До того, как уехать в Институт, опять читал книгу замечательных мемуаров Ирины Мягковой. Опять наткнулся на эпизод с Марком Захаровым, который публично жег свой партбилет. Еще раньше, это есть где-то в дневниках, я узнал, что для этого театрального сожжения в мастерских театра бутафоры сделали макет, его и жгли. Но вот теперь и новая трактовка того же эпизода.

«Легко было Марку Захарову во время перестройки сжигать в прямом эфире ТВ свой партийный билет, когда он уже все получил и членство в партии ему было уже не нужно. Поэтому что-то постыдное и конъюнктурное виделось в этой его публичной акции. Конъюнктурное даже в большей степени, чем вступление в сплоченные ряды в свое время».

Днем начались защиты. Ребятишки, прослышав о моей строгости с дневным отделением, сгрудились в зале заседаний Ученого совета, как испуганные овечки. Как ни странно, но – четыре «пятерки» и два «четверки». Пятерку получила и студентка Самада. Удивили рецензии Саши Сегеня и отчасти Галины Седых. Саша, по-моему, просто в текст не вчитался и вся социальная суть от него ускользнула. Я публично, приведя примеры, с оппонентом не согласился. Галя утонула в мелочах. Литература уже давно становится другой и больше всего начинает бояться так называемой литературы.

**17 июня, вторник.** Утром – дипломная работа, а потом зарядка, каша и радио. Мне опять досталась дипломная работа семинаристки Андрея Василевского М.Е. Кондратенко «Искусство примечания. (Критическая проза, поэтический перевод, авторский комментарий)». Диплом огромный – 75 страниц, но никакого раздражения, прочел просто с наслаждением. Все интересно – юношеское обращение Эзры Паунда к переводам и подражаниям провансальских поэтов. Три эссе о русской литературе – Чехов и Гоголь, «Лолита» Набокова и «маленький человек», высказывание о «Вечере у Клэр» Газданова, которого я так и не прочел. И собственно перевод поэмы Томаса Кэрю «Восторг» – это время Карла I, имя мне ранее незнакомое, но все по-настоящему интересно. Здесь не качающаяся беллетристика, а настоящий, то что мы называем, интеллектуализм. Уровень высокий, моей эрудиции не хватает, чтобы судить обо всем точно и справедливо, интуиция утверждает, что есть некоторые натяжки и в трактовке героев Чехова, и героев Гоголя, и героев Набокова, сближения чуть притянуты. Но как гипотезы они даже блестящи. Это развивает сознание и поднимает самооощущение человека. Перевод Томаса Кэрю я тоже, конечно, сглотнул, но, когда заглянул в приложенный английский текст, у меня возникло ощущение, что в авторской версии все значительно легче, стремительнее и эротичнее. Вспомнил недавно читанный перевод Татьяны Гнедич «Дон Жуана» Байрона, ближе к этому...

Диплом блестящий, но у автора было много чего в запасе. В том числе и из прожитого в искусстве и в жизни.

Днем состоялась защита – три «пятерки» и две «четверки». Защита была небезынтересной, у меня возникла полемика и с Толкачевым и с Николаевой из-за формального прочтения студенческих текстов. Умница Толкачев в моем споре с Олесей Александровной встал на ее сторону. Поняла ли она скрытую иронию его «перебежки», не знаю. Текст всегда воспринимается в общем контексте, когда реперные точки восприятия могут далеко отстоять друг от друга и при просмотривании «мельком» не читаются. <...>

**18 июня, среда.** Ходил в Сбербанк, чтобы оплатить недоимки за охрану, сменить банк – его закрыли, – в который надо вносить плату за гараж. Наверное, только у Медведева, пропагандиста обслуживания через Интернет, все работает. В Сбербанке система входа в коммунальные платежи была отключена. Это уже не первый раз и о таком же случае я уже писал. Моего затраченного даром времени Сбербанку не жалко! Вот оно расхождение теории с повседневной практикой. Вслух и громко устроили пленительный скандал. Присутствующие с удовлетворением слушали. Я даже думаю, что многие вспомнили Грефа и бонусы и зарплаты, которые назначили себе банковские руководители. <...>

**19 июня, четверг.** <...> В три часа состоялся Ученый совет – голосовали на должность довольно много людей. Зоя Кочеткова делала

отчет по экзаменам и дипломам на заочном отделении. Потом Л.М. все-таки прочла отчет о последней ревизии Министерства – на сам отчет нам все-таки взглянуть не дали, среди прочего в отчете и пассаж о Б.Н. Тарасове, которому пришлось вернуть в кассу за одновременное руководство Институтом и кафедрой. Не положено. Как любовь к деньгам иногда портит репутацию! На совете я говорил о дисциплине, об ответственности перед студентами.

**20 июня, пятница.** Начну-ка с искусства. «Московский комсомолец» – купил и видел – опубликовал информацию с сайта Министерства культуры, статью о заработке наших деятелей искусства. Статья сдобрена призывом: не завидуйте. На всякий случай делаю выписки. Самый у нас зарабатывающий – это Валерий Абисалович Гергиев. Он и хударк Мариинки, и главный дирижер Лондонского симфонического оркестра, и руководитель двух фестивалей, у него, правда, акции крупного российского производства индеек – набежало 164,3 миллиона рублей. За ним Владимир Спиваков – 58 миллионов и Башмет – 8,906 миллиона. Зарботки Евгения Миронова – 27,6 миллиона и Олега Табакова – 42,6. В статье, призывающей не завидовать, есть соображение, что за рубежом этим же людям платили бы еще больше. Я думаю, это не совсем так, и нужны ли эти люди за рубежом.

В 11 часов начали защиту последней семерки наших студентов-заочников. Здесь студенты И. Ростовцевой, А. Рекемчука, С. Толкачева, вел все Андрей Михайлович Турков, поэтому я мог следить за всей ситуацией. Еще раз поразился уровню и широте наших преподавателей. Все отзывы были продуманы, широки, без мелочных придирок. И Саша Сегень – «при всем моем неприятии содомии» – повесть о любви двух девочек – был на высоте, и Олеся Александровна, и И.И. Ростовцева – «в поэзию Евгения Коробкова вносит понятие поступка». О квалификации Л.Г. Барановой-Гонченко – «мат всегда отвлекает от настоящего», Г.Н. Красникова и Паши Басинского я уже не говорю. Чем поэт или критик квалификацией выше, тем почерк его добрее. Много было интересного и в других выступлениях.

Завтра я уезжаю в Пятигорск как председатель Государственной комиссии – защищаются переводчики. Еще зимой я согласился на эту поездку, полагая, что таким образом мне удастся уйти от изнуряющего чтения тридцати работ заочников, а читаю я все от начала и до конца, приблизительно не умею. А вот теперь ехать на четыре дня не хочется, и там работа, и еще впереди аттестация студентов. <...>

**21 июня, суббота.** С некоторым запасом, чтобы наверняка не опоздать, вышел из дома, чтобы ехать в аэропорт. Все было точно рассчитано, но человек предполагает, а располагает только «Аэрофлот». Самолет не вылетел ни в 19.20, ни, как объявили, в 20.20, ни в 21.50. Пассажиры довольно быстро узнали, что с самолетом неполадки, к нему подъезжал наряд МЧС, потом наряд пожарников, машину отбуксировали, видимо, неисправна, но пассажирам что-то ввали, гоняли с одного этажа на другой, потом объявили, что вылет в 6 утра. Возникло несколько слабых скандалов. В результате их я сначала добыл талон на бесплатную бутылку воды, потом – талон на 490 рублей, чтобы поесть в любом кафе «Шереметьева». В час нас отвезли в хорошую гостиницу в аэропорту, но через два часа подняли. Вряд ли кто-нибудь уснул. Главное достижение здесь – это умение что-то выудить, полагающееся по закону, из компании. Вслух и официально ничего не объявляется, но, когда просишь талон, на стойке не отказывают. Главное, оказыва-

ется, знать. С какой ненавистью в глазах выдал мне талон на питание представитель «Аэрофлота»! Будто я граблю не только компанию, не самую дешевую в мире полетов, но его лично. С присущей мне подозрительностью и недоверием, сразу сообразил, как можно с выгодой для аэропортовых торговых работников и выдавальщика талонов получать дополнительный доход.

Гостиница была чудная, дорогая, жалко, побыл здесь мало.

Как ни странно, я особенно не страдал. Я даже люблю эту отстраненность от жизни, которая возникает где-нибудь в аэропорту. Здесь можно спокойно почитать, а потом и поговорить о жизни со случайным попутчиком. Сколько же в стране всего происходит!

Сразу же, достав шестой номер «Нового мира», который только что мне дал Андрей Василевский, принялся его читать. Начал, конечно, со статьи Аллы Латыниной, которую она написала о новом романе Захара Прилепина о Соловках и узниках знаменитого лагеря СЛОН. Как всегда, статья Латыниной хорошо оснащена, интересна, с многими течениями. Если коротко, она раздражена отдельными мыслями Прилепина. Хотя бы тем, что он утверждает, что не совсем-то уж – скажем мягко – ни за что сидели в лагерях политические узники. Раздражена, что Прилепин с его романом, который читается и продается, не из ее либерального лагеря, что слишком многое в романе, несмотря на ряд, с точки зрения Латыниной, нестыковок, получилось, и получилось блестяще. Немножко досталось в статье Володе Бондаренко, который одним из первых роман рецензировал.

Роман, конечно, в ближайшее время и как попадет, стану читать. <...>

Не хочется, конечно, аннотировать весь «Новый мир», посмотрел мельком, но по всей конструкции и набору авторов он все отчетливее превращается в журнал еврейской интеллигенции. Так складывается наша литературная жизнь.

Во время очередного перемещения нашего экипажа пассажиров от одной стойки регистрации к другой, разговорился с еще одним, как и я, горячим активистом прав пассажиров. Оказался врач-реаниматолог и акушер в одной из местных больниц. Наговорились всласть. Во-первых, узнал много нового о здоровье трудящихся, о состоянии наших городских и районных родильных домов, тех, которые пока не оказались в зоне взгляда телевидения, покорно шествующего за президентом. Есть, конечно, аппаратура, но часто нет лекарств, нет обслуживающего персонала, к любому самому тонкому аппарату приходит все один и тот же дядя с отверткой и клещами. Много говорили о воде, питании. Звать парня очень незатейливо – Иван, у него трое детей, интересная биография, отец священник. В наше время почти из любой биографии можно сделать роман.

В Минеральных Водах – чистый, ухоженный аэропорт, утро, несколько горных кряжей на горизонте. Меня, как и обещали, встретили. Очень милый, немолодой, как и я усатый, просторный Вячеслав Иванович. Впервые я здесь, из окна автомобиля, огляделся: огромная долина, как бы очерченная несколькими горными вершинами.

Живу в общежитии, в хорошем номере для важных, видимо, гостей, все есть, даже набит продуктами холодильник. Утром начал с банки «каймака», я никогда подобного не пробовал; уже съев двухсотграммовую порцию, надел очки и обнаружил на этикетке надпись: жирность 20%. Немножко поспал – все время с ощущением, что чего-то не успею.

Тем более что когда ехали из аэропорта, неподалеку от общежития видел некий солидный, в античном стиле портал и надпись: «Место дуэли М.Ю. Лермонтова».

Пятигорск город чудный, зеленый, город-парк, на центральной улице, где мое общежитие, насчитал как минимум три вуза. На другой стороне, через дорогу «Макдональдс» и несколько ресторанов. Обедал в каком-то павильоне, на террасе с названием, кажется, «Хачапури», съел роскошное, лучшее в мире, харчо и салат из овощей – 280 рублей. Сидело несколько мужских компаний – на столах много еды, минеральная вода. Не пьют, вот поэтому, видимо, так активно размножаются. Молодцы.

Здесь все в парке. «Место дуэли» действительно у подножья горы Машук, метров пятьсот от основной улицы – улица Калинина – Пятигорска. Большая зеленая, вымощенная красивым камнем, поляна. Здесь же обелиск с бюстом поэта. По углам площадки, на которой его поставили, нахохлившиеся, плачущиеся орлы. Это один из лучших памятников поэту, который я видел. Здесь же еще и небольшой памятный знак – место дуэли. Вспомнил «Героя нашего времени», пожалуй, мой любимый русский роман, и сцену дуэли. Как же надо уметь предсказать собственную смерть! Но и жизнь тоже. В 26 лет уже стать великим поэтом и написать такой роман. Я-то представляю, сколько за всем этим еще и работы, а наши студенты и молодые гении думают, что великий поэт танцевал мазурку и скандалил на великосветских балах, а все родилось как бы само по себе. Но ведь сколько надо потратить бессонных ночей и вечеров, чтобы без компьютера написать столько страниц!

Весь оставшийся день спал в общежитии и смотрел телевизор. Сегодня день начала Великой Отечественной войны. По телевизору днем огромная передача, в том числе и об американской помощи, о ленд-лизе. Впервые, пожалуй, так много было сказано о потоке машин, самолетов, пушек, танков, который шел из-за рубежа. Война уже далеко – наступило время объективизации былого. Вечером – опять Украина, лучше там не стало. В аэропорту от кого-то я слышал, что из этих кавказских мест каждую неделю уходит огромная фура с гуманитарной помощью: медикаменты, еда, вода, одежда. Видимо, на Юго-Восток просачиваются и российские добровольцы. Также из разговоров: уже обратно в эти места привезли чуть ли не 20 гробов.

**23 июня, понедельник.** В 10 часов, как договорились накануне, пришел Вячеслав Иванович, но до этого я успел сделать зарядку, позаниматься языком и что-то вписать в Дневник. Университет рядом, сходили вместе на кафедру, дипломы мне принесут вечером, их всего семь – это группа переводчиков. Все девочки, много армянок. Оказывается – это уже из дальнейших рассказов – в Пятигорске армян чуть ли не 40 процентов жителей, здесь и старая колония армян-переселенцев, еще ермоловского времени, и много от молодой волны, это уже переселенцы из Карабаха. «Старые армяне» – это в основном врачи, учителя – интеллигенция, «молодые» – переселенцы поглубже, понеотесаннее, крестьяне. Между этими двумя группами отношения не всегда складываются.

К национальному вопросу, хочешь не хочешь, я еще вернусь, пока – университет. Здание сравнительно новое, содержится в порядке, народа много, молодого, отчаянного; как я понял, кроме иностранных языков, здесь еще учат всему: туризму, гостиничному делу, готовят журналистов, педагогов, вроде бы собираются в этом году еще открыть и

юридический факультет. Если еще взглянуть на общежитие, в котором в «профессорском номере» я живу, то с материальным состоянием нашего образования все обстоит не так плохо, как мы все об этом толкуем. Наверное, хуже с его социальной и научной составляющей. На ЕГЭ мы уже обожглись, инженеров как людей, работающих не в банке, а на производстве, о чем совсем недавно заговорил и Путин, напрочь повывели, теперь беремся за гуманитарную составляющую. Ее наши начальники наверху совсем не просматривают, не понимают ее истинную значимость. Вячеслав Иванович говорит, что в этом году бюджетные места по литературному мастерству, переводу вообще сокращены. Если будут набирать, то платных студентов. А, как я понял, на Сочинской Олимпиаде, в качестве волонтеров, работавших со спортсменами-иностранцами гостями, работали в основном гуманитарии из Пятигорского лингвистического университета. На слепой стене общежития до сих пор висит огромный плакат – «Волонтерский центр».

На кафедре пробыл недолго, почти сразу Вячеслав Иванович повез меня на экскурсию. За рулем молодая женщина, видимо, близкая моему хозяину – она же была за рулем и вчера утром, когда меня встречали, – Марина. Она доцент, преподает гражданское право, юрист, у нее дочь 15 лет.

Экскурсию, заканчивающуюся хорошим кавказским обедом с шашлыком, лобио, зеленью и чаем с вареньем из инжира и молодого грецкого ореха, описать трудно, так много здесь интересного. Но какой край, какова была мощь и уверенность империи, если в довольно необжитых местах она позволила себе и смогла выстроить такое роскошное и изобильное курортное и житейское место!

Постепенно начал ориентироваться в этой огромной долине, начинающейся чуть ли не с Курска и упирающейся в Кавказские горы в ее завершающей части. Здесь четыре больших и вполне самостоятельных города, каждый из которых лежит у подножья огромной горы. Пятигорск – у подножья Машука, Ессентуки возле Бештау, но есть еще и Железноводск и Кисловодск. В каждом из этих знаменитых городов – своя база лечения, своя специализация. Пятигорск, кажется, опорно-двигательный аппарат, Ессентуки – желудок, Кисловодск – сердце. Но все это надо видеть.

Собственно, подробнее всего я увидел легендарный Кисловодск с его огромным парком, еще недавно бывшим самым большим в Европе. Но вот что-то расширила Австрия, и теперь мы вторые, но какая красота. Какой лес возник на каменистом плато, поднимающемся в гору! Какие павильоны, курзалы, какая роскошная галерея для принятия лечебной воды в центре городка! Какое огромное цивилизационное влияние оказали на народы Кавказа эти заведения, привычки европейцев, сама русская жизнь, уже тесно приобщенная к Европе. Город просто роскошный, очень похожий по архитектуре на Ялту. Это я еще не видел цепи санаториев, окружающих центр и парк. Здесь, как и в Пятигорске, огромные, хорошо сохраняемые терренкуры, идущие под сенью вечной зелени. Совсем недаром, как говорят, басовитый лидер коммунистов Геннадий Зюганов бывает в Кисловодске чуть ли не шесть раз за год. Ходит, играет в волейбол, дышит, – умеет жить!

Можно было бы написать поэму и о нашем обеде. Впервые я увидел ресторан, где в холодной витрине выставлены полуфабрикаты, готовые сейчас же превратиться в самое распространенное на Кавказе блюдо: шашлык из баранины, шашлык из бараньей вырезки, шашлык

с косточкой, шашлык куриный, кебабы из баранины и курятины, кусочки мяса, нанизанные с кусочками сала, нанизанные на шампур овощи. Боже мой, как разнообразна жизнь! О разговорах не говорю, они были сладки как мед и поучительны, как жизнь. <...>

**24 июля, вторник.** <...> До места дуэли шел по шоссе, а потом по прекрасной, выложенной брусчаткой дорожке. Это счастье, правда, довольно быстро закончилось и дальше пошел старый, еще, видимо, советской, а может быть и довоенной поры, растрескавшийся и расползавшийся асфальт. Он шел – дорожка! – вдоль тоже делающего большой круг шоссе, оно хорошо ухожено, двухрядное, со свежей разметкой. Правда, на определенном расстоянии стояли скамейки для отдыха и урны для мусора, которые, как было ясно, иногда чистили. Но вокруг, затеняя и шоссе, и дорожку терренкура, бушевала невероятная кавказская зелень. Пели, каждая свою песню, птицы. Зелень еще молодая, разукрашенная золотыми просвирками солнца. Все пустынно, но не страшно, шел без боязни. Здесь, как и вообще в этих кавказских краях, все ходят без боязни, человеческие джунгли перенесены в большие города.

К сожалению – это в высшей степени непонятно – терренкур не размечен, нет и ясного с указанием километража плана, ни прописей о пройденных километрах. Сколько же прекрасного и еще незапятнанного в стране пространства!

Где-то через два-три километра встретил огромный, видимо, в свое время брошенный, но ныне восстанавливаемый пионерский лагерь. Корпуса с выбитыми стеклами, но еще цела, отделяющая лагерь от шоссе, решетка. Через нее видна большая, не битая, скульптура Ленина, а рядом с вождем, также выкрашенный немеркнувшей серебрянкой, мальчик в пионерском галстуке.

Дальше, за лагерьем, заканчивалось двухстороннее шоссе, превратившись в одностороннюю старую дорогу, и до некоторых пор сносное состояние дорожки терренкура, она разъехалась, асфальт расползся. Но поразительная свежесть, пение птиц и ощущение райского состояния природы оставалось.

Возле дороги встретил какой-то памятник, хорошо ухоженный, с покрашенным основанием ограды и свежими венками. Я почти сразу догадался, что это памятник военного прошлого, но подумал, откуда ему здесь взяться, вряд ли здесь шли позиционные бои. Бои, наверное, действительно не шли, но убийства происходили. Как обычно, – перехожу в городе даже на другую сторону улицы, чтобы установить, кому принадлежит мемориальная доска, – спустился со своей дорожки на шоссе, потом сделал несколько еще шагов. Здесь во время войны, в 1943 году было уничтожено 63 человека – немцы убили, естественно! – взрослые мужчины, женщины, старики, дети.

Мое предположение, что на Северном Кавказе курортное дело потихонечку сворачивалось, оказалось не вполне справедливым. Очень скоро тропинка пошла вдоль какого-то военного санатория, уползавшего вверх в гору, а когда территория здравницы закончилась, то вскоре пошли людные места, и я, спросив, как мне идти дальше, вдруг услышал слово «провал».

Я сразу понял, что это тот самый, возле которого Остап Бендер решил продавать билеты. Честно говоря, я думал, что это какая-то яма или резкий скалистый обрыв, с которого виден город. Обрыв рядом есть – вид на город, полный и высоких современных зданий в центре

и множества небольших домиков по окраинам, но Провал – это нечто другое. Эта некая устроенная в горе горизонтальная штольня, заканчивающаяся шахтой, ведущей к небольшому в теле горы озеру, собственно, почти подземному. В XIX веке вас могли еще спустить в корзине вниз, и вы могли поплавать. Бендер еще видел «дикий» Провал. В наши дни возле него – уроки Бендера не пропали втуне – колоннаду, портик, все закрыли, продают билеты. Есть даже железная дверь с замком, чтобы безбилетники даром не глазели. На мое счастье, дверь была закрыта, замки и затворы задвинуты, Провал не работал.

Но самое интересное и важное для меня – почти над Провалом огромный санаторий, кажется, с названием «Родник». Несколько огромных корпусов. Родник тоже есть: если подойти к балюстраде, которая окружает площадку с Провалом, то под ней в каменных выдолбах и природных ваннах в легком белье – в основном женщины – принимают ванны, мочат ноги, переговариваются. Мне кажется, что это лечебная самодеятельность, в санаториях все по-другому. Здесь лечат опорно-двигательный аппарат, в Кисловодске – сердце. Кстати, «Нарзан», который я пил прямо из бювета, практически никакой пользы не приносит, но еще раз, какая цивилизационная польза от этого огромного курзала, сколько замечательных привычек наблюдательный человек может вынести, оглядываясь вокруг. <...>

**25 июня, среда.** Утром на минуточку забегал Вячеслав Иванович, обсудили разные дела, и я получил совет: сегодня идти к горе Машук по иному пути. Мечта идиота осуществилась – Машук взят в кольцо. К моему удивлению, нашлась тропа терренкура и с этой стороны. Если вчера шел по теневой стороне, то сегодня пришлось путешествовать по солнечной. Справа все время через листья деревьев светило радостное солнце. Справа был город, которые все время разрастался, высвечивались разные подробности. Гора Машук, оказывается, освоена, как приусадебный огород.

Конечно, как и с другой стороны, тропа терренкура тут старенькая, кое-где осыпалась, но за ней все-таки следят; здесь уже нет скамеек, но расставлены мусорные урны. Правда, народа на удивление мало, возможно, это не то время, когда курортник выходит худеть. В одном месте вдруг над головой что-то пролетело – я обнаружил, что на вершину проложена и канатная дорога. Но это, если здесь возят пассажиров, а не только обслуживают телебашню на вершине, – в следующий, дай бог, раз.

Дошел, как и в прошлый раз, но с другой стороны, до санатория «Родник» – здесь много зданий и новой и старой постройки. Очень хороша архитектура старых спальных кирпичных корпусов и дерзко взмывшего вверх нового панельного корпуса с большими балконами. Больше всего понравился «Пироговский ванный корпус». То, что вчера промелькнуло мельком, когда ехал на машине, теперь, в пешем походе, вытянулось в длинную линию достижений и труда наших предшественников.

Решил снова дойти до площади, где находится знаменитый Провал. Дошел. Как мы иногда скоропалительны в своих выводах! Провал работает, вход бесплатный. За железной, запертой еще вчера дверью, длинная штольня-проход метров в пятьдесят, а за нею – небольшое озеро, подсвеченное сверху большим природным «окном»; пахнет – как вода в Сочи. Вода бирюзового цвета поднимается откуда-то из глубокой щели в теле горы и потихонечку просачивается – этого уже не видно – наружу, за балюстраду площади. Там – народная купальня, несколько

выбитых в камне нор, в которых сидят или мочат ноги мужчины и женщины. Я знал, что это радон. Снял сандалии и тоже минут пять посто-ял. <...>

Вечером еще раз на час ходил погулять в «сторону Лермонтова» – это рядом. Вечером вдоль шоссе много автомобилей. Это как на неаполитанском Корссо – приехали себя показать, потому что другим ничем себя занять не могут. Местная мода – это летящий с ревом и «прига-ром» автомобиль и дурная западная музыка на все окрестности. <...>

**26 июня, четверг.** <...> Сегодня защита дипломных работ. Я практи-чески ничего не писал об этом раньше, прицеливался, делал пометки – прочел все, а каждая работа почти 100 страниц, но еще вечером, когда прочел самую последнюю, то решил, что всем девчонкам надо ставить «отлично». <...> Все основные тексты, которые я прочел, на очень не-плохом уровне. Пишу основные, потому что кроме собственно перевода художественного произведения дипломная работа – это коварство про-винциального университета, постаравшегося сделать и лучше и круче, чем в Москве, – итак, работа содержит еще некое обоснование: почему выбрала, со всякой литературоведческой чушью, и заключение, где тоже в разжиженной журналистской манере намотано о трудностях, которые испытала. Все мои претензии, а может быть, и злость, сосредоточились на этих, написанных из-под палки, с неохотой, «вводных».

Сами тексты я читал с некоторой даже жадностью, это другая лите-ратура, иные ходы, на всякий случай помечаю даже у себя в Дневнике. Не только же московским красоткам ходить у меня в героинях.

*Кравченко Василиса.* Рассказы Эхуда Хавацелета. «Гуров на Ман-хэттене» и «Как нигде прежде». Ну, естественно, про еврея-эмигран-та, который преподает, старый, у него большая собака Лермонтов, все время сопоставляет себя с героями литературы. Второй рассказ – «Как никогда прежде»: еврей Бирнбаум летит к сыну, который хорошо устро-ился, но сыну он в тягость. Все хорошо прочувствовано и неплохо переведено.

*Воробьева Василиса.* Перевод рассказов Джойс Кэрол Оутс. Я про-чел первый рассказ «Опознание» – молоденькая девочка, из школы, едет с полицейскими в морг на опознание трупа матери. Вся картина американской жизни, мать работала крупье, убил ее, скорее всего, отец девочки, дезертир из армии.

*Кусраева Лиана.* Рассказы Деборы Леви. «Черная водка» и другие – американский быт евреев, довольно интересно. Возьму с собою в само-лет рассказ «Вена», который я не успел прочесть. Вообще еврейской темы немного многовато. Кажется, девочки все брали из одного сбор-ника, где была надпись, что лучшие рассказы. Я объяснил, как иногда эти сборники бывают тенденциозны.

*Демченко Елизавета.* Главы из романа, скорее рассказы Дженнифер Игн «Выход из тела». Прекрасно сделанный перевод – современная мо-лодежь, девушка Саша. Второй рассказ – о том, как эту Сашу едет ис-кать в Неаполь ее деверь-искусствовед. Каждый день он телефонирует жене о своем поиске, а сам в музее разглядывает знаменитые скульпту-ры. Кажется, это почти единственный текст без еврейской темы.

*Шиловская Инна.* Рассказы Стивена Мильхаузера. Это очень занят-ные рассказы-фантомы. Здесь же образ жизни Америки. У девочки хо-роший язык.

*Гурьянова Анастасия.* Перевод рассказов Сэма Липсайта «Мастер подземелья». Это прекрасное сочинение о молодежи, играющей в ком-

пьютерные игры. Все написано очень хорошо, но все почему-то так быстро забывается.

*Абозина Анна.* Переводы рассказов Аллегры Гудман. Первый рассказ «La Vita Nuova» – еврейский быт, мальчик Натаниель и его няня, практически везде и любование, и критика еврейского устройства и быта. Второй рассказ чудо как хорош. Еврейская семья узнает, что состоится выставка, посвященная покойной сестре хозяйки. Покойная была натурщицей. Чудо как рассказ хорош.

Вкратце упомяну об атмосфере экзаменов, о посиделках на одной из кафедр, где состоялась предзащита, о прекрасных, милых и интеллигентных профессоршах, о том, как вечером девочки принесли мне подписывать дипломы и какие-то замечательные тефтели. Как бы мне все съесть.

В бухгалтерии меня рассчитали, дали полторы тысячи почасовых и одиннадцать тысяч за билет. Командировочных за шесть дней, кажется, не выдали. А уж к своей бухгалтерии я, конечно, обращаться не стану.

**27 июня, пятница.** <...> В шесть уехал – провожали и отвезли на аэродром Вячеслав Иванович и Марина, – а в половине девятого улетел. Прекрасный аэропорт, нормально работающие службы, через два часа был в Москве и довольно быстро добрался на электропоезде и метро до дома.

Дома меня ждали тушеные с лучком, морковкой и сметаной кабачки.

К четырем часам приехал в Институт, подписал чуть ли не семьдесят экземпляров своей книги «Власть культуры» выпускникам-заочникам. Книгу вручали вместе с дипломами в большом зале на заочке. Прекрасные ребята, ощущение праздника и большого дела. Собрались и наши преподаватели. Говорили Вл. Костров, Ген. Красников, Вл. Смирнов. Как один из выпускающих мастеров хорошо говорил Толкачев. Я ощущал, как ребята его высоко ценят и уважают. Даже немножко заревновал. У нас на очном отделении выпускники к мастерам относятся по-другому, преподы для них часто это некое препятствие к быстрой славе, наставились здесь, застыт.

Костров уже много лучше, хотя ходит с палкой, поправился, Галя его вытащила с того света.

Еще до собрания говорили в заочном деканате. Бывший ректор уехал в командировку в Нижний Новгород, по делам итальянской премии. Думаю, что еще устранился и от выпускников. Наверняка Царева выписала ему и проезд, и командировочные. Как-то в общем мнении сошлись, что сплотка Тарасов–Царева нерасторжима, они многое друг про друга знают, чего не знаем мы. Двух командиров из особняка я тоже держу в уме. А чего мне на старости лет стесняться?

*Продолжение в следующем номере.*

## Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гран-при телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад побед», 1995 г.), гран-при фестиваля «Зодчество-98» («Архотека»). Автор трилогии документальных фильмов «о человеке, земле, воде и дереве»: «Сделай себе ботник», «Черная глина», «Сила Кориолиса».

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

## ЗВУК

У меня три пары беруш: для дома, для дачи и походные. Палатку я ставлю всегда подальше от костра. Иногда метров на пятьдесят отойдешь – все равно слышно, как поют под гитару на весь лес.

Но я не собираюсь писать про бардовскую песню. И беруши – это так, для разгона. Чтобы читателю было понятно, с кем имеет дело. То есть по части звука я больной на все уши. Не в том смысле, что у меня какой-то особенный слух или какой-то там изысканный вкус. Просто в последнее время я могу спокойно слушать только Старостина. Не знаете, кто это? Наберите в Яндексе: Сергей Старостин, музыкант.

А начать, наверное, нужно издалека.

В Кинешме через Первую Напольную, на которой мы жили, гоняли стадо коров, и я запомнил звук рожка: с него начиналось утро. Кинешма была большой деревней, но мои родичи были врачами, учителями, я вырос городским и только на фольклорной практике услышал голос деревенской песни. Было жарко, мы шли через поле по пыльной дороге, я не мог открыть глаз и держался, как слепой, за Женькино плечо – не из-за пыли: цвел мятлик луговой, метелки трав сеяли пыльцу, глаза резало так, будто в них сыпанули стеклянного перца, чесалось в горле, в ушах, в носу. Сенная лихорадка. Глаза открыл только в избе. И сразу закрыл: горница была пронизана светом, в лучах, бьющих сквозь частые окна, горел на хозяйке васильковый халат. Так и слушал с закрытыми глазами, потому и запомнил, наверное, слово в слово.

На колодчике, на скрипучиим,  
на болотичке, на топучиим.

На болотичке на топучиим  
добрый молодец  
своего коня поил.  
Не коня поил – он жену губил:  
– Не губи меня раным с вечера,  
Не губи меня раным с вечера,  
а ты губи меня со полуночи,  
Ты губи меня со полуночи,  
когда детки все  
спать улягутся.

Она пела еще что-то, но в памяти отложился только колодчик: этого было достаточно, чтобы понять, из какой глубины звучит деревенский голос.

Однажды в Амстердаме, куда мы пришли на большой деревянной лодке, капитан повел меня в Русский клуб, где за круглым столом сидели голландцы, немцы, две француженки и одна индианка: русская певица учила их народным песням моей далекой страны. Собственно, мы-то надеялись пожрать на халяву, а нам раздали голоса. Это была старинная поморская песня про белорыбицу. Мы с капитаном хрипло загудели в унисон: «Ой вы, ветры-вещарочки, полудённы вихарочки, ой вы лей, лёли-лёли, ой вы лей, лёли-лёли...». И я решил, что если найду в Нижнем настоящий народный хор, буду в нем петь.

Хор я нашел в этнографическом музее на Щелоковском хуторе. Ходил на все их праздники, на Масленицу, на Троицу, подпевал, приплясывал, кружился в хороводах. Девушки в сарафанах, парни в рубахах навыпуск, в сапогах гармошкой – все им было в пору, все к лицу, а я себя в таком наряде даже представить не мог. Мне объяснили:

– У вас, наверное, предки городские? А у нас, у всех, кто собирает фольклор, корни деревенские. Мы собираем свое.

Дело вовсе не в наряде. Тебя и в джинсах пустят в круг, и руки протянут, но ты для них все равно чужой. Ничего с этим не сделаешь.

Лет десять назад дочь привезла из Нью-Йорка диски, на которых черным маркером были написаны какие-то английские слова. Сказала – подарил питерский приятель, эмигрант, музыкальный фанат. Прошло два года. Случайно наткнувшись на пачку этих американских дисков, поставил один – с надписью «At Home». Какой-то человек рассказывал про пастуха. Этот пастух, уже старик, прекрасно играл на рожке. И этот человек, рассказчик, в молодости своей, когда еще учился в консерватории, встретился на фольклорной практике с этим пастухом и решил попробовать на рожке. И ничего у него не получилось. Он не мог понять, как же так: вот он уже прикоснулся тайн высокого искусства, играет на кларнете, а не может повторить то, что легко выдувает через коровий рог деревенский мужик. И так это его забрало, что он бросил консерваторию ради той бездонной глубины, что открылась ему на вечерней зорьке, когда старик первый раз сыграл ему запевку: та-ра-ра-ра, та-ра, ра-ра-ра...

Костяной звук рожка ворвался в комнату, я вспомнил нож, которым дед разрезал бумагу, он был сделан из слоновой кости, его все время хотелось трогать и гладить, и звук рожка уже через минуту не казался мне резким, в нем проступило эхо морской раковины, которую мама привезла из Крыма, а я в нее гудел и слушал шум прибора. Стены раздвинулись, уже не было никаких стен, был высокий берег реки, крутояр,

в воде отражались елки и сосны на том берегу, подсвеченные закатом. Человек с диска отложил рожок и взял гусли, потом какую-то свистульку. Он пел, играл и все время рассказывал – так ровно, спокойно, словно сидел сейчас у меня в комнате, а не где-то там когда-то в каком-то большом зале. Люди хлопали, смеялись, их было много. Особенно всем понравилась колыбельная, которую бабушка этого человека пела ему в детстве, а он засыпал, не дождавшись конца, – про то, как пошел Козел за лыками, а Коза за орехом. В конце своего выступления человек сказал:

– И за то, что вы выдержали все-таки это испытание тяжелое, для вас сюрприз.

Попробую передать словами, что со мной произошло. Мой любимый писатель Анатолий Андреевич Ким говорит: возраста нет, старости нет, времени нет. Смерть есть. Но есть и бессмертие (именно так, через з). Мне в тот момент было уже сильно за пятьдесят. Бабушкино зеркало, огромное трюмо от пола до потолка, отражало мою фигуру, и в какой-то момент я увидел свое отражение. Оно плясало, кричало и плакало.

Это была «Буэна-Виста», наивная песенка про Чан-Чана, по уши влюбленного в Хуаниту: «Из Альто Седро еду в Маркане, А из Куэльто еду в Майари, То, что ты любима мной, От тебя мне не сокрыть. Я все голову теряю, Но мне надо дальше жить...» – в общем, вечная тема.

В детстве я без конца ставил пластинку, на которой в красном круге было написано: «“Тоска любви”, албанская песня». Рудольф Стамбола пел о том, что не передашь словами. Может быть, поэтому до сих пор нет русского перевода албанского танго «Тоска любви».

Еще из детства: Лемешев по радио на русском языке поет арию Каварадосси. Я знал, что название великой оперы нужно произносить с ударением на первом слоге, но в голосе певца жила не Флория Тоска, а тоска любви: «Услышал я шелест одежды, и вот вошла она и на грудь мне упала. О, сладкие воспоминанья! О, где вы, ласки, объятья и страстные лобзанья?!» Все эти ласки и лобзанья меня мало трогали, а вот шелест одежды... Дерево сбрасывает листья, как женщина платье, горькая сладость любви пахнет осенним костром, я это понял очень рано.

Так вот, «Буэна-Виста», разбитые кубинские машины, бельё на балконах, обшарпанные стены старых домов, пыльные пальмы... Труба, рояль и контрабас, морщинистое лицо под соломенной шляпой, смуглые пальцы на струнах гитары, детские глаза стариков...

De Alto Cedro voy para Marcané,  
Luego à Cuelto voy para Mayari...

И в этот мир Гаваны вплывает голос того человека, который рассказывал про Козу с орехом, и этот голос поет:

Когда уйду, не дрогнут горы,  
И вспять не повернет река,  
И не утихнут разговоры,  
И не растают облака...

Я потом слушал «Эпитафию»\* много раз. Старостин исполняет ее в мажоре, под гусли она получается светлой. А тут – Испания с Африкой,

\* «Эпитафия» – авторское произведение Сергея Старостина.

тоска любви, горький миндаль минора... И что же? Все соединилось, слилось, сплелось: жизнь, смерть, любовь, бессмертие через букву з. Через запевку.

Если бы я не текст сейчас писал, а монтировал фильм, я бы точно знал, какую музыку сейчас подложить. Да вы сами можете это сделать, если компьютер под рукой, наберите: Старостин, Как у нас на синем море... Все сразу поймете.

Знаете, что происходит в центре Черного моря? Там нет ветра и нет волн, но нет и глади морской. Ходят под лодкой серые мышцы, бугрятся, вздуваются от напряжения, как будто густая масса энергии закипает и расходится из центра к периферии, гонит на берега пенные гребни. Как будто в полуторакилометровой глубине пульсирует сердце. Там я понял строчки:

Глаз, засоренный горизонтом, плачет,  
И водяное мясо застит слух.

То ли дело крепкий, ровный ветер, большая волна, с которой легко договориться, если поймашь ритм. Банка на корме полукруглая, сидишь на ней под углом в сорок пять градусов, правой ногой упираясь в борт. Поза нелепая, но тебе удобно. Рулевое колесо раз в десять шире автомобильного, поэтому руки у тебя раскинуты, словно ты назло Пруткову решил объять необъятное. Слева под киль заходит волна и валит мачту, уводит нос, но ты не сопротивляешься, ты даже слегка поводишь вправо рулем, поддаваясь напору волны, и как только она прошла под тобой и тебя потянуло влево, плавным движением рук выравниваешь лодку, танцуешь или гарцуешь на ней, а в общем – ликуешь, но не как покоритель Эвереста, а как рыба в воде, ласточка в небе.

Когда ставишь парус под единственно верным углом к ветру, вода вдоль бортов начинает шипеть, лодка набирает скорость, волны подталкивают ее – так тебе кажется, а может быть, и в самом деле ветер с водой решили взять тебя в долю, потому что не видят в тебе покорителя, и в этот момент ты понимаешь, что корабль от бушприта до последнего шкота сделан так, чтобы соглашаться, а не сопротивляться.

Мне трудно представить, как добрый молодец, пропахший конским потом, опухший с медовухи, губит свою жену, нарожавшую ему семерых или пятерых, но точно – много деток. Летние ночи светлые, теплые, ребятишек домой не загонишь, а дома не угомонишь, до полуночи галашатся\*. Может, и она, вспомнив молодость, загуляла в хороводе с парнями, что ж взаперти-то сидеть, чай не грех какой – хоровод-от! Да уж больно крепко держал ее за руку Васька Губарь, жал да тянул за собой, а она все смеялась, головой трясла, волосы льняные из-под косынки выбились. Что же делать: муж – господин, хочет – казнит, хочет – милует. Она свое отжила, отпела, отплясала. Лишь бы детки уснули, не видели.

Не так они говорили, конечно, а как – никто не расскажет. Это было давным-давно, давным-давно, так давно, что уж не вспомнит никто, не вспомнит, не вскрикнет, слезы не прольет, только песня одна и осталась.

Вы уж простите меня, что я с пятого на десятое перескакиваю. Я ведь про обычную жизнь пишу, в ней не бывает готовых сюжетов.

\* Галашиться (кинешем.) – возиться, шуметь, колобродить.

К тому времени, как Старостин приехал с концертом в Нижний, я уже знал, кто он такой. В антракте мы встретились, и первое, что он сказал, узнав о моей профессии:

– Телевизионщик? Надо снять фильм про ботник.

Он сделал правильное ударение – на и. Через два месяца мы начали съемки.

Несмотря на то что приходилось ползать с краном по зимнему лесу, снималось легко. Два мастера из деревни Аристово знали свое дело, им не нужны были слова, и скоро стало понятно, что слова по большому счету вообще не нужны. Еще стало понятно, что это история не про мастеров, которые рубят осину, чтобы сделать лодку-долбленку. И не про осину, которая жила-была, потом умерла, потом воскресла и ушла из леса. И даже не про любовь. Точнее, про все про это, собранное в одном слове: звук.

В зимнем лесу не шумит ветер, не поют птицы, не падает снег с еловых лап. Только перестук топора и тесла. А музыка должна быть непременно, потому что ботник – это не просто лодка. Я слышал, что на костре он распускается, как цветок, расправляет свернутые бока, разворачивает полость, в которую потом сядет человек, сменивший топор на весло. Но я не думал, что распорки – тонкие рябиновые веточки, которые упираются в размякшие на огне осиновые борта и раздвигают их, – так похожи на струны\*. Что гусли так похожи на лодку.

Мы уже закончили съемки работы мастеров, уже два ботника через затопленный лес вошли в разлившийся Ухтыш и причалили к задам Аристова. Месяц им лежать на сеновале, обсыхать. А мы едем на дачу к Старостину, в Сокольский район, там березовая роща вся в птичьих майских голосах. Кажется, сам воздух звенит. Старостин берет гусли, садится на мох, прислонившись к березовому стволу. Спрашиваю, что такое звук природы. Думает, перебирая струны. Потом берет аккорд – в роще становится тихо.

– Вот интересно, слышат ли птицы меня?

Семь тысяч труб в органе церкви Сен-Сюльпис или коровий рог с деревянным пищиком – разница только в устройстве. Пастуший рожок, парусный корабль – инструменты, так ведь? И человек, который на них играет, ими управляет, – тоже инструмент. Представьте себе нашу Землю в виде сита, через которое проходит вселенский свет. Каждая ячейка пропускает свой луч. А если не свет, а дыхание? Если вместо дырочек в сите – трубочки, пищики разной длины, ширины, кривизны, с разным количеством клапанов?

Старостин снова провел рукой по струнам, на этот раз на тон выше. Гусли вздохнули, птичий хор замер и через секунду разгорелся с новой силой – на тон выше. Старостин взял другой аккорд – та же история. Они его слышали, слушали. Тогда он сказал:

– Звук природы? Дыхание.

Что этот эпизод войдет в фильм целиком, одним планом, какой бы ни был длинны, я не сомневался, только молил бога, чтобы звук записался чисто, чтобы у оператора не дрогнули руки: меня-то самого трясло, и горло перехватило. Я же никогда не видел, как человек аккомпанирует птицам.

---

\* После фильма «Сделай себе ботник» в Суздале появился новый музыкальный инструмент – лодкострун: ботник с натянутыми в его животе струнами.

Семь тысяч рек впадает в Волгу. Не цифра заворожила Твардовского, а пространство в пол-России, которое открывается взору, когда произносишь эти слова – семь тысяч рек. Потому что каждый приток – сама Волга, как любая веточка на стволе – само дерево. И мы это чувствуем, когда слушаем или читаем «За далью даль».

Три тысячи народных песен собрал Сергей Николаевич Старостин, и все они в нем живут, текут, переплетаясь корнями, ветвями. И я чувствую эту речную систему всякий раз, когда он начинает петь. Три тысячи песен, а сколько в каждой голосов? Может ли один человек передать тысячеголосье?

Может. Я это чувствую, почти слышу. Не я один, разумеется. И он, конечно, не один такой на белом свете, но мне ближе всех, потому что я в детстве просыпался от звука рожка. Через этого человека я слышу дыхание природы, потому что народ был частью природы в те времена, когда песни текли от народа. Он сам – инструмент народа, которого больше нет. Как же мне было не посадить его в ботник и, дождавшись, когда он освоит технику гребли одним веслом, не крикнуть:

– А если спеть?

И вот он плывет по черной, покрытой майским пухом реке, в черной лодке, под шум берез и птичий гомон, вот он поет, и как же не взять это в фильм про звук, которым дышит природа, как же не взять его голос, его запевку, для которой кубинская ли, африканская, грузинская, украинская мелодия так же близка, как музыка Генделя, Баха, Бетховена?

Ах, если б вы знали, как это мучительно – всю жизнь дожидаться мгновения, когда этот звук пройдет через сердце и ты почувствуешь себя трубой в органе, своим в хороводе, водой в деревянном колодце, парусником в Черном море, певчей птицей в майском хоре!

## Александр БОБРОВ

Александр Александрович Бобров родился в 1944 году на станции Кучино Московской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор 27 поэтических сборников, нескольких книг прозы, ряда авторских телепрограмм. Кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Русский Дом», лауреат премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» и премии им. Ал. Фатьянова «Соловьи, соловьи...».

Секретарь правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живет в Москве.

## ТОСКА ПО КРАСОТЕ

### К 80-летию Виктора Лихоносова

*...Почти все герои Лихоносова – странники в самом высоком смысле слова. Их уносит вдаль тоска по красоте...*

Юрий Казаков



Виктор Лихоносов

Все мы на бескрайних просторах России – странники, а уж писатели – более других. Но далеко не каждого снедает сегодня не стремление к успеху и не жажда наживы, а тоска по красоте, как написал выдающийся мастер лирической прозы Юрий Казаков. Этот мотив странничества в истинном таланте органично сливается с чувством укоренённости, привязанности к родному краю. Поразительное и частое явление в огромной стране – автор лучшей книги о Краснодаре и потомственных кубанских казаках «Мой маленький Париж» родился далеко от вод Кубань-реки: «А ведь я сибиряк, – пишет Виктор Иванович, – родился 30 апреля на станции Топки, под Кемерово. Не казак. Но по отцу-матери, бабушке-бабушке – хохол... Бутурлиновской волости Россошанского уезда Воронежской губернии. “Такэчки”, – говорили мои хохлы, бежавшие в Сибирь в коллективизацию...» Детские и юношеские годы Лихоносов

провел в Новосибирске. В 1943 году погиб на фронте его отец, и семилетний мальчик испытал на себе все печали безотцовщины. Уроженца Сибири судьба забросила, как у нас запросто случается, на юг – попал сюда случайно, после того как не сложилось в Москве: «Мечтал стать актером, но в Москве мне не повезло. В театральное училище поступил друг и одноклассник Юрий Назаров, ставший известным актером. А я вместо столицы оказался на юге и много лет спустя понял: это был знак судьбы. В Краснодаре поступил в педагогический институт: мечтал стать учителем литературы. Студентом был тихим, по вечерам просиживал в крохотном читальном зале общежития. И после учебы уехал в Анапский район учить ребят. Приезжая в Краснодар, покупал литературные журналы, с трепетом листал “Новый мир” Твардовского, искал публикации только-только начавших пробиваться к читателю Бунина, Шмелева. Своих литературных проб стеснялся, но писать не бросал».

И опубликовал первый же рассказ «Брянские» именно в «Новом мире» в 1963 году, сразу был принят в Союз писателей (вот как выискивали – даже в периодике – подлинные молодые дарования!). Это не преувеличение – по одной публикации молодого прозаика, до выхода книг «Вечера» и «Что-то будет» (обе – 1966-й), безоговорочно приняли в Союз писателей СССР. Одна за другой в Москве, Новосибирске, Краснодаре выходят его книги повестей, рассказов, очерков. Его произведения переводят в Румынии, Венгрии, Болгарии, Германии, на чешский, словацкий языки, а затем уже на французский, английский. В 1967-м Лихоносов опубликовал сборник «Голоса в тишине» с предисловием Юрия Казакова, который и подметил: «...почти все герои Лихоносова – странники в самом высоком смысле слова. Их уносит вдаль тоска по красоте... Всё, что он написал, написано свежо, музыкально, очень точно, и всё проникнуто острой, даже какой-то восторженно-печальной любовью к человеку... Стремление к совершенству видно в каждой строчке всего написанного Лихоносовым. И еще: во всех рассказах Лихоносова виден подступ к чему-то большому, напряженные поиски того главного, самого главного, о чем должен написать каждый писатель. Что-то будет...» Казалось бы, путь в светлое будущее, к новым публикациям и вершинам признания – открыт, но Лихоносов продолжал негромко жить и сосредоточенно работать. Тот же Казаков заочно познакомил Виктора с патриархом литературы русского зарубежья Борисом Зайцевым и критиком всей волны трагической, а не колбасной эмиграции Георгием Адамовичем, что тогда далеко не приветствовалось. В письмах Адамовича из Парижа содержится немало глубоких замечаний о прозе Лихоносова: «Мне не только понравилась Ваша книга “Голоса в тишине”, нет: я очарован ею... В книге нет ни одного фальшивого слова. Это не часто бывает, и, по-моему – это самое важное, т. е. отсутствие выдумки в дурном смысле этого понятия. И вообще в Вашей книге – жизнь со всей загадочностью, прелестью, грустью, что в жизни есть... От каждой Вашей страницы веет чем-то “щемяще-родным, горестным и прекрасным”. У Вас редкостное чувство русского прошлого, природы, людей, всей России вообще... Мне кажется, Вы должны написать большую вещь – обо всём и ни о чём, как сама жизнь, это Ваш склад, Ваша особенность, Ваш дар: читаешь – и будто не происходит ничего, пока не поймешь, что происходит что-то гораздо более важное, чем обычные происшествия... И кстати, это жанр “обо всём и ни о чём”, по существу, очень русский, теперь как-то исчез, забыт за всякими текущими делами, вопросами и “проблемами”

(терпеть не могу это слово!). Есть одна только проблема – жизнь и смерть» («Избранное». М., 1993).

Одна за другой выходят книги повестей и рассказов «На долгую память» (1969), «Чалдонки» (1969), «Счастливые мгновения» (1971), хрестоматийная «Осень в Тамани» (1972), «Чистые глаза» (1973), «Элегия» (1976) и роман «Когда же мы встретимся?» (1978). После этого Лихоносов, следуя своему особому русскому дару, подмеченному Адамовичем, замолкает на целых десять лет, работает над своим главным романом о судьбе русского казачества «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» (1986 год). Это лирико-эпическое полотно, соединяющее современность с прошлым, стало литературным памятником Екатеринодару. Без преувеличения! Он должен быть прочитан каждым патриотом Кубани, изучаться в школах, институтах и вручаться любому почётному и умному гостю, приезжающему в Краснодар. Сам Лихоносов говорит так:

– Главными своими произведениями считаю «Люблю тебя светло», «Осень в Тамани», «Элегию», «На долгую память», роман «Наш маленький Париж». Названия этих произведений стали заголовками моих некоторых изданий. Написал я еще роман «Когда же мы встретимся?», выпустил книгу «Тоска-кручина» (старая повесть и мои эссе о казачестве). За роман «Наш маленький Париж» удостоился Государственной премии им. М. Горького (Россия) и премии им. М. Шолохова за всю литературную деятельность. Почетный гражданин города Краснодара... Ну, вот – всю биографию рассказал вкратце.

Добавим, что Виктор Иванович много лет возглавляет журнал «Литературная Кубань», ходит с протянутой рукой по нуворишам и временщикам, взывает к их совести... Конечно, он не коммерсант и не администратор по складу характера, со многими спорит, конфликтует с чиновниками и коллегами. Повторим: Лихоносов – лирик по своей природе, мастер бунинской школы. Сам говорит: «Я понимаю, что такое православная проза, русская проза. Я считаю себя русским писателем. Русским по чувству. Когда меня спрашивают, за что я люблю Бунина, объясняю: за русское чувство. Я ездил из Новосибирска в Москву, потом на Кубань и помню свои ощущения от наших просторов. Урал, Зауралье, средняя Россия... И когда начал читать Бунина, испытал такое совпадение своих чувств с душой его прозы! Это – русское чувство. Вот тут, я думаю, кое-что сделал».

Скромно закончил про себя – «кое-что», если учесть, что общий тираж «Нашего маленького Парижа» составил три миллиона – редкий для нынешней России (он же не теледетективщица вроде Донцовой или Устиновой) и уж совсем необычный случай для Кубани. Читатели, наверное, думают: ну уж такой-то человек, старейшина на духовной ниве, – окружён почётом, а к мнению его прислушиваются на любом уровне. Как бы не так! – в России, а особенно в благодатном Кубанском крае, прославленном хоть станицей Кущёвской, хоть сочинской Олимпиадой, ценится совсем другое. Давайте для подтверждения прочтём что-то из публицистических заметок, гневных писем и филиппик писателя...

Вот из журнала «Молоко» – декабрь 2015 года: «Мы живём в абсолютно безыдейном обществе. Тема безыдейности последних двадцати лет грандиозна, горька и трагична, никто ещё не написал об этом обстоятельно, опираясь на живые примеры, которых множество: из одних только газет можно насобирать превеликий ворох косвенных доказа-

тельств. Безыдейность разъедает нашу Россию. Критические статьи, ядовитые фельетоны, информации следственных органов, фотоснимки особняков, построенных на ворованные деньги, жалобные письма, свидетельства катастрофы в селе, примеры оголтелой безнравственности, понижения культуры улетают в пустоту, а мусорная свалка и поношение всего и вся в Интернете притупили гражданскую остроту, “выработали привычку” воспринимать безобразия как что-то неизбежное и окончательное.

Бесполезно писать местной власти письма, застревают на нижних этажах трусливых натренированных чиновников. Власть каждый миг посылает “населению” (именно так приучаются они к пониманию, к ощущению своего н а р о д а) сигналы о том, что она никого не боится и в советах, замечаниях, поправках, благородных порывах граждан не нуждается. Человека оставляют жить в безыдейной пустоте. Пресловутая элита (этакая временная чиновно-сословная братия и её прислужники) отгораживается, ненужных лиц отстраняют подальше, тем самым жестоко назидают им, что они в местном обществе чужие. Между тем отвергаемые – и есть настоящая элита. Особенно тяжело сносить унижение и удаление в углах тесных – в маленьких городках, в станицах. Там приговаривают навечно. Хоть уезжай! Ищи, так сказать, другое общество. Но и общества нигде нет. Одни... “корпоративы”. Солидарность вокруг вечеринок, легких фуршетов, фольклорных концертов. Много раз пишешь, унижаешься, ждешь, проклинаешь и опять пишешь. Кому писать, с кем говорить? У кого из них болит русская душа?»

Вопрос повисает в воздухе... Лихоносов рассказал о суете Законодательного собрания вокруг идеи возведения памятника казакам, воевавшим с турками и немцами сто лет назад: «Спохватились, что они должны стать “благодарными потомками”, буквально в канун юбилея, настрочили бумагу, дружно проголосовали, пошли обедать в собственную столовую и... где же памятник?! Позор! Скоро всем породам собак поставят бронзовые украшения на улицах казачьей столицы, а сынов Отечества забыли. Пропили сынов Отечества на днях городов и станиц, на фестивалях, прогуляли в соломенной Атамани, забыли... Героизм? А зачем?! Не будем, дескать, шовинистами. Достаточно закона “О патриотическом воспитании в Краснодарском крае”... Когда пишешь, все как-то надеешься, что пробудишь, проснётся в них что-то. “У меня других писателей нет”, – говорил Сталин, когда его донимали жалобами на каких-то плохих собратьев. А у народа нет другого начальства. Нет идеи!»

Ну и о журнале он писал: «Пятнадцать лет мы служили воспитанию национального чувства, которое целенаправленно осквернялось и даже высмеивалось влиятельными средствами информации и некоторыми политиками; мы восполняли утраченные, нарочно забытые (по идеологическим мотивам) страницы достоинства казаков». Собрали том лучших материалов – глухо. И о своём избранном пришлось хлопотать даже перед гендирекцией винного гиганта «Фанагория»: «Ещё раз обращаюсь к Вам по поводу благотворительной помощи в издании моего сборника “Афродита Таманская”. Первое моё письмо не вызвало у Вас никакого сочувствия. Такое ощущение, что писатель, славивший Тамань в течение десятилетий, это какой-то незаметный, недостойный пень, мимо которого надо пройти и забыть. Но неужели не просто я, Лихоносов, а сама историческая Таманская земля, восхваленная современником, не достойна быть запечатлённой в печати, неужели земле этой не надо поклониться не только во время винных гулянок и пышных

массовых торжеств?» Горькие и такие знакомые даже в Год литературы вопросы. Кто-то опять скажет: «А чего вы хотите – рынок». Эти безграмотные апологеты базара даже не знают, что такое имиджевый капитал, по-нынешнему выражаясь, даже если отринуть высокие рассуждения. Хотя и такие соображения в России на нынешнем переломном этапе – отвергать преступно и чревато...

В марте приехал в Новороссийск, мне глава отделения Фонда славянской письменности и культуры Александр Егер (куда ж на этом поприще без немца-славянофила!) рассказал, что вернулся из Краснодара, виделся с расстроенным Лихоносовым: отбирают журнал, даже авторские экземпляры не дали в типографии. «Виктор Иванович позвонил в администрацию, стал ругаться, заявил: наверное, какие-то деньги выделили на мой юбилей? Не надо никакого торжественного вечера и банкета. Лучше крышу маминого дома в Пересыпи почините, коль избранное никак не издадите!» Первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов написал в Интернете: «30 апреля этого года Виктор Иванович Лихоносов отметит 80-летие. Казалось бы, живой классик, все готовятся его поздравлять и славить. И вдруг мы узнаём, что всё наоборот. Его детище, журнал “Родная Кубань”, в котором он главный редактор, власти пытаются срочно у него отобрать. Что-то даже похожее на травлю. Приходит “молодой юрист” из администрации и издевательским тоном спрашивает, почему его вчера не было на работе с 17.45 до 18.00. Требуют, чтобы все в редакции написали заявления на увольнение по собственному желанию с 4 мая. Лихоносов пишет письмо губернатору. Тишина. Ещё одно. Тишина. Он всем сказал наверху, что готов уйти, выпустив в мае последний номер, который он подготовил, который частично посвящён его юбилею. Но этот номер не хотят финансировать учредители – администрация края. Кто-то скажет, что надо вовремя уходить... Но ведь можно же как-то по-человечески поговорить и не устраивать травлю накануне юбилея. К слову сказать, Лихоносов пять лет назад губернатором Ткачёвым награждён орденом “Герой труда Кубани”. А сколько он сделал для кубанцев, не только книгой “Мой маленький Париж”, а сотнями и сотнями публикаций по истории Кубани. Стыдно, губернские господа!»

Союз писателей России не только как общественная организация, но и как содружество неравнодушных патриотов горячо откликнулся на этот безобразный факт и написал письмо новому губернатору Краснодарского края, который подписали не только секретари, но и многие уважаемые писатели. Оно возымело действие, вице-губернатор пригласил почётного гражданина, который уж точно останется символом Кубани, когда про всех чиновников забудут, и заверил, что всё будет в порядке – и с юбилеем, и с «Избранным», и с журналом «Родная Кубань». Дай бог – посмотрим...

В книгу Виктора Лихоносова «Волшебные дни» вошли неустаревающие очерки, статьи о литературе и истории, воспоминания о М. Шолохове, А. Твардовском, Ю. Казакове, Ю. Селезневе, интервью, а также страницы творческого дневника писателя. Прочтём хоть страницу неустанного, остро переживающего мастера в заключение очерка:

*1983 год*

Вчера позвонил вечером поэту К. «Нету, – говорит жена, – гуляет!» Гуляет по улицам четыре часа, принес домой два стихотворения. И так всю жизнь! Жена не

видела, чтобы он писал стихи за столом. Не понимаю, как можно держать в голове все сплетения слов, всю эту нервную дрожь жизни, эти искры чувств и т. п. Я пока добегу с кухни – уже что-то оборвалось, и снова никак поймать не могу. Пропало навеки! Вчера на ночь поленился зажечь свет и записать какой-то ход в конце романа – такая прелесть поймалась, а проснулся – не помню! Заспал! Я пишу из тончайшей ткани, все рвется на лету, и, когда не ухвачу, ниспадает на лист что-то поглубже (29 января).

Еле собираю дух свой на остаток жизни в старине, на то, чтобы сосредоточиться и закончить роман. А толку! Именно об этом (толку!) и думал до самой ночи. Горевал. Горе иногда застигает такое детское, что не знаешь, кого позвать. События писать мне не надо. Все у меня будет окутано музыкой расставания со временем (это уже есть), туманом проходящего Бытия. И печалью милосердия.

...Уже пять часов утра. Так и не заснул. Раскрыл Бунина – давно не общался с Иваном Алексеевичем. Полыхнуло опять Россией. В однотомнике, составленном в 1961 году П.Л. Вячеславовым, только схватил начало «Жизни Арсеньева» и... Великая божеская душа! Никогда не будут больше писать так. Кротость души перед необъятным миром дает несравнимую высоту. Лежа, родственно думал об Иване Алексеевиче, о том, как стремился в Париж на улицу Жака Оффенбаха, о том, что его нет уже на свете тридцать лет и что мне жаль его: закрылись зоркие очи навеки и уже провалились, истлели... Когда читал «Часовню», вспоминал часовенку Ильи Мокрого в Изборске... Может, он ее и описал... Великая Россия, какие у тебя были художники (2 июня)!

«Дело немалое – вырастить книгу и написать». М. Пришвин.

Не спал до пяти часов. Вытащил рукописи, стал расставлять страницы. Выйду на балкон – все почему-то спят. Чего они спят? И ведь когда-то прочтут про моих казаков и, может, запомнят их фамилии, будут произносить: Толстопят, Попсуйшапка, Шкуропатская. Зачем слава? Надо выпустить забытых людей в мир – и хватит. Но когда это будет?!

Четвертый час ночи. Сходил на улицу. Чисто светят зеленые огни светофора. Никого. Но в девятиэтажке светятся три окна. И так когда-то лет через пятьдесят выйдет ночью какой-то человек и, может, вспомнит нас, – как выходил кто-то в 1908 году, но о нас не думал. Вещь висит на мне. Иногда, перебирая в уме страницы, думаю, что никто ее не будет печатать. Ах, как надоело ждать благословенных дней! – окончания (12 августа).

Все потихоньку стихает. Вышел в полночь на улицу, к углу улиц Ленина и Седина, увидел опять дома, заколоченную старинную лавку, козырьки над дверями и подумал: все это я уже пережил! Прежних волнений нет.

Скоро закончу, и душа совсем распрощается с этим, – как когда-то с Таманью. Не могло длиться вечное томление по своему времени и у моих героев. День за днем, и все стихает... (14 августа).

Изумительные золотые дни. То к морю схожу, наберу птичьих перьев, то прочитаю «Левшу», поправлю главы первой части, второй. Там, где гирло, чайки роняют перья почаще, подойдешь, а оно еще теплое, живое, дымится нежностью. Упало – как благословение. Помогите мне, чайки, завершить свой труд (14 сентября, Пересыть).

Помогите, чайки, волны, степной ковыль Кубани, этому удивительному писателю-юбиляру написать ещё не одну книгу на радость нам! Ждём и поздравляем, Виктор Иванович!

## Стихи по кругу

**Людмила ТОБОЛЬСКАЯ**

*Джорданвилл, штат Нью-Йорк*

### Бродскому

Иосиф, привет!.. От твоей Венеции вддалеке  
я читаю тебя, затаив дыханье от восторга;  
зренью мешают слёзы и книга дрожит в руке,  
а к твоим стихам у аборигенов на всем их огромном материке –  
безучастие морга.

Да, конечно, известно каждому: Нобелевка – миллион!  
Это круто, buddy, но вечный вопрос при этом  
раздражает: «Скажите, а правда он  
был великим поэтом?»

Перевод стиха... Что может быть неверней?  
Девятый вал – каким его заменить меандром?  
Всё это испытано омывшимся в той же невосковой волне  
братом великим твоим Александром.

Однако, не нам, не нам, а различным «немцам» тужить, тем,  
кто к речи твоей намертво глух и нем  
и тщится поверить гармонию алгеброй, что называется, –  
строго научно.

Покойся у теплого моря, утешься хотя бы тем,  
что вторящая тебе италийская речь так благозвучна.

**Денис БАЛИН**

*пос. Мга, Ленинградская область*

### Я не Шарли!

Я не Шарли! Я умер в Волгограде.  
Я Домодедово, Кизляр, Моздок.  
Я полицейский, взявший Дом печати,  
в метро Москвы убитый паренек.  
Я не Шарли! Я зритель из «Норд-Оста».  
Я кровь детей из города Беслан.  
Я не Шарли – Синайский полуостров!  
Я – пассажир, летевший к небесам.

\* \* \*

Иду по двору, вспоминаю стихи Басё,  
пугаю ворон, ругаю за сырость погоду,  
и брызги рассвета горят, освещая всё,  
людская толпа напирает, бежит на работу.  
Пейзаж городской, к которому с детства привык,  
не радует глаз, сбежать бы к Балтийскому морю  
с бутылкой вина и, выучив птичий язык  
беседовать с чайкой о рыбах, про горе и волю...  
Но времени нет, сжимает тисками толпы.  
Весит на гвозде календарь – обрываю недели.  
Проспекты, что линии жизни, туннели судьбы  
и, словно Басё, надоели.

### Финский залив

Чайки над Финским заливом висят,  
пробуют воду на вкус.  
Небо седое, как дед в шестьдесят.  
Небо из серых медуз.

Виден в пыли облаков Петербург.  
В город плывут корабли.  
Разве возможно всё это вокруг  
просто отдать за рубли?

Невский проспект, поезда под Невой,  
теплый семейный очаг.  
Видишь, дома, приподняв над собой,  
держит Нева на плечах.

Балтики шепот и шорох лесов,  
прячется в берег волна.  
Чайки летают, от их голосов  
миля морская полна.

Сумерки выкрасят светом звезды  
белые ночи в зарю.  
Если родился на севере ты –  
знаешь, о чем говорю.

\* \* \*

И рот не хочет слова говорить,  
и руки писать не хотят,  
на небе безоблачном ярко горит  
луны бесполезный снаряд.  
Закрою глаза, как можно сильней:  
исчезнет в тумане мой дом,  
не станет людей, не станет зверей,  
не станет двора за окном.

Увижу во сне, что в нашей стране,  
что Ленин на месте стоит.  
И кто-то вождю нанёс на спине  
«три буквы» – родной алфавит.  
Вокруг осмотрюсь и сразу напьюсь,  
без повода просто напьюсь.  
Увижу во сне ту самую Русь,  
в которой проснуться боюсь.

\* \* \*

Коктебель засыпает, уснула богиня Иштар,  
много звезд, но луна равнодушна и словно не с ними.  
Не уснуть, хоть Гомера читай, я всего прочитал,  
только счет, кораблям потеряв с парусами тугими.

Кара-Даг безразличен ко всем понаехавшим тут,  
он безоблачно спит и не знает про наш муравейник.  
Коктебель засыпает, и сны его жителей ждут.  
Спит Волошин, Серебряный век и заснул современник.

## Валерий БАСЫРОВ

*Симферополь*

\* \* \*

Я придумал себя  
из себя самого...

Столько лет  
руки Времени мяли меня,  
истончая ненужные грани,  
что свои позабыл я черты.

Мне казалось:  
я Время свое обогнал —  
так участливо было оно  
и терпимо.  
А оно обмануло меня.

Что теперь мне придумать  
и как поступить,  
чтобы Время меня пожалело?

## Людям

Моя свеча ещё не догорела  
и мой язык не все сказал слова,  
но в мир иной сойду без сожаленья,  
когда не интересен стану вам.

Свободу обрету в других пределах:  
надеюсь, что душа найдёт покой.  
Я на земле останусь вашей тенью,  
но ни один из вас не будет мной.

\* \* \*

Все ближе к югу:  
душевному покою и теплу.

И снег не поспевает за вагоном.  
Границу непогоды  
я прошел без визы.  
Метель осталась там,  
где пограничник проводил досмотр:  
– Везёте книги? Для кого? Зачем?  
А на мою оброненную фразу:  
«А руки на капот...»  
незлобно и устало пошутил:  
– Хотите поиграть в шпиона?  
За эту мысль он ухватился  
и очень долго изучал  
мой старый паспорт  
с надорванной страницей.  
Я стал ему неинтересен,  
когда на книге прочитал:  
«Стихи».

...Все ближе Крым,  
я скоро буду дома.

## Встреча

Как долго не видел я друга!  
И вот за накрытым столом  
вино, завезённое с юга,  
мы молча и медленно пьём.

Потом от него я узнаю  
про дом на крутом берегу,  
который с трудом вспоминаю  
и вспомнить никак не могу.

Про сад сиротливый и дикий  
в далёком, как детство, краю...  
И память – трава повилика –  
опутает душу мою.

Давно я на родине не был!  
Наверно, поэтому мне  
высокое чистое небо  
так часто приходит во сне...

\* \* \*

Когда-нибудь забуду о плохом.  
В бездожде брод через Горынь найду  
и проведу тебя по дну реки  
к ромашковым лугам,  
напоенным восходом, —  
так думал я перед твоим приходом.  
На свет в окне слетались мотыльки  
и долго оставались на виду,  
перед моим обиженным лицом.

\* \* \*

Заблудилось утро в снах.  
Сумрак спрятался в тумане.  
Тихо так, что даже страх  
с одиночеством в горах  
манят.

Но жалею, что с тобой  
никогда здесь раньше не был.  
Уношу любовь и боль,  
увлекаемый судьбой,  
к небу.

## **Мстислав ШУТАН**

*Нижний Новгород*

\* \* \*

Трепещут маленькие листья.  
Как им, нанизанным на нить,  
под ветер, воющий неистово,  
своё согласие сохранить?

Любой открытые угрозе,  
дрожим за сладостный покой...  
И на какой такой берёзе?  
На нити трепетной какой?

## **Ступня**

Сюжет и давний, и недавний:  
идём по травам и песку  
и мягкими ступнями давим  
проснувшуюся мелюзгу.

Так вдавлены в земную мякоть  
все бездыханные тельца,

что сил нет ни кричать, ни плакать,  
ни ждать холодного конца.

Сюжет и давний, и недавний:  
над каждым замерла ступня...  
Она в прямоугольник вдавнит  
среди бела дня,  
среди бела дня.

## Отец

День Победы любили праздновать.  
Только с детства запомнилось мне,  
как отец не любил рассказывать  
о рассказанной той войне.

Не тоска, что навек причалила,  
не сжигающий душу протест...  
Только вздрогнет совсем нечаянно  
ставший правой рукой протез.

Жизнь как жизнь: не расщелина узкая,  
и не в меру бывает строга...  
Ох ты, Курская,  
ох ты, Курская,  
ой ты, огненная Дуга!

\* \* \*

«Поокаем вместе», —  
старушка пропела.  
Без злобы и лести.  
Тепло. Как умела.

Всё будет простое:  
движеньё по кругу.  
Расскажем истории  
жизни друг другу.

На бледной руке,  
силу передавая,  
лежала б почаще  
рука молодая.

## Тишина

Тишина в отдыхающем мире,  
божий росчерк пера: тишина.  
В каждом дворике, в каждой квартире  
её поступь легка и нежна.

Растянувшаяся сетка из снега,  
освещаемая фонарём,  
для дневных магазинных набегов  
мы тебя вместо сумки берём.

Тишина все вопросы стирает:  
где же ручки? где контуры дна?..  
За стеной человек умирает.  
Что же вместо него? Тишина?

## Жизнь

Жизнь ушла к последней точке  
и вернулась невзначай.  
В стихотворной звонкой строчке  
на руках её качай!

С возвращеньем, с возвращеньем  
в мир лишений и даров,  
в мир прощаний и прощений,  
бездорожья и дорог...

## *Стихи лауреатов VII бард-фестиваля «Музыка сердец»*

**Нара ФОМИНСКАЯ**  
*Шадринск*

\* \* \*

металлический привкус на кончике языка  
от невидимой силы наутро рыжеет лес  
и уже целый день течёт в никуда река  
и прошит рентгенами приговор небес

нет предчувствия, страха липкого тоже нет  
заневестился вишнями разгуляй-апрель  
неизведанный и безжалостный адский свет  
превращает мир в звенящую акварель

всё прозрачно и красочно – смерти нет  
но она заползла невидимкой – уже внутри  
ах, какой красивый на Припяти был рассвет!  
в общем, кто не спрятался... раз два три...

\* \* \*

За трамвайными рельсами – солнечный луг,  
в двух шагах от панельных «скворечников» –

одуванчиков майских медовый недуг  
под гуденье пчелиное вечности.

Голоса там негромки, рассветы чисты,  
и в сандалих маленький камешек  
так мешает, что вдруг остановишься ты  
у бездонного неба на краешке.

И расправятся крылья, и трепетный вдох  
горизонты раздвинет отчаянно...

Собирает цветки одуванчиков Бог  
и горчат его руки печальюми...

## Ольга ТЕЛИЦИНА

*Нижний Новгород*

\* \* \*

Неприкаянная птичка  
С оперившейся душой,  
Я чирикаю привычно  
Я себе кажусь... большой!

Без ошибок и помарок,  
На отлично сдав урок,  
Кучкой... авторских ремарок  
Испещряю сей листок.

Это птичье щебетанье –  
Обещанье иль зарок?  
Не упрек, не бормотанье,  
Не безделье, не порок...

То ль посланье, то ль признание?  
Сохрани листочек впрок...  
Может, будет состоянье –  
И услышишь, между строк,

Как наедине с собою  
Замирая, не дыша,  
Не поладив с головою  
Расчирикалась душа...

\* \* \*

Поливает осенним дождем  
Тротуары и редких прохожих.  
Это – вид за моим окном.  
За твоим, может быть, похожий?

Напиши мне хоть несколько строчек,  
Я так жду их! – неважно о чем.  
Горстку слов, запятых и точек  
В ящик брось, под осенним дождем.

## Ирина АНТОНОВА

*Иваново*

\* \* \*

Мальчишка гонит по ручью корабль бумажный,  
Толкает прутиком вперед под ветер встречный  
И что там будет впереди ему неважно,  
И нет причала под названием «Пункт конечный».

А на кораблике флажок смешной, но гордый,  
Под килем талая вода ломает льдинки,  
И надпись «Смелый» на боку слегка потерта,  
И капитан бежит вприпрыжку по тропинке.

Большая лужа в небеса глядит беспечно,  
Еще немного и кораблик в море выйдет!  
А кто-то ловко прибывает дом скворечный,  
И с высоты он, как маяк, все море видит.

Ему бы крикнуть: «Подожди, ты слаб и нежен,  
Тебе бы весла или парус, или крылья!»,  
Но не успеть! Кораблик вынесло на стрежень,  
И капитан устал, и сказка стала былью...

Плывут по лужам корабли к конечным пунктам,  
Взрослеют мальчишки – увы, не капитаны!  
И тихо дворники сметут бумажки утром –  
Обломки чьих-то грез, надежд, самообмана...

## *Вехи памяти*

### **Елена БАЗУРИНА**

Родилась в Горьком в 1974 году, окончила исторический факультет Нижегородского госуниверситета. Автор многочисленных научных работ, кандидат философских наук (тема диссертации – сравнение философий К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова), доцент Нижегородского филиала Российского университета правосудия. Живет в Нижнем Новгороде.

### **Николай БЕНЕДИКТОВ**

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Нижегородского госуниверситета. Избран депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## **ШАЛУНОК У БОГА**

К 160-летию со дня рождения Василия Розанова

Исполнилось 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856–1919) – великого философа и литератора, которого плохо знают даже образованные люди. Да, богата Россия талантами: скажут, ну, вот еще один. А где-то гордились бы таким и ставили памятники. У нас же пока главное достижение: мемориальная доска на бывшей нижегородской гимназии (ныне Нижегородском педагогическом университете) с надписью о том, что здесь учился В.В. Розанов. Почему же так? Только ли потому, что у нас таких много? Вряд ли. Скорее это связано с рядом обстоятельств, которые и стоит прояснить.

### **Могила Розанова**

Похоронен он в Черниговском монастыре (еще его называют ски-том) в Сергиевом Посаде. Монастырь сейчас восстанавливается. На погосте сохранились две могилы: Розанова и К.Н. Леонтьева. Стоят два креста и надписи на табличках музейного типа. В монастыре запомнился еще интереснейший настоятель, очень активный, бурлящий энергией в ватнике (зима!) отец Феофилакт, который свои речи заканчивал непременно: «Смерть фашистским оккупантам!» Известно,

что хоронил Розанова знаменитый философ и ученый, богослов отец Павел Флоренский. Он рассказывает: «Для могильного креста я предложил надпись из Апокалипсиса, на котором В. В-ч. последнее время (пропущено слово) и на котором мирился со всем ходом мировой истории: “Праведны и истинны все пути Твои, Господи!” Представьте себе наш ужас, когда наш крест, поставленный на могиле непосредственно гробовщиком, мы увидели с надписью: “Праведны и немилостивы все пути Твои, Господи!”» Сегодня эта надпись не сохранилась. И очень трудно удержаться, чтобы не подчеркнуть, что такие имена как Флоренский, Розанов, Леонтьев, православные консерваторы и монархисты, философы и художники, безусловные гении русской и мировой культуры, все продолжают расти в мировой оценке сквозь очистительное надругательство.

## Оценки Розанова

Каждый из названной троицы был одиночкой и оригиналом. Каждый долго был не понят, и нельзя сказать, что понят и сегодня. Розанов также ни на кого не похож. Имел смелость говорить свое, творить свое, писать о невозможном, жутко раздражал многих, не укладывался ни в какие классификации. Он писал много и о нем писали много, однако вряд ли кто скажет, что он наконец стал понятен. Хотя писал вроде бы простым языком. И это вдвойне раздражало. Л.Д. Троцкий о нем сказал: «Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой...» Однако трус вряд ли станет писать на темы, которые могут раздражать власть имущих. Приживальщик вряд ли станет писать критические статьи, раздражающие господствующую церковь и государство. «Дрянь», да еще «заведомая», – вряд ли требует объяснений, просто ругательство и не более того. Злонамеренность явная в оценке. Чем же он так раздражал людей? Ведь многие его называли гением, да и сегодня он вырастает из суетности мира и к нему поневоле обращаются мыслящие люди. Напомним, что П.А. Флоренский считал Розанова одним из самых талантливых людей современности. Знаменитый философ и филолог А.Ф. Лосев называл его гением, по сравнению с которым Гегель – сладкая водичка, и т. п. Д.С. Мережковский менял свое мнение о Розанове на противоположное, и какое из этих мнений истинное!? Правда, Розанов сам давал основания к тому, чтобы противоположные мнения о нем и его сочинениях и мыслях были основаны на его же высказываниях.

## Жизнь Розанова

О жизни Розанова говорить обязательно – как о жизни каждого русского философа.

На Западе мысль ученого и даже философа, как правило, обезличена. Можно знать бином Ньютона и совершенно ничего не знать о его жизни и судьбе. Это незнание личности ученого, исследователя или философа никак не сказывается на полноте вашего знания «бинома Ньютона».

В России же искусство и философия прямо подразумевают, что в творении (творчестве) очень сильно отражается личность и жизнь творца-художника. И не просто отпечатывается. Жизнь Розанова давала основания его творчеству, и в ней коренились истоки многих его мнений и позиций.

Он родился в 1856 году в г. Ветлуге Костромской губернии (сегодня это районный центр Нижегородской области). Отец был лесничим и умер, когда Васе было три года. Многодетная семья жила на пенсию отца впроголодь. Мать умерла, когда Васе было 11 лет. Нехватка счастливой семейственности выработала в Розанове постоянную тягу к семейному счастью и неисчерпаемую жалость к маленьким детям, которым требуется уход, внимание, любовь.

Старший брат помог учиться. Розанов поступил в гимназию в Симбирске, а затем учился в Нижегородской гимназии, окончил историко-филологический факультет Московского университета. Работал учителем в гимназиях Брянска, Ельца, г. Белого Смоленской губернии. В 1881 году женился на Аполлинарии Суловой, бывшей любовнице Достоевского, женщине крутых и неумолимых страстей (выражение П.В. Палиевского), на 16 лет старше его. Брак был неудачен, после домашних скандалов и неурядиц через 5 лет распался, однако жена не давала ему развода всю жизнь. Позже Розанов встретил вдову священника Варвару Бутягину, с которой тайно (ведь развода не было) обвенчался. Это положение явно мучило его всю жизнь, было основанием недовольства государством и церковью, ставило его в ложное положение, а его детей (пятерых в новом и счастливом браке) делало незаконными.

В Ельце Розанов стал писать. Написал большую работу «О понимании». Работа прошла незамеченной, и поэтому он не стал штатным философом. В 1893 году Розанов переехал в Петербург, где стал работать чиновником в Госконтроле, а через несколько лет становится постоянным сотрудником газеты «Новое время», которую издавал А. С. Суворин. Доход семьи резко увеличивается. К нему по воскресеньям стали приходить весьма примечательные люди – Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Н.А. Бердяев, С.П. Дягилев, Вячеслав Иванов, Алексей Ремизов, Ф. Соллогуб, Андрей Белый, Л.С.Бакст, К.А.Сомов, священник Григорий Петров и многие другие. Начало века – были организованы и стали регулярно проводиться Религиозно-философские чтения, постоянным участником, которых был Розанов. В это время Василий Васильевич много пишет. Февральская революция 1917 года разрушила привычный уклад и усложнила жизнь. В августе 1917 года Розановы переезжают из Петрограда в Сергиев Посад, где Василий Васильевич и умер в январе 1919 года.

## Внешность

Внешний вид Розанова описала З.Н. Гиппиус: «Невзрачный, но роста среднего, широковатый, в очках, худощавый, суетливый, не то застенчивый, не то смелый. Говорил быстро, скользяще, негромко, с особенной манерой, которая всему, чего бы он ни касался, придавала интимность. Делала каким-то... шепотным. С “вопросами” он фамильярничал, рассказывал о них “своими словами” (уж подлинно “своими”, самыми близкими, точными, и потому не особенно привычными. Так же, как писал)».

## О чем писал

Незадолго до смерти Розанов составил план своего собрания сочинений в 50 томах, которое, конечно, не было издано, но дает представление об им написанном.

- Серия I. Философия*  
 Т. 1–2. О понимании.  
 Т. 3. «Метафизика» Аристотеля.  
 Т. 4. Природа и история.  
 Т. 5. В мире неясного и нерешенного.
- Серия II. Религия*  
 А. Язычество  
 Т. 6–7. Древо жизни (язычество, магометанство и проч.).  
 Т. 8. Во дворе язычников (об античной религии).  
 Б. Иудаизм.  
 Т. 9. Иудаизм (статьи, выражающие положительное отношение к иудейству): «О библейской поэзии», «Сущность иудаизма» и проч.  
 Т. 10–11. Иудей (статьи с отрицательным отношением к иудейству).  
 В. Христианство  
 Т. 12–15. Около церковных стен.  
 Т. 16–18. В темных религиозных лучах («Темный лик», «Люди лунного света»).
- Т. 19. Апокалипсическая секта (о хлыстах).  
 Т. 20. Апокалипсис наших дней.
- Серия III. Литература и Художество*  
 Т. 21–26. О писательстве и писателях. («Легенда о Великом Инквизиторе», статьи о Достоевском, Лермонтове, Гоголе Пушкине и проч.)  
 Т. 27–28. Среди художников.  
 Т. 29. Путешествия («Итальянские впечатления», «По Германии», «Русский Нил»).
- Серия IV. Брак и развод*  
 Т. 30–32. Семейный вопрос.
- Серия V. Общество и государство*  
 Т. 33. О монархии.  
 Т. 34. О чиновничестве.  
 Т. 35. Революция («Когда начальство ушло», «Черный огонь»).
- Серия VI. Педагогика*  
 Т. 36. Сумерки просвещения.  
 Т. 37. В обещании света.
- Серия VII*  
 Т. 38. Из восточных мотивов.
- Серия VIII. Листва*  
 Т. 39–41. Уединенное. Опавшие листья. Смертное. Сахарна. Новые опавшие листья и проч.
- Серия IX. Письма и материалы*  
 Т. 42–47. Литературные изгнанники (Страхов, Говоруха-Отрок, Кусков, Леонтьев, Шперк, Рцы, Рачинский, Флоренский, Цветков, Мордвинова).  
 Т. 48–49. Био- и библиографические материалы.  
 Т. 50. Записки, заметки.

Читатель легко сообразит сложность задачи – передать в одной статье масштабность, своеобразие и глубину мысли Розанова. При его размахе, фантастической всеядности в освоении проблем и тем, переданных своим (З.Н. Гиппиус) языком, редкой противоречивости сказанного, – все это представляет непомерную проблему. Не случайно все попытки как-то определить суть Розанова приводят к сплошным промахам. Да и куда деваться, если, как уже говорилось, даже Гегель рядом с ним предстает сладкой водичкой. Поэтому попытаемся лишь обозначить ключевые характеристики Розанова как мыслителя.

## Философия и художественность

Русская философия вся художественна и весьма целомудренна. Возьмите западную философию и легко обнаружите, что там немалое число философов существовало без всякой художественной жилки. Это и Фома Аквинский, для которого в ликах божьих нет красоты, нет прекрасного, где красота лишь некое умственное удовольствие. Попробуйте применить это к музыке – род умственного удовольствия?! Ерунда явная. Поэтому неотомизм и отличается от томизма введением проблем искусства и проблемы прекрасного. Возьмите сочинения Б. Спинозы, ту же самую «Этику». Ничего художественного, ничего человеческого, сплошная геометрия, что дано и что требуется доказать. Что уж говорить об эпигонстве типа позитивизма, где спокойно размышляют без учета жизни и красоты.

Русская же философия в отличие от западной с самого начала своего стала говорить о цельном знании, которое включает и мораль, и искусство. В русской философии не сразу разберешь, кем является сочинитель – литератором (художником) или философом – А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, К.Н. Леонтьев и др. Если мыслитель сам не является поэтом или писателем, то для него художественный критерий все равно столь значим, что без учета его понять жизнь и произведения невозможно. Вспомним В.Г. Белинского, А.Г. Григорьева, Н.А. Добролюбова, А.Ф. Лосева. И даже когда у философа профессиональные интересы далеки от эстетики, то и тогда возможны неожиданности. Вспомним логику (куда уж дальше от эстетики) А.А. Зиновьева, ставшего весьма известным писателем. Или, скажем, неожиданность: В.И. Ленин. Вроде бы весь в политике, однако профессиональный анализ филолога показал, что третья часть текстов Владимира Ильича представляет собой художественные образы. Иными словами, по этому признаку Розанов является классическим русским философом. И все же, все же... Василий Васильевич дает невероятный сплав художественных образов и философских понятий, нередко невозможно различить грани между ними. Часто же сам образ или художественная сторона им сказанного являются весомым аргументом в пользу его теорий. Прочитайте его теорию происхождения религии:

«– Вот кто первый помолился – это Мать. Когда она испугалась за своего заболевшего ребенка. Тогда она подняла руки кверху и сказала: “Ах!..”

И прибавила: – “Помогите!”

Кто – звезды, небо? Откуда солнце и свет? Откуда жизнь?.. Да, без солнца нет жизни. И она сказала: – “Солнышко, помоги! Солнышко, исцели!!” ...

Судьба ли темная? “Молюсь и судьбе”. “Не знаю, кому”... “Кто сможет, тот и спаси”.

Наутро встало Солнышко, обогрело малютку и ему стало лучше. “Вот видите”, радовалась мать соседям. Соседи передали другим. Старики оценили, поняли... К этому потом стали прибавлять. Размышлять и прибавлять. Вышла религия. Но “Аз” ее, молитву, сказала мать, поднимая руки к небу над заболевшим ребенком».

Согласитесь, теория не рационалистическая, далекая от привычных стандартов, ни экономика, ни политика, ни технический уровень развития в ней не играют никакой роли. А отмахнуться от нее непросто, чувствуется внутренняя правда без всякого сомнения.

## Философия и жизнь

В русской философии жизнь всегда выше философии и всех и всяческих систем. Именно эта позиция позволяла легко договариваться тем, кто вроде бы по своим философским позициям не мог договориться. Так было в период знаменитых петербургских пожаров во второй половине XIX века, когда легко поняли друг друга Н. Чернышевский и В. Соловьев. Однако Розанов и с подобным подходом доходил до невероятных форм, до края. Так, он во время философского доклада В. Соловьева, нарочно упал, даже скорее рухнул с кресла, сбив и атмосферу и само внимание к лекции и докладчика. Потом он объяснял, что было жутко скучно, да и не стоит лекция времени. Вспоминается, что Бухарин писал нечто похожее о Ленине, говоря, что сказал ему все аргументы, а Ленин вдруг в ответ сказал спорщику что-то неожиданное из жизни, прекратившее спор и делавшее этот спор бессмысленным. Конечно, это не хулиганское падение с кресла, однако это тоже выход «за философию» – в жизнь. Розанов подобный подход доводил до предела. И это позволяло ему всегда быть ближе к жизни, а следовательно, к ее смыслу, нежели его оппонентам.

Вот другое известное сравнение Розанова, очень для него показательное:

«– С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес.

– Представление окончилось.

Публика встала.

– Пора надевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Про какое время это сказано? Про 1917? Или про 1991? «Представление» завершилось, «публика» (может быть – интеллигенция?) оглянулась, а ни шуб, ни домов не оказалось!!

Подобный «выход» за философию, за систему очень напоминает опять же Ленина. Вспомните: его критиковал Н. Суханов за то, что революция проведена не по Марксу, сегодня об этом хорошо написал С. Кара-Мурза (см. его книгу «Карл Маркс против русской революции»). Для публики важно было поговорить на «представлении» о логике, о философских системах, а для Ленина стоял вопрос о грозящей катастрофе, и вопросы жизни – «по Марксу или нет» – надо было срочно решать, в противном случае ни шуб, ни домов не окажется ни у кого. Вот этот выход из философских ограничений в реальную жизнь и позволил монаху тайного посвящения А.Ф. Лосеву обозначать всю русскую философию, в том числе и розановскую, как «материалистическую».

## Крайности и противоречия

Если Ленин в полемике начинал спорить в рамках предлагаемой оппонентом логики, и тем самым он как бы изживал болезнь противника (и это тоже свойство диалектики Достоевского), то Розанов не удосуживался заниматься этим. Вместо этого он начинал выдавать какие-то бытовые житейские афоризмы, которые тем не менее вдруг выявляли суть бытия. Он нашел совершенно новый способ философствования

и литературного стиля – «опавшие листья» (это и название книги, и мозаика каких-то жизненных афоризмов, по форме напоминающее «строматы» Климента Александрийского). А поскольку его тексты прямо изобиловали противоречиями, несогласованностью, то страшно раздражали оппонентов. Судите сами: пишет о Чернышевском и называет его Николаем Григорьевичем. Ему говорят, что Чернышевский вообще-то Николай Гаврилович. Розанов и не подумает исправляться, это-де такая мелочь. Для публики подобное нередко выглядела ерничаньем, издевательством. Да вот прочитайте сами:

«– По содержанию литература русская есть такая мерзость, – такая мерзость бесстыдства и наглости, – как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленном, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить – чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковать, серп исполнить, косу для косьбы сделать (“вывозим косы из Австрии” – география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, “как они любили” и “о чем разговаривали”. И все “разговаривали” и только “разговаривали”, и только “любили” и еще “любили”».

Никто не занялся тем (и я не читал в журналах ни одной статьи – и в газетах тоже ни одной статьи), что в России нет ни одного аптекарского магазина, т. е. сделанного и торгуемого русским человеком, – что мы не умеем из морских трав извлекать иоду, а горчишники у нас “французские”, потому что русские всечеловеки не умеют даже намазать горчицы, разведенной на бумагу с закреплением ее “крепости”, “духа”. Что же мы умеем? А вот, видите ли, мы умеем “любить”, как Вронский Анну и Литвинов Ирину и Лежнев Лизу и Обломов Ольгу. Боже, но любить нужно в семье, но в семье мы, кажется, не особенно любили, и, пожалуй, тут тоже вмешался чертов бракоразводный процесс (“люби по долгу, а не по любви”). И вот церковь-то первая и развалилась, и ей-ей, это кстати и “по закону”».

Эти строки написаны в период страшной революционной разрухи, и, конечно, обстановка увеличивала чувство раздражения, и, конечно, слова несправедливы по отношению к литературе. И все же, согласитесь, раздражение небезосновательно. О том ли нужно говорить, когда жизнь и Россия в неустроении и даже погибают?! И опять – ассоциация с современностью. О чем сегодня разговор? Кто с кем переспал, и можно ли геям гулять, и можно ли «Пусси райот» плясать? Режут головы террористы, разваливают государства, миллионы людей мечутся по Африке и Азии, а теперь и по Европе. Убивают русских людей на Украине, а на Ближнем Востоке – христиан. А в это время о чем говорит публика пресловутая? Опять о свободе любви, о том, кто что сказал в доме у артистов, кто с кем кому изменил... Приведу один факт: в недавних 90-х едва ли не 10 лет шла **всеафриканская** война, убили около 5–6 миллионов человек. Спросите себя, кто об этом слышал?! А вот о страдающих гулльливых «Пусси райот» слышали все!.. Так что всечеловеки все те же и все там же.

Конечно, Розанов не считал русскую литературу мерзостью. Достаточно напомнить, что Василий Васильевич писал о Пушкине. Что Пушкин, по его мнению, подвинул русского человека не на шаг, а на целое поколение, что у Пушкина нельзя разобрать, где кончается поэзия и где начинается философия, что Пушкин уже решил спор между Западом и Русью.

А о Лермонтове: «Ах, и державный же это был поэт!» «Какой тон! Как у Лермонтова – такого тона еще не было ни у кого в русской литературе. Вышел – и владеет. Сказал – и повинуются. ...И он так рано умер! Бедные мы растерянные... Час смерти Лермонтова – сиротство России». Достоевский был кумиром Розанова.

Иными словами, Розанов вовсе не был противником великой русской литературы, он просто по-иному смотрел на вещи, по-иному, нежели «публика». А публика не понимала его, как это можно печататься в газетах и журналах разного направления или даже противоположных направлений. Или упрекали его в том, что он был вроде бы «за» сегодня, а завтра писал вроде бы «против». Как это понять? «Приспособленец» – по Троцкому. А если есть правда и в первом, и во втором случаях? Как говаривал Аполлон Григорьев, когда его упрекали в противоречии, что он и сам не знает, как он завтра скажет, поскольку это не он говорит, а через него мир (жизнь) говорит. Жизнь или мир всегда выше и больше любой теории и любого конкретного человека. И истина может быть противоречива.

### Кто он – Розанов?

Его не понимали. Поэтому то осуждали, то исключали из общества (например, Религиозно-философского общества). И пытались найти объяснение. Называли его то «русским Ницше», то «фаллическим» Розановым, то «Розановым в микве» и т. п. Думается, что все это глупости. Какой же он «Ницше»? Схожесть их в том, что пишут афоризмами и против удушающей науки. И это все? Немного! А вот теперь сравните. Аполлинурия Суслова, первая жена, на 16 лет старше его, крутая и неумолимая, вела себя с ним так: «Станешь умываться, снимешь очки, а она подойдет и по морде трах!» Удивительно, что он писал такое! Вспомните у Ницше: идешь к женщине, не забудь плетку. Ницше писал о звере и о его легализации, о пресловутой белокурой бестии, писал: падающего подтолкни. Розанов писал о жалости, о милости, о маленьких детях, о плоти как о начале жизни и поэтому о детях и о семье. Они – Ницше и Розанов – фантастически несовместимы. Один не обидит женщину и ребенка, другой видит в них лишь материал, слабейшего, которого нужно подтолкнуть, говорит о спеси сверхчеловека, а бог (как милость и жалость) умер.

Или, например, пишут, что вторая жена была верующей православной и вдовой священника и это удержало Розанова в рамках православия. А не проще ли вспомнить, что сам Розанов был очень склонен к традиции, любви к несчастной своей родине и был внуком священника. Это скорее и точнее объясняет и выбор им жены, и его поведение, нежели внешнее влияние. Он всегда был волен и свободолобив.

«Фаллический» в «микве» (ритуальный бассейн в иудаизме) Розанов писал о семье как начале всех начал, о любви к детям как основе всех человеческих чувств и организаций, государства и религии. Когда пишут об интимном Розанове, то хочется тоже возразить. Слово «интим» сегодня напоминает скорее о чем-то не совсем приличном, о магазинах, где торгуют специфическими товарами. Но ведь Розанов пишет не об этом, для него семья святое. Он скорее пишет о душевном, о личном. А личное может затрагивать «запретные» темы. Вспоминается известная история о том, как едва ли не лучший министр куль-

туры Е.А. Фурцева приехала в Псково-Печерский монастырь и стала выговаривать настоятелю монастыря Алипию за то, что он, офицер и фронтовик, и вдруг в монастыре. Говорила, как видите, в рамках публичной морали, которую не принимал Розанов. Настоятель Алипий ответил в розановской манере: мне на фронте мужское достоинство в бою оторвало, так куда же я пойду кроме монастыря. Разговор закончился моментально.

Интимная манера разговаривать и поднимать темы «необычные»? Нарушающая публичную мораль, которую так не любил Розанов, эта манера приводила к неожиданным выводам. В жизни каждый наверняка сталкивался с ситуациями, о которых не говорят на публике, а наедине достаточно просто обсуждаются. Нет запретных тем, а есть определенные правила, как их обсуждать. Например, есть врачи гинекологи и проктологи, однако их профессиональные предметы разговоров вряд ли могут легко обсуждаться на площадях. Так и Розанов нередко видел за запретными темами не их малое и запретное значение, а неверность официальной системы правил их обсуждения. В мире много правил: в Индии порнографией считают и преследуют фильмы с поцелуями. Хорошо, что не являются запретными картины еды, но приличными в Индии они так и не стали. Вспомните, когда в индийских фильмах вы видели сцены пиршеств и застолий? Примете ли вы тогда умолчание о еде как лучшую мораль мира? Розанов был против многих надуманных правил. Конечно, стоит понять тягу Розанова к «запретным» темам. Он не боялся менять правила разговора, приличий и неприличий, и этим буквально ошарашивал. Он понимал, что в реальной жизни может быть совсем наоборот. Что в целомудренной Индии с ее боязнь поцелуев нет фригидных женщин, и этот парадокс напоминает нам и о «Камасутре», и о ханжеской западной морали. Иными словами, в Индии найден баланс целомудренности и запретов на публичность многих форм взаимоотношений мужчины и женщины, и в ней совмещается и чувственность «Камасутры», и запрет на поцелуи, однако это не ведет к фригидности женщин. А в Европе с ее ханжеской моралью баланс утерян и в результате около 20% женщин фригидны.

С эстетизмом и чувством прекрасного аналогичная картина. Здесь тоже очень важен баланс. Так, в китайской культуре извозчик может петь оперные арии, чего в Европе и России вы не встретите. А в Японии существует обряд любования цветением сакуры. Однако работающий в Японии русский физик, побывавший на подобном празднике, не заметил на кафедральной гулянке ни одного благоговейного взгляда на дерево, была пьянка, да и все. Крайний эстетизм указанных культур сочетается в этих странах с книгами типа «Искусства пукать».

## Чем нам сегодня интересен Розанов?

В подзаголовке задан главный вопрос. Вспомним план его собрания сочинений. Легко понять, что литературно и философски Розанов может многое объяснить нам сегодня. В ряде замечаний, как представляется, было показано, насколько он современен. И все же некоторые философские темы стоит подчеркнуть.

Первое. Его толстый труд «О понимании» был написан классически-философски. Написан антиевропейски и антипозитивистски. В этой работе Розанов показывает, что основной грех европейски-позитивистских

работ состоит в том, что они – эти работы – живую жизнь и человека приравнивают к механизмам и неживой материи и лишь исходя из этого объясняют людей. Но объяснение и понимание есть совершенно различные понятия. Для наук о неживом нет проблемы понимания, там достаточно объяснений. А людей, их культуры, смысл их поступков надо понимать, а не только объяснять. Так, культурологи постоянно отмечают одну и ту же черту американцев и многих европейцев: и тем и другим объяснили смысл какого-то обряда или русской традиции, объяснили правильно, однако это объясненное так и осталось непонятым. Бабушка поправила молодому американцу в метро поднятый воротник, что у него вызвало раздражение. Бабушка проявила заботу и дружелюбие, а американец понял ее жест как вторжение в его личную жизнь и счел это бесцеремонностью.

Понимание очень важно в гуманитарной сфере. Розанов фактически вводит категорию «понимание» как метод, доказывает ее необходимость и полностью разворачивает открывшиеся возможности. Пожалуй, это до сих пор лучшая работа о понимании. Стоит добавить, что он слишком сильно опередил свое время, и на него не среагировали и не услышали. Проблема понимания в нашей философии возникла лет 50 назад, при этом большинство авторов отталкивались от Достоевского (как и Розанов), только не обладали его интуицией и «своим» языком. Поэтому его работа и ныне актуальна. Весьма показательно то, что это вообще его первая работа систематически-философская. И она единственная в таком роде, он уходит от подобного рода сочинений, от стиля, но уже первая работа стоит много больше массы современных трудов по пониманию, тем более что эти работы больше эпигонские.

Второе. Исключительно интересен был бы разбор его высказываний по многим проблемам философии истории. Именно – по многим, поскольку и сам он об очень многом написал, и его философская интуиция нам очень помогла бы сегодня в поиске решений на перепутье. Так, по многим воспоминаниям известно, что советские люди стеснялись садиться на рикшу. Ездить на людях – неприлично. Но Розанов в своих «Итальянских впечатлениях» говорит о том, что русские до революции отказывались садиться в носилки к итальянцам. Где исток советского?!

Третье. Правильно отмечали исследователи, что у Розанова в конечном счете все сводилось к аксиологии. Аксиология есть учение о ценностях. Это сегодня не просто модное, а исключительно необходимое, нужное и самое современное направление философских исследований. И одна из ключевых проблем аксиологии состоит в попытке понять источник ценностей. Одни склонны (это, в первую очередь, либеральствующие западники) не отличать ценности от потребностей, а поэтому называть все национальные идеи глупостью. Легко понять, что последние 25 лет в России применяли все «европейские» приемы, а в результате, как написал писатель А.А. Кабаков, поняли, что народ не тот достался. И тогда власть заговорила о необходимости открыть национальную идею.

Другие склонны к тому, что ценности есть особый феномен, не вырастающий из корней, это своего рода мистическое чудо, и искать ответы на эти вопросы нужно в религии и традиции, в православии или, еще бывает, в язычестве. Думается, что Розанов нашел гениальное решение вопроса в том, что ценности, конечно, из жизни, а суть народного национального духа состоит в гамме, сцеплении, сочетании ценностей, что и дает особую мелодию народа – нации. Ведь нот всего

семь, а вот их сочетание дает невероятное множество различной музыки. Эти его мысли стоит использовать. Тем более легко понять, что первые позитивистски-либеральные тянут в век Просвещения, в XVIII век, а вторые повторяют с учетом, конечно, места и времени марбургскую школу, приверженцев которой Б.Л. Пастернак в свое время назвал интеллектуальными животными и даже ослами.

И наконец главное. Розанова всего сегодня важно ввести в оборот современных размышлений в философии, истории, литературе, аксиологии. Именно современных, а не только истории философии. Он современен в большинстве поднятых им вопросов и предлагаемых им решений, как философских, так и литературных. Его нужно прочитать, понять и разобрать. Необходимость прочитать и понять, видимо, всем ясна, а почему – разобрать? Да потому, что он не бог и не святой, он тоже может ошибаться или не договаривать в конкретной фразе, а по его же рецепту нужно обращаться и к бытовым, и к бытийным размышлениям. Мы сможем прочитать историю после Розанова более чутко, постичь ее глубинные истоки и в то же время понять их соотношение – многообразие в единстве. Например, Василий Васильевич пишет о женственной душе России. Он подчеркивает ее мягкость, умение понять других, сохранить традицию, противопоставляет эту линию немецко-германской. Но ведь мы помним не только им сказанное, но и Вторую мировую войну как войну Отечественную. В этой войне советским русским немцам запрещено было появляться в прифронтовой полосе. Значит, ранее в России на русской стороне могла воевать Барклаи, Фигнеры, Эссены, Остерманы, Нейгарты, а вот во второй Отечественной войне победу одержали русские над немцами и без помощи немцев. Это своего рода чистый эксперимент, поставленный самой историей. И об этом потом напишет И.Л. Солоневич, напишет о мужественной и державной сути русского духа, духа, обеспечившего громадные освоенные пространства, выживание в многочисленных войнах на протяжении всей русской истории.

В силу увлеченности Розанов мог в конкретной фразе исказить историю, и это надо учитывать. И надо учитывать его невероятное свободолюбие: Розанов писал о себе: «Я – свободный христианин». А это означает: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллионы лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет, и вдруг я бы ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй “по морали”».

Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славенькая, гуляй, добренькая, гуляй, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу».

И в этой фразе все очень русское – и раззудись плечо, и Василий Буслаев, и выражение Достоевского «широк русский человек, его бы сузить». Горький хорошо относился к Розанову, присылал ему денежную помощь в трудные минуты. Однажды он сказал об одном философе – «великое дитя океанного мира сего». Примерно то же сказал о себе «своими словами» и наш герой – «шалунок у Бога».

И в этом – Василий Васильевич Розанов.

## Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут (семинар Юрия Кузнецова).

Доктор медицинских наук. Автор шести поэтических и четырёх прозаических книг, многочисленных публикаций в «толстых» журналах, зарубежной периодике. Победитель международных поэтических конкурсов «Рождественская звезда» (2011), «Цветаевская осень» (2011), имени Сильвы Капутикян (2013).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ОДИНОКИЙ ВОЛК РУССКОЙ ПОЭЗИИ

### Воспоминания о Юрии Кузнецове

#### 1

О смерти Юрия Кузнецова я узнал не сразу. Признаюсь честно – это известие меня больше расстроило, нежели шокировало. Скоропостижная смерть от инфаркта вовсе не была случайностью. В последние годы жизни поэт сильно сдал – и не только физически. «Я иду к закату», – часто повторял он тогда. И все же...

«Большое видится на расстоянии», – писал в своем хрестоматийном стихотворении один из любимых поэтов Кузнецова. Время бежит с умопомрачительной быстротой, оставляя нам подчас только контуры былого. Что-то забывается, уходит на второй план. А что-то вдруг неожиданно вспоминается, приобретает черты новые, зримые, осязаемые, отчетливые. Так вот и думаешь – а почему это мне вспомнилось только сегодня? Почему раньше все это безвылазно валялось в анналах памяти, как металлолом на мокром и неуютном школьном дворе, как разваливающиеся от времени корзины на бабушкином чердаке? И в этом, наверное, и заключается парадокс любых воспоминаний.

Я не был другом Юрия Кузнецова. Был ли я его учеником? И да и нет одновременно. Постараюсь объяснить. Я не был его учеником в том сакральном, возвышенном смысле, который подразумевает продолжение дела некоего Мастера. Именно так, Мастером с большой буквы, великим поэтом и даже гением постепенно стали величать Юрия Поликарповича стихотворцы и критики, удачно сплоченные журналом «Наш современник» на крутой и тернистой стезе создания культа личности и посмертной канонизации одного из интереснейших лириков двадцатого века.

Однако в прикладном, практическом, служебном, административном смысле я как раз в учениках Кузнецова значился. Ведь даже учительница начальных классов будет права, если скажет, что Вася Пупкин – ее ученик. Наверное, и студента Литинститута, официально обучающегося в семинаре Юрия Кузнецова в течение долгих пяти лет, а не просто вольнослушателя, пришедшего на семинар с Тверского бульвара или с Большой Бронной (а ведь и такие бывали!) вполне можно назвать его учеником (студентом, семинаристом – нужное подчеркнуть!)

Не хочу причислять себя к ученикам Поликарпыча и еще по одной причине – можно сказать, психологической. Слишком уж много у наших ушедших талантливых и неординарных людей после смерти остается «друзей» и «учеников». А в случае Кузнецова это особенно характерно. Он уже превратился в некое знамя литературных патриотов, а скорее, считающих себя патриотами, знамя, которым не машет разве что ленивый. Самое печальное, что делает это не только группа его клеветников, действительно хорошо знавших Поликарпыча и изучавших его яркое творчество (вроде пермского писателя, выпускника ВЛК, Игоря Тюленева), но и лица, мало сведущие в поэзии как таковой. Так, Игорь Тюленев, не лишенный кузнецовского шапкозакидательства, на страницах того же «Нашего современника» (2004, № 11) в статье «Так говорил Поликарпыч» (вам это название ничего не напоминает?!) совершенно серьезно провозглашает: «Данте писал свою поэму 8–10 лет, а Кузнецов закончил ее (то есть свою поэму. – Е.Э.) за полгода!» Интересная, я бы даже сказал, шокирующая аналогия. Не говоря уж о том, что быстрота писания и талант не всегда идут рука об руку.

Николай Переяслов в весьма смелом и достойном внимательного прочтения эссе «Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова», опубликованном в журнале «Сибирские огни» (2005, №10) указывает на похожие панегирики того же Тюленева. «Когда пишут ныне *необоснованно* растиражированные (курсив мой. – Е.Э.) Мандельштам, Пастернак или Бродский, – говорит пермский поэт, – виден глазомер, ум и стопка русских литературных словарей... Когда же пишет Юрий Кузнецов, то стихи его вздымаются, как планетарные валы мировой истории. Кипит на гребнях волн суть и бытие поэта, всё: знание, язык, душа и сердце – сконцентрированы для точного удара, способного пробить Вечность!» («День литературы», № 3, март 2003 года).

Ну как не простить ученику Кузнецова крайнюю эмоциональность! Поэт все-таки. Кстати, ни минуты не сомневаюсь в искренности Тюленева. Почти все настоящие ученики (специально на этот раз пишу это слово без кавычек!) Юрия Поликарповича таковы – люди прямые, с принципами, искренне любящие поэзию, нередко воцерковленные и, конечно же, чуткие к слову.

Однако память о талантливом учителе, уважение к нему и создание культуры личности – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Самое печальное, что для этой группы людей он становится такой же знаковой фигурой, таким же кумиром, каким для наших «либералов» стал Иосиф Бродский (я не случайно употребляю это слово в кавычках, постольку те, кого мы сейчас называем «либералами», к либерализму, в его историческом понимании, не имеют никакого отношения, и связывать с этой братией веселое слово «свобода» считаю полной безвкусицей и моветоном).

Тот факт, что Кузнецов стал противоположным полюсом Бродского, меня несколько удручает. Удручает потому, что нелепые железные

опилки, однообразные в своей колкости и неотесанности, колючие канцелярские кнопки и скрепки, а также проржавевшие гаечки и гвоздики, приставшие к притягательному полюсу Кузнецова так, что их и оторвать от него невозможно, начинают пищать всевозможными голосами и на все лады о физических свойствах магнитного поля. Если продолжить физические аллегории, то поэзию мне хотелось бы сравнить не с магнитом, у которого ничего нет, кроме дипольности, а с радугой – ее оттенки переходят друг в друга без отчетливых границ. Действительно, возможно ли определить ту точную границу, которая отделяет желтый цвет от оранжевого, а оранжевый – от красного?

Но не хочу быть категоричным. В какой-то степени я ведь тоже клеветник Кузнецова и на шкале «Кузнецов – Бродский» по своим поэтическим пристрастиям куда ближе нахожусь к нашему гению (то бишь к герою этих воспоминаний, поскольку у слова «гений» в девятнадцатом веке было и такое значение!), чем к более прославленному и весьма симпатичному лично мне нобелевскому лауреату. Хотя никогда не воспринимал мир поэзии как нечто однолинейное, где движение может быть только «вправо-влево».

Итак, продолжу по поводу категоричности и желания ее избежать. На культ Кузнецова можно посмотреть и по-другому. Действительно, что может быть плохого в том, что коллеги чтут память своего товарища? Ведь Поликарпыч не только постоянно публиковался в «Нашем современнике», но и последние годы жизни работал в нем заведующим отделом поэзии! Автор этих строк, оказавшись на Цветном бульваре, забегал подчас в комнатку на первом этаже, слушал его ворчание и терпеливо вдыхал едкий и густой сигаретный дым. Если славословий подчас гораздо больше, чем объективности, то и это можно понять. Свой все-таки... Но плохо, когда панегирики переходят разумные границы и «вздымаются, как планетарные валы».

Мне хочется поделиться своими мыслями и воспоминаниями, и причина этому – та совершенно разномастная, а то и вовсе неверная информация, до сих пор витающая возле ушедшего поэта, значительность которого трудно переоценить. Деятели «либерального» лагеря вообще Кузнецова не замечают, как будто его и не было вовсе. И о смерти его наши «либералы», засевшие в СМИ (патриотов там нет совсем!), не сообщили. И это многообразие реакции на творчество поэта – от полного специального замалчивания до обнаружения в нем «планетарных валов мировой истории» нуждается в некоторой коррекции.

## 2

Если меня спросят, какова особенная, родовая черта поэта Кузнецова, я отвечу так: «Чувство одиночества». Пожалуй, мне очень редко приходилось видеть и ощущать людей с таким крайним, вселенским ощущением этого чувства. Не бытового, не социального (поэт был женат и имел двух дочерей), но одиночества онтологического. Именно поэтому я вообще весьма скептически отношусь к появившимся «друзьям» Кузнецова. Хотя люди близкие по духу у Поликарпыча, разумеется, были. Здесь, конечно, прежде всего, нужно назвать неординарного Вадима Кожинова, одного из лучших русских критиков двадцатого века, первым заговорившего о нем в своих статьях как о представителе первого ряда русской поэзии не сухим академическим языком литературоведа-профессора, а тем неравнодушным критиче-

ским глаголом, который «жжет сердца людей» не меньше, чем само поэтическое слово.

Обычно на семинарах (да и в простых, заштатных литобъединениях) прежде всего обсуждают отдельные строчки, «ловят блох». Юрий Поликарпович, конечно, тоже анализировал строчки, и весьма умело, но прежде всего внимательно изучал самого пишущего человека, пытаюсь определить его исконную, родовую черту. А потом ставил диагноз.

В конце апреля 1993 года, окончив первый курс и уходя на каникулы, я спросил у Поликарпыча, чем он посоветует мне заняться летом, ожидая услышать что-нибудь вроде «Перечитайте Константина Случевского!» (а он очень ценил этого незаслуженно забытого поэта). Ответ Кузнецова был, как всегда, непредсказуем. «Изменить жене!» – сказал он мне с каким-то особым лихорадочным блеском в глазах.

Это «изменить жене» совершенно непонятно тому, кто не знал Кузнецова. Но поэт обладал неким кодом, расшифровать который дано было далеко не каждому. В данном случае «изменить жене» означало уйти от стереотипов, от гладкописи, пересмотреть свой взгляд на мир. А возможно, изменить и саму манеру письма, изменить той музе, которой служил до этого. Потом, после защиты мной дипломной работы, он опять употребит это слово – «изменить». Но об этом после.

«Надо, чтобы филологическое отношение к слову превратилось у вас в первородное отношение», – повторял он нам, семинаристам. Часто советовал заблудиться в лесу и почувствовать его простор, забраться на высокую горную вершину и посмотреть с нее на дольний мир, поехать на берег океана.

На одном из семинаров Многорыбыч (а так назвал его однажды один из моих сокурсников, поэт из Нового Оскола Михаил Машкара, удачно обыграв такое простое, русское, но несколько архаичное отчество поэта) рассказал о своих ощущениях от Черного моря:

«Когда сидишь на крымском берегу, то совсем не ощущаешь простора, несмотря на то что впереди – открытое море. Чувствуется, что до Турции рукой подать. А вот Тихий океан – совсем другое дело. От него ощущение такое, что нет уже ничего до самой Японии».

Кстати, само это прозвище – Многорыбыч – в семинаре нашем не прижилось, к тому же и от семинара вскоре остались какие-то жалкие крохи – многие убежали к другим руководителям. Но Поликарпычем мы его называли до конца учебы – между собой, разумеется.

Отношение к нему у семинаристов было самым разным – от скептически-ироничного у Андрея Ширяева до восторженного у Марины Гах, ставшей в дальнейшем самоотверженной кузнецовской клеветкой. Талантливая поэтесса, имевшая на момент поступления в Литинститут диплом архитектора, была умна, в меру педантична и обладала выраженными способностями и интересом к научным исследованиям. В дальнейшем Марина перешла на дневное отделение, занялась изучением прозы Платонова под руководством выдающегося платоноведа Натальи Корниенко, что имело логическим завершением защиту кандидатской диссертации. В девяностые годы Марина ходила на все без исключения семинары Мастера (именно так, с большой буквы, она величает Кузнецова), тщательно записывая его беседы, часть из которых опубликовала в дальнейшем все в том же вышеупомянутом «Нашем современнике» под названием «Раздумья Мастера» (2004, № 11 и 2007, № 2).

Эти публикации крайне интересны и ценны во многих отношениях. Кузнецов предстает в них как самобытный литературовед, критик,

мыслитель, историк и даже философ. Я тоже вел заметки на кузнецовских лекциях, и тетрадка с ними сохранилась. Но мои конспекты ничто по сравнению с записями педантичной и старательной Марины – похоже, она отражала чуть ли не каждое слово своего кумира. И мы должны поблагодарить ее за это.

Он учил не только видеть в стихах вертикаль, но и выстраивать образный ряд по вертикали. «Адская бездна – Земля – Небо – Бог» – именно так, а не по кривой и не по касательной к земле. Приземленность поэт не жаловал. Всегда тщательно анализировал в этом ключе шедевры русской поэзии – «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Выхожу один я на дорогу», «На стоге сена ночью южной», «Люблю грозу в начале мая». Показывал, что стихотворения, построенные по горизонтали (например, любовные, где один человек обращается к другому) на порядок ниже.

Очень часто говорил Кузнецов о культуре Средневековья, о шкале ценностей человека этого периода. Для меня было откровением его отрицательное отношение к эпохе Возрождения, которую он понимал как бунт отдельной личности против мировых устоев, как проявление богоборчества. Отсюда, возможно, его резко отрицательное и даже враждебное отношение к горбачевской перестройке и ко всему тому, что случилось после этого.

Ни минуты не сомневаюсь в том, что самая большая катастрофа прошлого века – распад Советского Союза. Мир держался на противостоянии, у «либеральной» системы Запада был антипод. Кузнецов прекрасно понимал, что крепкий русский желудок, привыкший к самой неделикатной пище, полностью переварил стальную арматуру коммунизма, тем более что у коммунистической идеологии и всего того, что мы называем «славянофилией» много общего. Характерно, что похожие мысли высказывал незадолго до своей смерти и Валентин Распутин, акцентируя, в частности, в многогранной личности Сталина не тиранически-разрушительные, а созидательные, соборные черты.

Так получилось, что именно я был свидетелем состояния поэта в те дни, когда все адекватно мыслящие и хоть что-то чувствующие люди полностью отвернулись от наших «либеральных» властей после расстрела первого русского парламента.

Мы тогда занимались вместе со слушателями ВЛК – Кузнецов иногда объединял по вторникам два семинара, тем более что народу к нему всегда ходило очень мало. Белорусский поэт Валерий Гришковец, сидевший рядом со мной на одном из семинаров в самом конце сентября 1993 года, когда двоевластие в стране еще только нарастало, а не перешло в безумное кровопролитие, высказал сомнения по поводу наличия положительных героев в русском политическом романе. Попросту говоря, он сказал, что не видит разницы между командой Гайдара и окружением Руцкого. Теперь я хорошо понимаю, что имел в виду белорусский коллега. Но тогда, в далеком и голодном 1993 году, меня, человека всегда очень далекого от какой бы то ни было политики, эти слова просто резали, несмотря на то, что Руцкой никогда мне не был особенно симпатичен – ни как политик, ни как человек. Похожую реакцию вызвали слова Гришковца и у Кузнецова. «Так что, неужели совсем нет разницы? – вскипел Поликарпыч. – А между добром и злом есть разница? Какой же вы поэт, если не видите разницы между добром и злом!»

Кем-кем, а уж нищезанцем Поликарпыч явно не был, хотя по его манере общаться с малознакомыми людьми подчас могло так показаться.

Не помню, что ответил ему смущенный Гришковец. А через неделю после этого разговора «либеральные» ницшеанцы уже палили из танков по Белому Дому.

Через год (точнее, через тринадцать месяцев) после запомнившейся мне кузнецовской тирады по поводу добра и зла, в октябре 1994 года, на осенней сессии третьего курса, Поликарпыч прочитал нам свое новое стихотворение. Пожалуй, это было единственное его авторское чтение на семинаре. Обычно он свои стихи нам целиком не читал, а только приводил отдельные строчки. По-видимому, ему сильно захотелось поделиться написанным. Впрочем, и стихотворение-то это очень короткое.

#### ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОГО РАССТРЕЛА 93-ГО ГОДА

*Октябрь уж наступил...*

А.С. Пушкин

С любовью к октябрю Россия увядает,  
Она жива сегодня, завтра нет.  
Зажги свечу и плачь!.. Уж осень отряхает  
Кровавые листы – их так любил поэт.  
Народная слеза в осадок выпадает,  
Народная тропа уходит на тот свет.

Это стихотворение написано 17 сентября 1994 года, так что прочитал он нам его через две-три недели после создания.

### 3

В Литинститут я попал исключительно благодаря творческому конкурсу. Это вовсе не значит, что я не поступил бы по результатам вступительных экзаменов. К учебе я привык относиться серьезно, к тому же в 1992 году, на момент поступления в Литинститут, сам уже был преподавателем вуза с шестилетним стажем. Мне тогда было 29 лет – для студента-заочника Литинститута самый, можно сказать, среднестатистический возраст.

Произошло же следующее. В 1992 году Кузнецов впервые стал набирать семинар в Литинституте. Раньше он вел семинары только на ВЛК, где всегда учились люди более зрелые, исключительно члены Союза, с большим жизненным опытом, имевшие к моменту поступления если не книги, то солидные публикации. Почему он снизошел до Литинститута, я могу только предполагать. Так вот я предполагаю, что причины были самые простые. Не шкурные, разумеется, но сугубо материальные. Литература как профессия в девяностые годы перестала кормить, и Кузнецов, как и многие в ту фантазмагорическую пору, стал активно искать работу или подработку. Свое время он всегда ценил и ни с какими молодыми поэтами долго не возился. Никакого педагогического дара у него не было.

Из огромного потока рукописей, пришедших на творческий конкурс, он выбрал около десяти. Эти десять авторов и были приглашены в Москву сдавать в августе 1992 года вступительные экзамены. Другие мастера делали иначе – они приглашали гораздо больше абитуриентов, поэтому в других семинарах был конкурс на основании баллов вступительных экзаменов, а у нас его совсем не было.

Об этом проговорила, почувствовав мое закономерное волнение, председатель приемной комиссии того года, преподаватель истории Зоя Михайловна Кочеткова. «Считайте, что вы уже поступили, – сказала она мне еще до экзаменов. – Если, конечно, двойку не получите».

Не могу сказать, что ее слова меня успокоили, я продолжал серьезно готовиться к экзамену (а экзамен, по сути дела, был только один – общий по русскому языку и литературе, поскольку другие экзамены – творческий этюд и изложение – не требовали теоретической подготовки).

Почему все-таки Кузнецов выбрал именно мои стихи? Не знаю. Возможно, просто на глаза первыми попались или какая-то отдельная строчка зацепила. Не думаю, чтобы он, при его утробном презрении к графоманам, часами разбирал груды рукописей. Я вообще никогда не был фаталистом, и слово «судьба» всегда казалось мне пустым, если иметь в виду его надуманно-возвышенное значение.

В то время я ориентировался на поэтов акмеистского ряда. Мне нравились элегичность, внимание к детали, работа со звуком (в разумных пределах, разумеется). Суховатая лира Кузнецова меня не слишком впечатляла, хотя классические его произведения, такие как «Атомная сказка», я знал наизусть с юных лет. Вместе со мной в семинар к Кузнецову попал поэт и бард, толстый увалень Андрей Ширяев, в октябре 2013 года покончивший с собой в Эквадоре (застрелился в ванне). Разгромив в пух и прах на одном из первых осенних семинаров 1992 года стихи добродушного, незлобивого и удивительно располагавшего к себе Ширяева, Кузнецов сказал, что взял его в свой семинар в качестве отрицательного примера. Как абсолютное большинство поэтов, Ширяев был болезненно самолюбив, хотя тщательно скрывал эту черту под иронической интеллигентной улыбкой. После суровой, но вовсе не убийственной и во многом справедливой критики руководителя Андреем убежал в семинар к Юрию Левитанскому.

На первом и втором курсе я, как и многие студенты Литинститута, изредка посещал и другие семинары. Полностью свободный от лекций творческий день – вторник – позволял это делать. Могу сказать наверняка, что в девяностые годы более сильного поэтического наставника (о прозаиках не пишу специально, чтобы не уходить в сторону), чем Кузнецов, в Литинституте не было. Семинары добродушного Юрия Левитанского напоминали интеллигентские застольные посиделки. Умный и начитанный Игорь Волгин делился своими обширными знаниями, но отнюдь не творческим опытом. К тому же обилие московских девочек на семинарах Волгина и Галины Седых напоминало литературный кружок при Дворце пионеров. Постоянно кричащий глуховатый Евгений Рейн, чей голос был слышен за сто метров до аудитории, в которой проходил семинар, превращал занятия в перманентные воспоминания о Бродском.

#### 4

Но вернемся к одиночеству. Одиночество как физическое, ментальное и онтологическое состояние поэта – на мой взгляд, главная, ключевая, структурообразующая составляющая не только творчества Юрия Кузнецова. Это ключ ко всей его личности.

Звать меня Кузнецов. Я один.  
Остальные – обман и подделка.

Эти его знаменитые строки, зацитированные вдоль и поперек, показавшиеся когда-то эпатажными по-советски мыслящей коллективистке и фронтовичке Юлии Друниной, да и многим другим литераторам, в действительности меньше всего похожи на эпатаж. Вот если бы подобное написала сама Друнина, то, мне кажется, у многих был бы, по меньшей мере, шок:

Знайте, Друнина я. Я одна.  
Остальные – обман и подделка.

Для Кузнецова эти слова были органичны. Он чувствовал себя всегда только *одним*, ощущал себя единичным, штучным явлением.

Я не случайно остановился на слове «подделка». В обыденной жизни он употреблял его куда чаще, чем в стихах. Для разговорной лексики Поликарпыча оно было, как говорят лингвисты, высокочастотным. Я не помню ни одного семинара, на котором бы он не употребил это слово хотя бы один раз. Он часто говорил о стихотворцах-фальшивомонетчиках, предлагающих людям денежные купюры, не обеспеченные золотым запасом. Это был очень четкий образ, впечатавшийся в мое сознание раз и навсегда с первого же семинара.

Я и сам чувствовал всегда эту подделку в стихах очень многих людей, окружавших меня с юности. Но я не сумел так точно определить это явление, хотя был близок к этому. Кузнецов расставил точки над *i* в моем понимании многих проблем, волновавших меня изначально, задолго до встречи с ним.

Сформировал ли он мое творческое кредо? Вряд ли. Но он определил дорогу, по которой надо двигаться, приложил свою руку к еще не застывшему до конца гипсу. Странно, но как человеку он мне дал куда больше, чем как сочинителю. И это – один из вечных парадоксов нашей жизни, поскольку учиться-то я приехал именно литературному мастерству, а не пониманию жизни.

Возвращаясь к теме «подделки», такой важной и такой актуальной во все времена. Почему-то первыми в числе фальшивомонетчиков стояли у него Бродский и... Высоцкий. Меня это, конечно, устроить не могло. У меня был свой табель о рангах, своя иерархия. Никогда не питая особого пиетета к поэтическому творчеству глубоко симпатичного мне по-человечески Иосифа Бродского, я прекрасно понимал, что если Бродский – генерал в литературе, то Высоцкий заслуживает разве что звание ефрейтора. И вообще замечательный артист Высоцкий был кем угодно, но только не профессиональным поэтом. Именно поэтому, а не из-за каких-то там политических и диссидентских взглядов, и не принимали его в Союз писателей, на что он совершенно напрасно обижался.

## 5

Особое отношение у Кузнецова было к земной славе. В частности, к славе собственной. Наверное, ни один из писателей, с которыми мне приходилось общаться (за исключением, пожалуй, Федора Григорьевича Сухова), не относился к ней так равнодушно. Сухов, правда, был человек православный, воцерковленный. Кузнецов часто говорил о своем православии, но в его воцерковленности я – увы! – сомневаюсь. Никак

не могу, хоть убейте, представить Поликарпыча соблюдающим пост! Юрий Кузнецов, который по средам и пятницам ест только рыбу (в институтской столовой по есинскому талону днем и в нижнем ресторане ЦДЛ вечером). Это нонсенс!

Жажда славы, тщеславие, желание иметь успех – один из важнейших социальных двигателей человека. Говоря о категории славы немного свысока, Кузнецов, вероятно, несколько лукавил.

Теме славы он посвятил специальную двухчасовую лекцию, но почти на каждом семинаре к этому понятию возвращался. Однажды рассказал историю более чем будничную. В библиотеке Литинститута, куда он зашел за книгой, его спросили, с какой он кафедры. «С кафедры творчества. Звать меня Кузнецов. Юрий Кузнецов. Знаете такого поэта?» – «Первый раз слышу», – ответила библиотечарша.

Далеко не каждый современный автор, столкнувшись с таким положением вещей, начнет это рассказывать своим друзьям, потенциальным читателям на авторском вечере, а тем более своим студентам как нечто смешное. Сейчас в моде другое – создание имиджа популярности. Как часто приходится читать на книжных обложках, видеть в сети такие фразы как «Иван Пупкин – широко известный русский писатель». Извините, кому известный?

В этом заключается некий трюк, весьма тонкая психологическая фишка. Видит домохозяйка в книжном магазине фамилию Пупкина под серийным брендом «Лучшие наши писатели» и в ее эмбрионально чистом мозгу откладывается, что вот именно Пупкин, а не Кузнецов лучший наш писатель, что именно его и стоит читать в первую очередь. «Странно, думает она, что я не знаю этого Пупкина. Вот все знают, а я не знаю. А почему я не знаю Пупкина? – продолжает вертеться в ее голове. – Да понятно, почему. Отстала от литературы. Некогда книги читать. Жизнь сложная, все успевать надо. Но все-таки не зря я в магазин ходила. Теперь я хотя бы знаю, что появился у нас такой талантливый писатель – Пупкин». И пошло-поехало.

Человек более мудрый и скептически мыслящий, знающий цену пиару, улыбнется, но... не пройдет мимо! «А как знать, – подумает он. – Пиар пиаром, а вдруг это не только пиар? Может быть, Пупкин – действительно лучший?»

Чем более нагло, чем более безапелляционно, чем более топорно проводится *буржуазный* пиар (не боюсь я этого устаревшего, пахнущего многотиражными школьными советскими учебниками, марксистско-ленинского слова, ни капельки не боюсь!), тем весомее результат. Эти авторы руководствуются циничными словами Марка Твена (говорил ли он это в действительности, для нас не суть важно), что любое упоминание в прессе всегда только плюс для автора, если это не некролог.

Кузнецов учил студентов думать, сопоставлять факты, учил внимательно читать и вчитываться в поэтические тексты. Я, со школьных лет знавший наизусть почти всего «Евгения Онегина», тем не менее, не заметил словечко «хоть» в следующих строчках:

Быть может, он для блага мира  
Иль *хоть* для славы был рожден.

Понять и осознать пушкинское отношение к славе я сумел только после того, как на это короткое словечко обратил мое внимание Юрий Кузнецов.

Тем стихотворцам, которые относились к поэзии серьезно и приезжали в Москву на сессии не только водку пить, но и расти в творческом и профессиональном отношении, близка была нарочитая серьезность Кузнецова.

Человеком он был достаточно глубоким, и мышление у него было редкое, мифологическое. Именно на мифологичности мышления поэта хотел бы я немного остановиться, поскольку это одна из его главнейших, родовых, ключевых черт, обойти которую, вспоминая о нем, просто невозможно.

О роли русской мифологии для Кузнецова написано немало. Я, разумеется, не претендую ни на какие литературоведческие лавры, ни на какой научный анализ творчества поэта, тем более что многое уже написано до меня. Хочется отметить другое – практическую сторону этого мышления, важность его для стихотворца.

Утверждение, что научить писать стихи невозможно, давно уже стало общим местом. Но научить мышлению или хотя бы побудить творческого человека к мышлению – очень важно. Этим благородным делом и занимался Юрий Поликарпович, и выполнял его добросовестно, в силу своих способностей. Я уже писал, что педагогического дара у него не было, и преподавать какой-либо предмет, как его преподают в вузах (даже его любимую русскую литературу!) он бы никогда не смог. Сказал бы один раз о фальшивомонетчике Бродском, об имитаторе поэзии Пастернаке и истеричке Цветаевой – и все, пошли бы на него жалобы в деканат. А в Литинституте это было можно, он же не литературу преподавал, а вел творческие семинары. Творческой личности все прощается!

Слово «литературщина» всегда было для него ругательным. Но здесь наш Мастер, что уж греха таить, тоже лукавил. Дело даже не в обилии собственных имен писателей, философов, исторических и литературных героев в его стихах (Пифагор, Герострат, Спиноза, Петрарка, Гете, Пушкин, Державин, Рубцов, Гамлет, леди Макбет и многие другие). Дело в особой памяти поэта, той самой памяти, которая не дает почувствовать себя манкуртом, которая определяет тончайшие культурные и исторические связи между явлениями. Обычно пишут исключительно о русской мифологии, о трехтомнике Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», который Кузнецов призывал нас штудировать. Хочу отметить, что Поликарпыч был удивительно образован и разбирался не только в родной литературе. Он смело и легко путешествовал по литературам всех времен и народов. Возможно, прозу он знал и не так основательно, поскольку примеры из прозаических произведений приводил гораздо реже. Но знания мировой поэзии у него были совершенно удивительные, настолько исключительные, что мало кто из профессоров филологии мог бы с ним посоперничать в этом отношении (я не говорю о научном анализе, разумеется).

Вообще Поликарпыч не тяготел к академическому, научному знанию. Он воспринимал поэзию прежде всего как художник. Но его колоссальные знания не были мертвым грузом, они, как тончайшая нитяная грибница, причудливыми, едва заметными подземными ниточками ассоциаций удивительно и неповторимо соединялись друг с другом.

Поликарпыч учил нас разбирать стихи, учил читать любые тексты, уходя вглубь, постоянно думая, сопоставляя, ныряя в глубины национального народного самосознания.

Его острое неприятие экспериментальной поэзии – следствие его глубины. Говоря о русском фольклоре, он часто подчеркивал, что в нем нет причастных и деепричастных оборотов, характеризующих книжную и деловую речь, и именно так, без этих оборотов, рекомендовал нам писать. Конечно, эти советы очень спорны. Сама экспериментальная поэзия (это уже мои, а не кузнецовские мысли) в двадцатом веке полностью деградировала. Она шла от гениального Маяковского через талантливых Кирсанова, Асеева и Сельвинского до куда менее ярких Рождественского (Роберта) и Вознесенского, чтобы закончить самобытной и впечатляющей клоунадой совсем уже не имеющего отношения к литературе Д.А. Пригова с его «милиционером». Что же произошло после Пригова, нетрудно представить, если открыть журналы «Знамя» и «Арион». Почему так случилось, пусть анализируют наши уважаемые теоретики.

## 7

«Поэт, как волк, напьется натошак» – эту рубцовскую строчку любил цитировать Юрий Поликарпович. Вообще тема питания как такового сильно его волновала, и он даже прочитал однажды лекцию на семинаре под названием «Питие» в русской поэзии».

Увы, эта тема имела для Многорыбыча не только теоретический, исторический, культурологический и литературоведческий интерес. Закладывал он капитально. И с каждым годом все больше и больше, зачастую приходя на семинары уже «тепленьким». Однажды даже свалился на лестнице, спускаясь со второго этажа на первый в здании заочного отделения. Проходивший случайно мимо автор этих строк вяло попытался оказать ему первую медицинскую помощь – скорей из чувства долга, чем по необходимости. Но Кузнецов только отряхнулся и что-то гневно пробурчал в ответ. И тем не менее я уверен, что в случае Кузнецова врачу-наркологу делать было бы нечего. Как говорят врачи в таких случаях: «Это не наш больной».

Не возьму на себя смелость утверждать, но мне кажется, что и пьянства как такового не было, не было и желания уйти в мир иллюзий. Это скорее был стиль жизни, своеобразный «наш ответ Чемберлену», этакая витиеватая дуля в кармане, и конечно, не только карликам и уродцам окончательно победившей в 1993 году в России «либеральной» клики, а всему нашему уродливому мироустройству. Конечно, это вопрос открытый, и я всего лишь излагаю свою точку зрения.

В последние годы поэт не находил места в жизни. На первом семинаре, в начале сентября 1992 года, он подарил каждому своему семинаристу две большие, основательные книги в твердых обложках. Таким образом, не менее двадцати толстых книг он притащил на семинар в стареньком, едва закрывавшемся портфеле, а потом педантично подписал книжки каждому. Ему было очень важно, чтобы мы его книги читали. Я не думаю, что у него было их очень много – в советское время авторам тиражи не выдавали, писатели сами выкупали свои книжки из магазинов, чтобы подарить друзьям и знакомым. Эти книги, вышедшие, казалось бы, совсем недавно, всего лишь каких-то два года назад («Избранное» и «Пересаженные цветы», обе 1990 года издания), принадлежали тогда уже совсем к другой, безвозвратно ушедшей советской эпохе. Помню следующую, уже тоненькую, на скрепочках, книжку, выпущенную его земляками на спонсорские деньги с типичным для

девятидесятых годов названием: «До свиданья! Встретимся в тюрьме» (Современный писатель, 1995).

Он привык к вольным писательским хлебам, к астрономическим советским гонорарам. Советская власть дала ему возможность раскрыться. Он переехал из провинциального Краснодара в Москву, не сразу, но перекочевал-таки в трехкомнатную квартиру в писательском доме на Олимпийском проспекте. Сочинителям следующих поколений Союз писателей уже не дал ничего, кроме возможности собираться и читать стихи друг другу, не подозревая в каждом собеседнике человека Оттуда. Сама профессия писателя исчезла, превратилась в хобби. Поликарпыч ничего и не умел по сути, кроме того, как писать стихи. Он и рецензии-то писать ленился. Да и не умел. Наверное, поэтому все его рецензии такие лаконичные. Годы ельцинизма расслабиться никому не дали – так вот и пришлось нашему гению работать в издательстве, в редакции «Нашего современника», преподавать в Литинституте.

В нашем сознании произошла некая трансформация. Я, как и многие мои ровесники, мечтавший вступить в Союз писателей в советские годы, в девяностые стал терять интерес к этой организации, и когда меня туда «вступили», воспринял это только как незначительный эпизод биографии. А затем пошла и полная деградация. Если до 2000 года в Союз еще принимали по инерции тех, кого не успели принять в советские годы, то в настоящем столетии стали брать сначала тех, кто имеет изданные за собственный счет книги, потом тех, кто имеет деньги, а в последнее время вообще всех, кто того желает. Писательские союзы превратились в какие-то странные человеческие сообщества, где рядом сидят и мастера, и подмастерья, и спонсоры этих мастеров и подмастерьев, а зачастую и вообще совершенно случайные, не имеющие никакого отношения к литературному труду люди.

А сам факт писания после работы, превращение «святого ремесла» в хобби давно уже не воспринимается мной как неудача. Скорей, наоборот. Да и что позорного может быть в этом коротком английском слове, если «хобби» это всего лишь «любимое занятие в свободное от работы время»? Разве сочинение стихов для нас – не любимое занятие? Если б оно было нелюбимым, мы бы вечерами пялились в телевизоры или сажали огурцы на участках! Хобби так хобби. Так считают и наши «либеральные» правители, в лоб не видящие творческие союзы аж с 1991 года! Ведь закон о творческих союзах так и не принят на федеральном уровне! Так что хоть горшком назовите, милые, только уж в печку не ставьте нас!

Кузнецов был человеком другого поколения. Поколения, которое не успело выбрать «пепси». Тому, кто относился к сочинению стихов как к хобби, он никогда руки бы не подал.

У Многорыбыча была невероятная харизма, он обладал способностью к гипнозу, мог завораживать людей. Даже его нежное южно-русское произношение с характерным фрикативным «г», глуховатый прокуренный баритон действовали на многих гипнотически. Особенно поддавались этому гипнозу восторженные, экзальтированные девицы и дамы более чем бальзаковского возраста, тоскующие по идеалу и крепкому мужскому плечу (поэтическому голосу, авторскому кредо – нужное подчеркнуть!) Сам Кузнецов женщин любил и особым образом с ними заигрывал. Помню, как он особенно долго, с подчеркнутым вниманием разбирал стихи уличной (то есть пришедшей на семинар с улицы!) красотки, петушился перед ней, сыпал цитатами. Девушка не понимала и сотой доли из всего его словесного потока. Скучноватый старенький

дяденька в мятом пиджаке, со взъерошенными волосами и с мешками под лихорадочно блестящими глазами красотку, увы, не впечатлил. Она потом рассказала мне, что приехала из... Донецка, снимает квартиру в Медведкове, работает в магазине и... пишет стихи. А потом, виновато улыбаясь, попросила у меня денег «у долх». Что понималось под этим «долхом», было написано на ее симпатичном лице. Дело было, если не ошибаюсь, в 1995 году. В Донецке тогда еще не стреляли.

Кстати, не знаю, обратилась ли она с такой просьбой к Поликарпычу. Он-то как раз любил выставить себя в роли кредитора. О шапкозакидательствах Кузнецова можно говорить много. По вот парадокс – некоторые его слова и поступки невероятно актуальны для сегодняшнего дня. Так, например, один украинский поэт, человек уже в возрасте, оказался в Москве совсем без денег. То ли пропил все, то ли обокрали малоросса по пьянке. Кузнецов дал ему очень большую, впечатляющую сумму – то ли в долг, то ли просто так, демонстративно провозгласив: «Украинскому поэту от русского поэта». Обнищавший меньшей славянский брат, ошарашенный и смущенный космической русской щедростью, чтобы хоть как-то продолжить разговор, спросил его о том, как он воспринимает украинскую литературу в контексте мировой, на что Поликарпыч не совсем корректно ответил: «Только великий народ может создать великую литературу». Сейчас такие слова москалю уже не простили бы! Но тогда времена были другие. И чтобы показать, что ты не москаль, совсем не обязательно было скакать.

Девяностые годы еще только начинались, капиталистические зубки только прорезывались, и во что все это выльется, может быть, кто и знал из умных и предприимчивых людей, но только не политически близорукий автор этих строк. В девяностые годы я, по глупости своей, думал, что все еще образуется, встанет с головы на ноги. А с приходом века двадцать первого, бесслезного и меркантильного, понял, что обратного развития не будет уже никогда, что мы попали в такую страшную и колоссальную воронку, из которой уже не выбраться, и что остается только нырять поглубже – там, согласно законам физики, водоворот слабее и есть еще шанс остаться в живых. И помнить, что спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. В 1991 году произошли колоссальные, тектонические, необратимые сдвиги. Нам пришлось самим увидеть «планетарные валы мировой истории». И Кузнецов был здесь, увы, не демиургом, а рядовым человеком, крошечкой мироздания, и не он двигал «планетарные валы», а они закрутили всех нас – и его, великого и непревзойденного Мастера Всех Времен и Народов, и его великих последователей, и всех совсем даже не великих, но в равной степени подвластных этим безучастным, равнодушным к человеческим судьбам «планетарным валам мировой истории».

Кузнецов, как никто другой, чувствовал этот водоворот. Не случайно незадолго до смерти, в 2003 году, он написал стихотворение, которое точно отражает его мировоззрение в тот последний период. Привожу его целиком.

#### ТАМБОВСКИЙ ВОЛК

России нет. Тот спился, тот убит,  
Тот молится и дьяволу, и Богу.  
Юродивый на паперти вопит:  
– Тамбовский волк выходит на дорогу!

Нет! Я не спился, дух мой не убит,  
И молится он истинному Богу.  
А между тем свеча в руке вопит:  
– Тамбовский волк выходит на дорогу!

Молитесь все, особенно враги,  
Молитесь все, но истинному Богу!  
Померкло солнце, не видать ни зги...  
Тамбовский волк выходит на дорогу.

## 8

Каждый человек представляет собой полую матрешку, внутри которой находятся матрешки поменьше. Самая маленькая, последняя матрешечка, находящаяся внутри остальных матрешек, отличается от других одним важным физическим качеством. Она не полая, а цельная, и представляет собой не две закручивающиеся посередине детальки, а единую деревянную раскрашенную болванку.

Я не видел, что собой представляет самая маленькая матрешечка Кузнецова. Я видел только две матрешки. Первую, внешнюю, знали все – суховатый, чуточку грубоватый, немного надменный, скупой на похвалы.

После выпитого внешняя матрешка часто раскрывалась, и обнажалась матрешка № 2 – это был добрый и мягкий человек, немного уставший, немного ребячливый, с потугами на какое-то провинциальное, мужицкое, народное остроумие. О третьей матрешке и матрешке, как сказали бы математики,  $n+1$  («эн плюс первой»), автор этих строк ничего не знает. Пусть о них пишут те, кто знал Кузнецова ближе – им виднее во сто крат.

После защиты диплома, проходившей в актовом зале здания дневного отделения, на кафедре творчества состоялась неофициальная часть. Присутствовал кроме Кузнецова профессор Смирнов с кафедры русской литературы, большой знаток и фанат творчества Бунина. Пили водку. Посмотрев на меня добрым и внимательным взглядом, Кузнецов медленно произнес: «А ведь я так хотел тебя исправить!» Не ручаюсь за точность последнего слова. Возможно, Поликарпыч сказал «изменить». Здесь стилистический оттенок имеет большое значение. Но мне почему-то кажется, что он вполне мог сказать и «исправить». По поводу его любви к «исправлениям» я скажу чуть позже.

В этот момент он впервые обратился ко мне на «ты». Стоял конец июня 1997 года. На Большой Бронной цвел жасмин. На Пушкинской площади работали фонтаны. Толпы людей выходили из фастфудовского чрева самого большого в ту пору в Москве «Макдональдса». Запах картошки фри парил над Пушкинской площадью.

И кому было дело до того, что из дома Герцена через несколько считанных дней выйдет очередной русский писатель, сжимая в руке темно-синюю книжечку, приятно пахнущую клеем и типографской краской, где черным по белому (а точнее, по желтому!) будет написано, что обладатель сей книжечки имеет специальность... «литературное творчество»! Ведь не какой-нибудь «русский язык и литература», этим никого не удивишь, такие дипломы получают простые, как сатиновые трусы, деревенские девчонки!

А ведь творчество! Литературное! Как красиво звучит!

И опять вспоминается наш национальный гений:

Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман.

Диплом этот сослужил мне добрую службу. Хотя я ни разу его нигде не предъявлял. И при вступлении в Союз писателей, которое произошло через год с небольшим после его получения, в сентябре 1998 года, у меня его не потребовали. Само наличие этой книжечки в ящике письменного стола говорит мне ежедневно и ежечасно, что нельзя писать плохо! Как сказал прекрасный поэт Александр Кушнер (кстати, ни разу в своих статьях не упомянувший имя Кузнецова, считая это, по-видимому, за моветон):

Но лгать и впрямь нельзя, и кое-как  
Сказать нельзя – на том конце цепочки  
Нас не простят укутанный во мрак  
Гомер, Алкей, Катулл, Гораций Флакк,  
Расслышать нас встающий на носочки.

9

Мои дальнейшие встречи с Поликарпычем были очень скудны и происходили исключительно в «Нашем современнике», на первом этаже. В то время он практиковал в журнале совершенно нелепую рубрику под названием «Поэтическая мозаика». Под этим заголовком он размещал чуть ли не двадцать авторов, взяв у каждого по одному стихотворению. С одной стороны, это можно представить как некую демократичность, желание раздать всем сестрам по серьгам. Известно, сколько рукописей приходит в любой журнал, а уж в такой авторитетный, как «Наш современник», и подавно. Кстати, это до сих пор один из немногих «толстых» журналов, который читают в глубинке.

Но Кузнецов демократом не был. Да и затея была совершенно глупая, несуразная – как можно представить поэта по одному стихотворению? Даже если взять у Блока «Незнакомку», то и этот гениальный текст далеко не все может сказать о поэте. А если выбрать одно стихотворение из первого блоковского томика? Ведь у Блока есть стихи, особенно написанные до 1900 года, которые ничем не лучше стихов какого-нибудь Виктора Гофмана! Что уж говорить про нас, простых смертных! Я как-то сказал Поликарпычу, что ни в каких «мозаиках» участвовать не желаю, поскольку давно вышел из того возраста, когда испытывают эйфорию при виде своего имени, набранного типографским шрифтом. Наверное, это произошло потому, что я публикуюсь с семнадцати лет.

«Правильное решение», – скупно сказал он мне тогда.

В 2002 году я послал по почте критику Сергею Семанову свою прозаическую книжку «Наваждение», а тот передал ее в отдел прозы журнала. Мне позвонил тогдашний заведомо прозы Андрей Воронцов, сказал, что хочет опубликовать несколько моих рассказов, напечатанных в малотиражной книжке, изданной на спонсорские деньги. Именно с прозы и начались мои публикации в «Нашем современнике». А потом пошли и ежегодные поэтические подборки. А Кузнецов меня так и не напечатал.

Наверное, это и к лучшему, поскольку была у него отвратительная манера – редактировать чужие тексты, не советуясь с автором. Одно дело, когда это журналистский материал (да и в этом случае правила хорошего тона предполагают, что редактор доводит до автора свою правку, а тот соглашается или нет). Белорусский поэт Валерий Гришковец, о котором я уже писал в этих воспоминаниях, в своем литературном дневнике под названием «Одиночество в хаосе мегаполиса», отмечает: «Была одна серьезная подборка – «НС» («Наш современник». – Е. Э.). № 9, и та не столько меня порадовала, сколько огорчила: Ю. К. так запустил руку редактора в мои стихи, что было обидно и неприятно (мне их читать)».

Юрий Поликарпович, скорей всего, и представить себе не мог, какие чувства может вызвать у несчастного автора его правка. Я как никто другой разделяю горькое недоумение, охватившее стихотворца. Вспоминаю далекий 1980 год, мою первую в жизни публикацию – в многотиражной, безгонорарной газете. Первый раз увидел я свою фамилию, набранную типографским шрифтом, и был шокирован тем, что редакторша многотиражки, славная и добродушная женщина, относившаяся ко мне по-матерински, сделавшая мне в дальнейшем много всего хорошего, не просто изменила мои строчки, но вложила в них диаметрально противоположный смысл. «О люди, на земле вы сушая случайность» – так начиналась первая строчка стихотворения семнадцатилетнего человека. В газете же было написано: «О люди, на земле вы не случайность».

Но тогда была советская цензура. Когда через четыре года та же редакторша опубликовала в той же газетке мое стихотворение, где фигурировало слово «морг», ее вызвали на партбюро и назвали опубликованные стихи упадническими. У бедной женщины был гипертонический криз. Вспоминаю ее красное, как помидор, лицо, запах валерьянки в узкой редакционной комнатке, дрожащие ручки худенькой и subtilной машинистки, капающей вышеупомянутую валерьянку в граненый стакан с водой.

Но Кузнецов правил стихи уже в другое, свободное, либеральное время. Зачем? Наверное, хотел, как мастер, лучше обточить неотесанный брусок. Но ведь это, по меньшей мере, странно... Мне кажется, что крупный писатель обязан быть хорошим психологом. Какой же ты писатель, если не в состоянии предвидеть, какие чувства могут вызвать твои поступки у другого человека?

Интересно, как бы он среагировал, если бы Гришковец где-нибудь подредактировал его стихи?

Почему же Поликарпыч так делал? По-видимому, считал себя в праве. Он вообще любил ставить диагнозы поэтам. Ахматова была у него рукодельницей, которой нужно было не стихи писать, а вышивать крестиком. Цветаеву часто называл «талантливой истеричкой». Юрий Поликарпович, должно быть, и не знал, что понимают под истероидностью. Ведь у Цветаевой никогда не было патологической демонстративности. Под истероидностью наш Мастер, скорей всего, подразумевал повышенную эмоциональность и экзальтированность Цветаевой, ее импульсивность, а подчас и невыдержанность, склонность к аффектам. Но тогда куда правильнее говорить о «талантливой психопатке».

Похоже, что и себе он тоже поставил диагноз. Но на этот раз медицинский и, скорей всего, совсем уже неверный. Пишу «скорей всего», потому, что на сто процентов ручаться не могу.

Последние недели жизни Поликарпыч жаловался на радикулит, даже ходил в теплом пуловере, нелепо торчащем из-под мягкого пиджака или грубой джинсовой куртки. Почему-то мне кажется, что никакого радикулита у поэта никогда и не было, а были приступы прогрессирующей стенокардии, которая и привела его в конечном итоге к инфаркту миокарда в ноябре 2003 года. Хотя, кто его знает, может быть, и радикулит был. Или, на худой конец, межреберная невралгия.

## 10

Хорошо, что его помнят, что выходят его книжки. Так, по инициативе Вячеслава Огрызко, удивительно темпераментного и бодрого критика и литературоведа, было подготовлено и издано собрание сочинений Кузнецова. Проводятся научные конференции, посвященные его творчеству. Плохо, что доклады на конференциях читают зачастую одни и те же люди. Хотя должен заметить – круг докладчиков постепенно увеличивается и растет среди них число людей молодых, незашоренных, а также тех, кто не знал лично Юрия Поликарповича, людей, не вдохнувших ядовитого воздуха «команды».

Небо русской поэзии усыпано звездами, и много на нем самых разных звезд – крупных и мелких, ярких и не совсем ярких. А ведь из курса астрономии мы помним, что яркие звезды – вовсе не те, которые крупнее, а те, которые находятся ближе к нам.

И горит на этом небе ровным холодноватым светом звезда замечательного русского поэта Юрия Кузнецова.

## Рива ЛЕВИТЕ

Родилась в 1922 году в Москве. Училась в Московском юридическом институте, окончила студию под руководством Ю.А. Завадского (при театре им. Моссовета), затем режиссерский факультет ГИТИСа. Работала режиссером в Омском, Саратовском драмтеатрах, в Горьковской филармонии. В 1959–1982 годах – режиссер Горьковского театра юного зрителя.

Педагог Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева. Заслуженный деятель искусств России. Вдова известного актера и режиссера, народного артиста России Вацлава Дворжецкого. Мать актера Евгения Дворжецкого, трагически погибшего 1 декабря 1999 года.

Живет в Нижнем Новгороде.

## «В НАШЕМ КРУГУ ЦАРИЛИ ПРАВДА И ИСКРЕННОСТЬ»

Её нижегородская эпопея началась в конце 50-х. Тогда молодой театральный режиссер Рива Левите с мужем, блистательным Вацлавом Дворжецким, приехали жить и работать в город Горький. Он – киевлянин, она – москвичка. Встретились в Омске, куда она, выпускница ГИТИСа 1949 года, приехала ставить свои первые спектакли. Вацлав Янович, успевший до их встречи провести 14 лет в лагерях (за чтение «вредной» литературы), был ведущим актером местной «драмы». Из Омска, уже вместе, они переехали в Саратов. Но самым главным пунктом их семейной и творческой географии стал Горький. Рива Яковлевна и сегодня служит любимому делу в Нижегородском театральном училище. Её память хранит столько всего интересного – о людях, о городах, о театрах, о любимых муже и сыне...

**Рива Левите:** Я с раннего детства очень любила читать с эстрады. Ходила в студию художественного слова Дома пионеров. В Доме Союзов в Москве у меня был просто звёздный час: на огромной сцене я читала «Полтавский бой», а за моей спиной стоял огромный пионерский хор. Кстати, эта студия в жизни московского искусства сыграла огромную роль. Не было ни одного театра в столице, где бы не служили её воспитанники. Кто там только не учился – Людмила Касаткина, Ролан Быков, Георгий Ансимов... У нас была фантастическая преподавательница Анна Гавриловна Бовшек, которая приобщала нас и к добру, и к настоящей литературе, и к искусству... Вот, помню, приехал к нам в Нижегородское театральное училище председателем квалификационной комиссии Авангард Николаевич Леонтьев, и оказалось, что он тоже занимался в этой студии, но на двадцать лет позже меня. Это

он стал инициатором того, что о студии, об Анне Гавриловне была написана книга, снят фильм... В общем, я, конечно, была уверена, что буду только артисткой, но так получилось, что после школы пошла не в театральный институт. Потому что началась война. Московские вузы были в эвакуации. И, чтобы хоть куда-нибудь поступить, я ринулась в тот институт, который ещё оставался, – в юридический. Потом два с половиной месяца были сплошные трудовые работы на окопах. С гордостью говорю: мы работали в Крылатском, там остановили немцев. Хлебнули хорошо. Видели и отступление – оказались в самой гуще, и немецкий десант спускался... Еще нам повезло, что обошлись без жертв. Рядом работал университет, так там двое мальчишек погибли. Короче, всё, что можно было почерпнуть, мы почерпнули и получили высокую квалификацию землекопов. Вернулись, и нас буквально через считанные часы отправили в эвакуацию в Алма-Ату. Мы там учились. Но это только так называлось. Главным образом работали в колхозах Казахстана. Научились и жать, и копнить, и молотить. Но, надо сказать, культурно образовываться тоже успевали. В Алма-Ату был эвакуирован Театр Моссовета во главе с Завадским. А женой его тогда была Галина Уланова. Мы не пропустили ни одного спектакля, ни одного балета. Приезжали какие-то театры, концертные бригады – мы всё смотрели. А ещё участвовали в массовках на «Мосфильме»... Вернулись в Москву в сорок третьем. Как раз тогда при Театре Моссовета организовывалась актёрская студия. И я пошла туда поступать, будучи уже на третьем курсе юридического института. А их всего четыре. Я пыталась себя и всех убедить, что перейду на заочное отделение и институт не брошу. Меня так не хотели отпускать! Один из профессоров, очень известный, считал, что из меня получится потрясающий адвокат и «цивилист», то есть специалист по гражданскому праву. Но соединить студию и учёбу в вузе оказалось совершенно невозможно, потому что нас, студийцев, сразу пустили в дело. Мальчишки играли в спектаклях Моссовета всяких солдат – и немцев и наших, девочки помогали с шумами, создавали ветер, гром и прочее. Плюс учёба. Вместе с режиссёром Константином Наумовичем Воиновым (это он поставил фильм «Женитьба Бальзаминова») к нам пришли трое мальчишек, три Толи, как мы их называли: Толя Эфрос, Толя Адоскин и Толя Баранцев. Один из них, слава богу, жив. У нас были замечательные педагоги, среди которых Осип Наумович Абдулов. Мы прикоснулись к таким вещам, о которых можно было только мечтать. Например, выходили в массовке в спектакле «Олеко Дундич» – изображали цыганский хор с плясками и пением, и консультантом к нам пришла Мария Васильевна Скворцова, знаменитая Маша-цыганка, которая в свое время певала с Федором Ивановичем Шаляпиным. А какие артисты играли в это время в Театре Моссовета! Мордвинов, Марецкая, Плятт, Оленин... Жаль, тогда по молодости лет я не могла оценить, кто был рядом, только потом это поняла.

\* \* \*

Оказалось, что жизнь готовила мне сюрприз. В один прекрасный день Завадский (мы были уже на втором курсе) сказал нам с Толей Эфросом: «Ребята, вам надо заниматься режиссурой». Мы оба, конечно, взвизгнули от счастья, потому что не ожидали, а оценка – высокая. Юрий Саныч написал записочку декану режиссёрского факультета ГИТИСа. Им был тогда Платон Владимирович Лесли. Юрий Саныч как интеллигентный

человек записку не запечатал, просто отдал нам в руки, поэтому мы – любопытно же! – позволили себе её прочесть. Там было: «Тоша (так Юрий Саныч называл Платона Владимировича), посылаю двух своих учеников. Если сможешь, помоги» – и всё. Платон Владимирович нас принял, с нами поговорил... А уже идет прием. И абитуриенты уже сдали актерское мастерство. Толя звонит мне домой по телефону в одиннадцатый вечера: «Мы пролетаем, между прочим». Я: «Как? Почему?!» – «Я зашел в институт посмотреть, есть ли мы в каких-нибудь списках. Так вот: ни в каких списках нас нет». Что делать? Толя пошел в деканат, обаял там каких-то барышень и уговорил, чтобы нас допустили до письменного экзамена. Опять звонит ночью: «Имей в виду, завтра мы пишем письменную работу в институте». – «А что пишем?!» – «Что скажут, то и пишем». Утром приходим в аудиторию – такой школьный класс, с еще старыми партами. Причем у Толи были какие-то наброски, а у меня ничего. Абсолютно. Нас рассадили. На доске – темы. Такие: если готовился – напишешь. Например: ваши впечатления от такой-то зарубежной пьесы. А у меня в голове пусто. Рядом со мной парень – белообрый, могучий, в гимнастерке. Перед ним – вот такая стопа книг. Книжки разрешалось брать на экзамен. Он – мне: «Девочка, почему ничего не пишешь?» – «Я не знаю, что писать». Он: «Выбирай!» – и на книги показывает. И я – хлоп по макушке этой стопы, беру, что сверху – «Гроза», Островский. А в списке оказалась одна тема, рассчитанная, видимо, на выпускников школы, на нерадивых, которым не грозит, что их возьмут, — что-то про луч света в темном царстве. Я подумала: ну уж это я как-нибудь соображу. И написала. И Толя что-то написал. На следующий день пришли – и оказались в списке. Нас допустили, поставили какую-то положительную оценку, думаю, просто из любопытства – кто ж это такие? *(Смеется.)* Но наши приключения продолжались. Мы с Толей решили, что идем в ГИТИС, только если нас берет Николай Васильевич Петров. У него был второй курс. А если нам предложат на первый – вернемся в студию доучиваться. Вот такие цацы! Потому что первый курс набирал Борис Евгеньевич Захава. Потрясающий режиссер, мастер и прочее, а нам он казался суховат – дурачье! Но выяснилось, что Николая Васильевича нет в Москве, вопрос оставался открытым. Но нас допустили до коллоквиума, в ходе которого сдавалось мастерство. Вот тут начался самый цирк. Я выучила какую-то крыловскую басню про мышь и крысу – не самую затасканную. И еще отрывок из «Войны и мира». Начала читать басню и забыла на второй строчке! Такого у меня никогда в жизни не было – я же столько выступала, когда занималась во Дворце пионеров! Мама всегда говорила, когда я еще ребёнком была: «Доченька, а если ты слова забудешь?» – «А я сочиню». – «Ну, хорошо, а если эти стихи?» – «Ну что я – не срифмую “любовь” и “кровь”?» Балда самоуверенная. Кстати, и популярность в юридическом институте тоже основывалась в том числе и на том, что я читала на всех концертах. В общем, была всем предыдущим опытом подготовлена. И на тебе – на второй строке! Причем забыла всё. Передо мной – белый лист. Я напряглась. Помню это ощущение! Они едва сдерживают смех. А знаете, что такое приемная комиссия в ГИТИСЕ в то время? Это – главные режиссеры театров, цвет московской педагогической театральной школы и знаменитые актеры. Страшное дело! А я такая серьезная. Я вообще производила очень серьезное впечатление. Мне часто говорят, что с возрастом я стала гораздо легкомысленнее. Так вот, прошу у комиссии: «Можно сначала?» Начинаю – и на том же месте! Они уже

хохочут в голос. Я собралась, думаю: нет, я вас возьму, такая дурь – забыть басню! «Можно я прочту Толстого?» Кивают сквозь смех. Читаю отрывок. А я его делала с режиссёром Елизаветой Яковлевной Эфрон, родной сестрой Сергея Эфрона, мужа Цветаевой. Она у нас преподавала художественное слово. Потрясающая женщина! Она была уже очень пожилая, поэтому мы ходили к ней домой заниматься. Помню, пришла первый раз, мне открыла дверь какая-то... старуха-процентщица! Колоритная была внешность у Елизаветы Яковлевны. А отрывок мы с ней сделали очень хорошо. Члены комиссии затихли, дослушали до конца. Потом начался коллоквиум. Вопросы разные. Долго терзали! И Николай Васильевич уже приехал, к которому мы собирались. Мы с Толей ему понравились. Он сказал: насчет режиссуры пока ничего сказать не могу, но вроде ребята что-то соображают, а что касается актерства, они мне очень нужны!

\* \* \*

Училось нам замечательно! Когда Николай Васильевич набирал первый курс, студентов было двадцать пять человек, к четвертому нас осталось двенадцать. Две девчонки, одна из них – я. А из тех, кто начал, только пятеро дошли до финала. У нас был дипломный спектакль – «Двенадцатая ночь». Марию мы взяли из «татарской» студии Ольги Ивановны Пыжовой. Это была одна из лучших студий ГИТИСа. Потом эти ребята составили труппу Театра Камала в Казани. А та девочка, что играла у нас Марию, – такая толстая, вкусная, обаятельная! – она стала народной СССР. Я играла Виолу, а Толя Эфрос – Мальволио. Эггючик играл Володя Бортко, отец кинорежиссера. Какой же чудесный был курс! С дипломным спектаклем мне повезло невероятно, потому что я получила приглашение из русского ТЮЗа Тбилиси. Это был театр с очень хорошими артистами, с хорошими традициями. Как мне потом говорил Георгий Александрович Товстоногов: «Рива, помните, у нас с вами две альма-матер: одна – ГИТИС, вторая – русский ТЮЗ города Тбилиси». Он тоже там в свое время ставил дипломный спектакль. И я полгода прожила в Тбилиси. Это была сказка! Спектакль поставила. Принимала его очень достойная комиссия: сплошные народные артисты Грузии, Армении и СССР. Главным был Додико Алексидзе, очень известный тогда режиссер. Когда получила диплом, моя двоюродная сестра сказала: «Фу, как не интересно – всё одинаково! Одни пятерки!» Мы все, выпускники, были приглашены в министерство культуры для знакомства с директорами и главными режиссерами театров. И директор Омского театра пристал ко мне ну просто как банный лист и не давал никому со мной разговаривать. Ну, я понравилась ему очень, наверное. Он без конца нахваливал свой театр, и – «к нам, к нам!» И я подумала: а действительно – отработаю положенные три года в Омске и вернусь в Москву, три года – какой пустяк! Правда, Юрий Александрович Завадский меня отговаривал, говорил: «Ривочка, не торопись уезжать из Москвы. На какую-нибудь ассистентскую работу мы поможем тебе устроиться. А там уж будешь доказывать, на что способна». Я ответила: «Не хочу идти в ассистенты, хочу – сама, сама». Как в детстве – «сама-сама»... Вот так и решила отправиться в Омск. С бухты-баряхты. Мол, подумаешь – три года. Отработаю – и вернусь. Вышло по-другому. Оказалось: это я судьбу себе выбрала.

\* \* \*

67 лет прошло, но день нашей первой встречи с Вацлавом Яновичем помню прекрасно. Накануне я, выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, приехала в Омск. Предстояло 3 года отработать в местном драмтеатре. И вот вхожу на перрон со своим огромным чемоданом, в который мама с трудом запихнула одеяло, подушку... всё, что в её понятии должно было пригодиться дочери «на чужбине». Встречает директор театра. А он в Москве заманивал меня рассказами, что Омск – крупный промышленный город, что в театре прекрасная труппа. Всё так и оказалось. Но первое, что я увидела, выйдя на крыльцо вокзала: огромная отара овец, которую гонят по дороге, поэтому мы не можем перейти на другую сторону. Овцы серые, грязные, шерсть свалялась и висит клоками, и их – море! Я: «Петр Тихонович, где ваша промышленность?» (*Смеётся.*) Привёз он меня в общежитие. Комната 12 метров – шкаф, небольшой диван, стол и пара стульев. Ну, я, конечно, горю желанием посмотреть театр и артистов. На следующий день спешу на дневной спектакль. Надо сказать, я готовилась к роли молодого столичного режиссёра – должна же была «выглядеть!» – поэтому заранее принарядилась. Где-то на окраине Москвы в ателье мы с двоюродной сестрой купили мне готовое платье. Хорошее. Что было большой удачей – все-таки на дворе сорок девятый год. Платье из креп-сатина, чёрненькое, с таким остреньким вырезом, верх – блестящий, юбка матовая и басочка – с блестящей аппликацией. И еще сестра посоветовала приобрести шляпку. Купили бледно-бирюзовую, с чёрной ленточкой и маленькой такой вуалеткой. И было у меня польское пальтишко, которое привез дядя из Западной Белоруссии, где он всю войну партизанил. Очень скромное, но прекрасно сшитое. Чёрное букле, чуть расклёшенное. И вот я, такая худенькая девочка (всегда выглядела моложе своих лет), но очень серьёзная на вид, всю эту красоту на себя надела – надо же выпендриться, произвести впечатление! Спектакль – «Ромео и Джульетта» – мне не понравился. Показался уже подержанным. Ромео – в годах. Джульетта... Кстати, молодая девка, примерно моих лет, но почему-то со старообразным лицом. Словом – такая тоска! И вдруг появляются два молодых человека. Бенволио и Меркуцио. Меркуцио – высокий, красивый, Бенволио – поменьше ростом, крепенький, белобрысый. У них сцена, когда они обсуждают ветренность Ромео: то ему Розалину подавай, то Джульетту. Обсуждают – но своими словами! И всё в стихах, причём делают это блестяще. И явно соревнуются, кто кого пересочиняет на ходу. Но разве я, после всех наших факультативов по Шекспиру, могла это перенести?! У меня всё внутри закипает. После спектакля прихожу к главному режиссеру. А он был замечательный: интеллигент петербургского разлива, умный, образованный, ироничный. Потом мы очень подружились. Так вот, я кручусь-верчусь: и обидеть не хочу, понимаю, что спектакль не новый, но надо же и честно высказать своё мнение! Наконец не выдерживаю: что за безобразие, говорю, у вас творили Бенволио и Меркуцио?! А он мне совершенно спокойно: «Ривочка Яковлевна, вы ведь приехали в театр, а в театре и не такое бывает». Потом поговорили о моей будущей постановке. После разговора выхожу из кабинета. Шляпка, пальто... Спускаюсь по лестнице, а на ней – эти два паразита, уже разгримировались. Один, Дворжецкий, стоит в таком красивом коричневом пальто (мы его потом перелицовывали) и в зелёной шляпе. В общем, меня караулили.

Решили посмотреть, как я выгляжу, что за фифа приехала. А потом ещё вот что выяснилось. Оказывается, когда Николай Тихонович вернулся из Москвы в Омск со «смотрин» режиссёров (съезжались представители театров со всего СССР и отбирали молодых специалистов, такие «смотрины» устраивало Министерство культуры), он сказал Дворжецкому: «Знаешь, я договорился с девушкой, молодым режиссёром, она к нам придет. А потом ты на ней женишься!» Представляете? И мужики... Конечно, им было любопытно взглянуть на ту, которую Вацлаву Яновичу прочили в невесты. Хотя представить, что Дворжецкий женится, было невозможно. У него же поклонниц море! Но все сложилось именно так, как предрёк Николай Тихонович. Через четыре месяца Вацлав Янович сделал мне предложение, и я сказала «да».

\* \* \*

После Омска мы с Вацлавом Яновичем работали в Саратове. Все складывалось прекрасно. Мы получили там квартиру. К нам приехал Владик, сын Вацлава Яновича от первого брака, будущий знаменитый актер. Три последних школьных года он жил с нами. Кстати, познакомилась я с Владиком еще в Омске. Он с мамой и бабушкой жил в том же общежитии, что и я. Буквально через два дня после моего приезда слышу стук в дверь, открываю – на пороге худенький мальчик в застиранной майке и спортивных штанишках. Пришел знакомиться с новой соседкой. Ему явно не хватало общения. И мы как-то сразу подружились. Он был... такой не шумный, много читал, неплохо учился. Но уж очень за все переживал, часто волновался. Может, это и привело к болезни сердца, которая свела его в могилу в 39 лет? Владик хороший был, называл меня «моя родная мачеха». С большой теплотой его вспоминаю... Так вот, два года в Саратове пролетели в работе и семейных радостях. Но наш главный режиссер, Николай Автономович Бондарев (который и переманил нас из Омска), человек свободолюбивый, разругался с первым секретарем обкома. Напрочь. И понял, что больше в этом городе ему ничто не светит, поэтому хлопнул дверью и уехал в Волгоград. А мы остались. На его пост назначили другого. Спустя какое-то время прихожу я в режиссерское управление, а там лежит афиша нового спектакля. Его поставил уехавший Бондарев, а этот, пришедший, напечатал на афише только свою фамилию. Это же полное безобразие! Я думаю: ясно, что это за человек. Прихожу домой вся в возмущении. Вацлав Янович: «Что случилось?» Я рассказываю. Он соглашается: «Да, это плохой человек». Но мы промаялись еще целый сезон. А потом получили телеграмму от Меера Абрамовича Гершта, главного режиссера Горьковского театра драмы. С ним мы познакомилась еще в Омске, когда его в эпоху космополитизма и формализма выгнали из Куйбышевского театра. А он замечательный был режиссер. В Омск его пригласили просто на постановку. Помню смешной эпизод. Он ставил что-то такое то ли из Лопе де Вега, то ли из Гольдони. Ходит с артистами по сцене. А он такой дядька – фантазер, увлекающийся. Говорит: вот отсюда из этой кулисы у нас будет лететь бык! А Генка Нежнов, актер, ему так спокойненько: «Меер Абрамович, а вы не считаете, что это формальный прием?» И наш бедный Абрамыч тут же страшно пугается, про быка сразу забывает... На самом деле его все очень любили. И вот на наше счастье Гершт оказался в Горьком и позвал Вацлава Яновича в свою труппу. Но тут возникло препятствие: для меня,

режиссера, ни в одном из пяти театров города места не нашлось. А тогда обязательно надо было переводиться с одного места работы на другое, иначе стаж прерывался. В результате решили направить меня режиссером в филармонию. Мол, стаж сохранится, а там будет видно. И мы приехали в Горький.

\* \* \*

И вот Вацлав Янович первый раз пошел в театр. Гершт поставил какую-то дурацкую принудительную пьесу, и актеры прохладновато к ней относились. В тот день было обсуждение этого спектакля, а в нем первый раз вышел на сцену новый актер – Дворжецкий. Вацлав Янович вернулся после этого обсуждения, рассказывает: «Ты знаешь, все что-то ёжились, только одна молодая женщина так меня хвалила, так хвалила, говорила: “Вы не понимаете, это же такой актер!”» Той женщиной была будущий директор ТЮЗа Антонина Николаевна Соколова. Мы потом очень подружились... А я маялась целый год в филармонии, сама придумывала себе там работу. Но в филармонии был замечательный директор Лазарь Михайлович Гельфонд. Он очень ко мне расположился. И каждое утро начиналось с того, что он брал меня за руку, тащил к зеркалу и говорил, показывая на мое отражение: «Видишь? Когда будешь рожать?» Я недоумевала: боже мой, что ему от меня нужно? Потом выяснилось: он поздно женился, его сыну было тогда три-четыре года, и только что родилась прелестная девочка, и он считал, что самое большое счастья на свете – дети. Я с ним согласна, между прочим, но тогда до рождения Женьки оставалось еще несколько лет... Замечательное было время! В конце сезона в ТЮЗе освободилось место, и главный режиссер Виктор Витальев пригласил меня на постановку. Для знакомства. А когда мы приехали в Горький, то ходили и в «драму», и в ТЮЗ. ТЮЗ произвел очень приятное впечатление. Более приятное, чем «драма». Потому что – свежий, непосредственный. А в «драме» – такие мамонты, такие красавцы! Витальев предложил мне поставить пьесу Бальзака «Гавань бурь». Никто её толком не знает, там про баронов, графов... Распределение ролей, а оно было сделано до моего прихода, в этой «Гавани» было ужасным. Тем не менее, спектакль, который я поставила, понравился. И меня взяли в ТЮЗ, в котором я проработала 25 лет.

\* \* \*

Первые два месяца в Горьком мы жили в гостинице «Москва». В ней в то же самое время останавливался Ростропович – приезжал на музыкальный фестиваль. А я с ним была знакома еще в Москве и, видимо, часто упоминала в разговорах, поэтому Вацлав Янович сердился: «Ну, сколько можно? Раз-тропович, два-тропович!» *(Смеется.)* Ревновал. Потом я их познакомила, Слава, приезжая в Горький, приходил к нам в гости. У меня одна подруга отлично варила грибной суп, любимое Славина блюдо. Так мы к его приходу всегда этот суп готовили.

...Наша первая квартира, коммунальная, на пятом этаже, в которой мы прожили почти 10 лет, была в центре города, на улице Минина, в доме, на котором сейчас мемориальная доска. У нас было две комнаты. И у соседей тоже. Мы крепко и нежно дружили. Но, конечно, нам хотелось иметь отдельную квартиру. И когда нам предложили эту хрущевку

на первом этаже, то и мы, и все наши друзья были в восторге: трехкомнатная и никаких соседей! Это же красота... В Горьком с нами три года жила дочь Вацлава Яновича Таня. Оканчивала здесь школу. Как когда-то Владик – в Саратове. С ее мамой Вацлав Янович познакомился во время второй отсидки, в лагере. Она была вольнонаемная, сильно влюбилась в осужденного Дворжецкого – и родилась Таня. Вацлав Янович влюблен не был, жениться не обещал, но он был молодой мужчина, все понятно. И мама девочки никогда ничего у него не просила – только благодарила за все. Святая женщина! Я читала письма, которые она писала нашему папе в ответ на деньги, которые он ей высылал – ни слова упрёка! Они с Таней жили сначала в Иркутске, потом в Кишиневе. Девочка в 9 лет осиротела, её приютила подруга матери (мы об этом не знали). А потом в 14 лет Таня неожиданно приехала к нам в Горький. Всего на один день. Мы очень хорошо его провели. Девочка очаровательная, похожая на юную Галину Польских. Умница. Вечером, после того как мы проводили Таню на кишинёвский поезд, состоялся у меня с моей мамой такой телефонный разговор: «Вот, приезжала, но как-то странно – на один день». – «Не думала, что у меня такая глупая дочь. Она приезжала посмотреть на тебя, узнать, что ты за человек». Мама моя всегда была права... Спустя какое-то время наш папа, он тогда отдыхал в Ялте, получил от дочери телеграмму: «Я больше не могу здесь жить». Вацлав Янович был на своей машине, поэтому всё бросил, поехал в Кишинёв и привез Таню к нам... К сожалению, Тани уже нет. У неё была врождённая болезнь сердца, врачи давали 28 лет жизни, не больше, а она прожила 48 лет. Но чудная была девка. Мы с ней дружили, любили друг друга. Они у меня все были такие – хорошие. И Владик... Так что о многом могут рассказать стены этой квартиры. Вот за этим столом усаживалось более двадцати человек – пили, ели, развлекались. Здесь даже танцевали. В нашем доме бывали Ростропович, Фоменко, Смехов... множество замечательных людей. Например, во время съемок «Щита и меча» сюда прибегали Станислав Любшин, Олег Янковский и Георгий Мартынюк. Прекрасная троица. Говорят: «У нас мало времени: дайте что-нибудь поесть». А у меня были котлеты. И они здесь, стоя, ели котлеты... А сейчас в этой квартире часто появляются мои бывшие студенты, я продолжаю с ними дружить. С талантливыми преимущественно. К счастью, многие остаются в профессии. Работают по всему миру. Приходят, звонят. Они считают, что, поговорив со мной, они отвечают на какие-то свои вопросы. А как они меня выхаживали, когда я три года назад ногу сломала...

\* \* \*

В Нижнем нам безумно повезло с кругом общения. Вскоре после нашего приезда Вацлав Яныч пошел на какую-то встречу, где услышал одного из теоретиков искусства, замечательного журналиста, потрясающего театроведа Юлия Иосифовича Волчека. После этой лекции пришел домой и говорит: «Мы обязательно должны познакомиться с этим человеком». Причем мы, работая в разных городах, в разных театрах, близко общались со многими критиками, но такого – по уровню знаний, по яркости – действительно не встречали. Но это я потом оценила, а тогда надо было просто как-то познакомиться с Юлием Иосифовичем. А я в это время ставила «Чудотворную» в ТЮЗе, и автором инсценировки был Лазарь Шерешевский, поэт. Он, кстати, потом тоже в

Нижний из Москвы перебрался. Я пришла на репетицию и – ему: «Лазарь, если ты нам друг, познакомь с Волчеками». Он: «Пожалуйста!» И в один прекрасный день мы отправились к Волчекам в гости. Ну, это особая песня, как я готовилась к визиту, как выпендрилась. Тогда уши были не проколоты, и я надела клипсы – крупные, эффектные, и платье у меня было коротенькое, красненькое. На руке – 20 браслетов, очень я браслеты любила. В гостях было замечательно! Совершенно необычно. Выяснилось, что у Волчеков периодически собирается совершенно удивительный круг друзей. Это были и физики, и театроведы, и литераторы – все самые интересные люди города. Удивительное дело: мы были уже в том возрасте, когда друзья почти не приобретаются, а тут началась истинная дружба. И продолжалась все годы. У Волчеков бывали и москвичи. Он очень дружил с Юрским, например. Когда Юлий Иосифович умер, Юрский посвятил его памяти свой творческий вечер в филармонии... В общем, всё, что в городе происходило интересного, находило отклик в том доме. Мы пили чай и разговаривали. Обсуждали книги, статьи, спектакли. Разумеется, и у нас собирались. Юлий Иосифович приходил к нам в театр на каждую премьеру. Анализировал постановку. Подробно, очень для нас полезно и не всегда лицепривно. При этом ни разу никого не обидел и не поставил в неловкое положение. Удивительный был человек.

К великому сожалению, время бежит, люди уходят...

Нам вообще с кругом общения везло. Господь миловал: ни разу не пришлось близкого человека переводить в разряд, как сейчас говорят, нерукопожатного. Не совершали наши друзья плохих поступков. Да, люди иногда менялись. В силу разных житейских причин. Не всегда нам это нравилось, но мы пытались понять, разобраться. Самое главное: мы общались с людьми, которым доверяли, в нашем кругу царили правда и искренность.

\* \* \*

Женька всегда говорил, что никогда не будет артистом. А потом всё-таки пошёл в эту профессию. Я как-то стала вспоминать всякие мелочи, доказывающие артистическую природу сына. Например, идём в детсад. Он вдруг: «Ой, мамуля, ползёт! Сколько ног!» – «Женечка, ты знаешь, у нас времени мало». – «Да-да, мамуля, идём». И через минуту: «Ой, мамуля, смотри – летит!» Вот такие проявления – наблюдательность, воображение, реакция – они о многом говорят. Причём, Женька никогда ни в какой самодеятельности не участвовал. В отличие от меня. Впрочем, был один случай. Он тогда учился, кажется, в десятом классе. Пришёл из школы и говорит: «Наша литераторша велела мне к завтрашнему дню выучить какое-нибудь стихотворение Маяковского, тогда, сказала, поставлю пятерку. И чтобы в классе прочел. Что делать?» – «Сыночек, вон у нас лежит том Маяковского – найди какое-нибудь сатирическое стихотворение и выучи». Он что-то выучил. Пошел в школу, прочитал, получил пятерку. Все хохотали. Через день учительница: «Женя, будет городской смотр – надо тебе снова прочесть это стихотворение». Он: «Что? Мы так не договаривались!» А уж если он сказал нет, значит, нет. Это было единственное Женино выступление. Но после школы он, неожиданно для нас, решил поступать в театральный вуз. А в нашей семье правило: ни за кого не хлопотать. Можете представить, сколько моих ровесников и добрых

знакомых было тогда в том же Щукинском училище? Но – никаких просьб. Пройдешь сам. Как все. Женька написал сочинение, наделал уйму ошибок – и срезался. Через полгода он имел право повторить попытку. И в эти месяцы работал чертёжником в нижегородском «Сантехпроекте». Кстати, Женька чертил хорошо и в школе этот предмет любил. Тогда как раз входила в моду игра «Монополия», в магазинах ее не было в помине, и Женька её чертил и рисовал сам. На третий день работы приходит: «Мамуля, а ты знаешь, что в гастрономе на Октябрьской сегодня были цыплята?» А женщин ведь полно чертежниц, вот они и: «Женя, у тебя такие длинные ноги: сходи, дружочек» Что он им только не покупал! Они его любили, холили. И проработал он день в день полгода. Как полагалось. А если мальчик получил двойку по сочинению, что хочет мама? Чтобы он позанимался. Я договорилась с прекрасной учительницей. Он к ней пришёл: «Я ведь не буду заниматься. Давайте только маму не огорчать, не говорите ей. Меня научить невозможно, а вот книжечки кое-какие я у вас возьму». И якобы занимался. Но – поехал и поступил. Сочинение написал на четвёрку – собрался! Это было великое счастье, потому что он попал к замечательному педагогу, у них был замечательный курс: Женя Князев, например, который сейчас ректор Вахтанговской школы, Андрей Житинкин, который сейчас режиссер... Но на первом курсе Женьке было непросто. Худой, длинный, нос еврейский с горбинкой – кому такой нужен? Но окончил с красным дипломом, как надо. Помню, мы с нашим папой пришли на дипломный Женин спектакль, посмотрели первый акт, я спросила: «Что ты можешь сказать?» – «А знаешь, ничего!» И это была высочайшая похвала из уст Вацлава Яновича.

\* \* \*

Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель РАМТа, Российского академического молодежного театра, приглядел Женьку в дипломном спектакле в училище. Там у него была возрастная роль в какой-то английской пьесе. Такой худой мальчик. На фамилию Бородин не обратил внимания – мало ли Дворжецких! Стал ходить на другие дипломные спектакли. Привел директора театра. Директору Женька тоже понравился. И они дали на него заявку. Короче, взяли в РАМТ. Тогда я снимаю трубку, звоню Бородину: «Здрасьте, Алексей Владимирович. Это Рива». – «Ой, Ривочка, как поживаете?» А мы вместе были в лаборатории у Марии Осиповны Кнебель для режиссеров ТЮЗов. «Алеша, да я не просто так звоню. Хочу поблагодарить вас». – «За что?» – «Да вот у вас новый артист. А это мой...» – «Ой, боже, как же я не сообразил! Я ведь прекрасно знаю, кто ваш муж. Знаю фамилию – и абсолютно не подумал! Просто понравился мальчик». Первый спектакль, который сыграл Женька у Бородина, назывался «Ловушка-46, рост второй», по пьесе Юрия Щекочихина. Женька играл Интера. Небольшая роль. И вот после спектакля мы все идем в комнату к Бородину, и ко мне подходит один очень известный критик, кстати, родом из Нижнего, приобнимает так и говорит: «Рива Яковлевна, я вас поздравляю. Должен сказать, у вас очень талантливый сын». Услышать такое было счастьем. Нина, моя сноха, кончала Щукинское театральное училище через два года после Жени. Ее взяли в Театр сатиры. Но играть не давали. Тогда Нина показала Бородину. И он тоже взял ее в

РАМТ, где Нина очень хорошо работает по сей день. Она и в институте театральном преподает, и в кино снимается. Как замечательно сыграла в «Оттепели»!

...Женька действительно был очень талантливый, столько успевал, такие мне давал советы! Все, что он играл, становилось явлением. Работал в пяти театрах, кроме своего родного. Он любил профессию. Мне говорил: «Мамуль, знаешь, мне очень нравится играть субботние и воскресные утренники. Потому что меня совершенно покоряет зрительный зал. Когда сидят эти нарядные, глазастые, которые отзываются на всё абсолютно!» Многие режиссеры говорили, что у Жени трагикомическая стезя и диапазон очень большой. Было в кого! Его очень любил и ценил Бородин. Когда случилась автокатастрофа, Алексей Владимирович где-то ставил спектакль, но сразу сел в самолет и прилетел... Сейчас на сцену Российского академического молодежного театра выходит не только Нина, но и моя внучка Аня. Когда Женя погиб, Ане было 9 лет. И однажды при ней сказали: кончилась династия Дворжецких. А она ответила: «Нет, я пойду в училище и тоже буду артисткой!» И сказанное осуществляет. Династию продолжает.

*Записала Марина БОЙКОВА,  
журналист, Москва*

## Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Регулярно публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия».

Живет в Москве.

## ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Почти одновременно вышли две книги современных, достаточно молодых авторов, объединенные одной темой – Дальним Востоком. Владивостокец Василий Авченко написал «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» (издательство АСТ, редакция Елены Шубиной), а нижегородец Алексей Коровашко – «По следам Дерсу Узала. Тропами Уссурийского края» (издательство «Вече»).

Авченко протестует против термина «Дальний Восток», утверждая, что для него и его земляков их Восток совсем не Дальний, а дальней является Европейская часть России, сама Москва для многих почти мифическое место – не верится, что она есть на самом деле.

Действительно, в словосочетании «Дальний Восток» есть несправедливость, некое высокомерие. Но что делать – большая часть россиян живет все-таки к западу от Урала, меряет пространство страны своими мерками. Владивосток, Хабаровск, Магадан, Сахалин, Камчатка, Курилы оказываются очень далеко на востоке... И тем интереснее узнать, что там происходит, что там было, какие люди живут и жили.

Несмотря на вроде бы огромный прогресс в информационных технологиях, средствах передвижения, мы по-прежнему очень слабо понимаем, какая необъятная и разнообразная у нас страна. Людские потоки, которые питали наше государство на протяжении почти пятисот лет, в последние десятилетия очень сильно обмелели. И если поначалу люди двигались на восток и достигли в конце концов окрестностей Сан-Франциско, то в конце 80-х начался стремительный обратный процесс. Сотни населенных пунктов исчезли с лица земли; большие города

Сибири и Дальнего Востока взбухли от прибывающих из сел, рабочих поселков и городков, а потом и в них обозначился отток жителей – люди ехали дальше на запад.

Судя по статистическим данным, сегодня ситуация несколько стабилизировалась. Но все же мало кто едет нынче жить на восток страны. Да и притягательным для туристов этот край пока не стал. Информационные поводы по большей части негативные и сухие. Поэтому книги, душевные, живописные, отчасти приближают Дальний Восток к нам, обитающим западнее Урала.

Алексей Коровашко пишет вроде бы о хорошо известном – о герое произведений путешественника Владимира Арсеньева таежном человеке Дерсу Узала... Да, вроде бы хорошо известном, но именно – «вроде бы».

Во время чтения книги Коровашко я по случаю спрашивал молодых – лет пятнадцати – двадцати пяти – парней и девушек, знают ли они, кто такой Дерсу Узала. Спросил человек двадцать. Никто твердо и внятно не смог мне ответить, в лучшем случае путали его с Тыко Вылкой, двое-трое уточняли: «Это который “однако” говорил? Чукча?» Об Арсеньеве и его книгах никто не знал.

В общем-то, в этом ничего нет страшного. Для нашего с Алексеем Коровашко (мы сверстники) поколения книги Арсеньева еще были увлекательным чтением, манили путешествовать, но нельзя ожидать, чтобы и спустя тридцать лет они оставались такими же востребованными, куда-то манили. Если что-то и манит нынче, то не это...

Да, фигура Дерсу Узала не то чтобы уходит в Лету – в культурной памяти она еще будет существовать довольно долго, – но уж точно размывается, соединяется с другими фигурами. И напомнить о Дерсу Узала – персонаже книг и реальном человеке, показать, есть ли отличия – дело полезное. Да к тому же и показать те места, где жил этот человек-персонаж.

Алексей Коровашко – доктор филологических наук, преподаватель Нижегородского университета, автор книг «Нижегородские заговоры», «Заговоры и заклинания в русской литературе XIX–XX веков». Названия сухие, но тексты, поверьте, очень даже живые и увлекательные. Тем более что Коровашко, в отличие от большинства ученых, не сторонится еще неустоявшейся современности, а исследует, вводит в науку. Это, видимо, привело его в литературную критику, сделало заметной фигурой литпроцесса. И сочетание научного фундамента и простоты изложения делают книгу Алексея Коровашко потенциально интересной для «широкого круга читателей». Тираж, к сожалению, очень скромный – 1500 экземпляров. Но, правда, в № 12 за 2014 год журнала «Урал» есть главы из книги. Можно составить впечатление...

Коровашко тщательно исследует Дерсу Узала, этого постепенно растворяющегося в толще времени героя. Восстанавливает его подлинное имя – Дэрчү Оджал (вернее, объясняет значение имени и почему оно должно звучать именно так), сопоставляет подлинного Дерсу и литературного, созданного Арсеньевым.

Мы (те, кто читал) привыкли воспринимать книги «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» как документальные произведения. Коровашко демонстрирует, что это не так. Это произведения художественные, но основанные на реальных событиях. И за арсеньевским Дерсу Узала стоит прототип...

Об Узала писал не только Арсеньев. Есть путевые записи, большой очерк, рассказы соратника Арсеньева по одному из путешествий Петра Бордакова, есть воспоминания первой жены Арсеньева, его сына... Автор «По следам Дерсу Узала» скрупулезно сравнивает эти документы.

Арсеньев создал несколько идеализированный образ чистого в основе своей, справедливого и умудренного природой таежного человека. Он даже «переодевал» Дерсу в своих книгах по сравнению с дневниковыми записями, умалчивал о вредных привычках – пристрастии к алкоголю и морфию; трубка у Арсеньева служит таежнику инструментом размышлений, хотя Бордаков и жена Арсеньева отмечают в первую очередь то, что от трубки «несло отвратительной гарью».

Алексей Коровашко фокусирует наше внимание на реальном Дерсу Узала не для его дискредитации (к этому человеку он относится явно с большой симпатией), а чтобы показать, что такое литературный персонаж, художественный образ и прототип. Вводит нас в творческую лабораторию путешественника, писателя и философа Владимира Арсеньева, сравнивает его метод с методом сугубого документалиста (хотя как сказать) Петра Бордакова. Выигрывает, конечно, Арсеньев с его художественной правдой.

Недаром к произведениям Арсеньева не раз обращались кинематографисты. Оказывается – спасибо Алексею Коровашко за открытие (по крайней мере, для меня это стало открытием), – сценарий, правда, не воплощенный в фильм и даже до сих пор не опубликованный, написал Дмитрий Балашов, русский писатель, историк, этнограф, живший на другом конце страны – Новгородчине... В фильме Куросавы роль Дерсу Узала сыграл мой земляк – тувинец Максим Мунзук.

Не знаю, побывал ли в процессе работы над книгой Алексей Коровашко в Хабаровске, на реке Усури, но, покопавшись в Интернете, я обнаружил, что он, сын советского офицера, одно время жил в Монголии. И хоть Монголию к Дальнему Востоку отнести нельзя, все-таки и Усури, и Монголия, это части одной цивилизации. Почти погибшей и очень слабо нам известной...

Василий Авченко – дальневосточник в четвертом поколении. И книга «Кристалл в прозрачной оправе» предельно личностная, построенная на его собственных воспоминаниях, впечатлениях, ощущениях. Их так много, они такие яркие и живые, что автор на первых же страницах готов выплеснуть всё, что у него есть.

Наверное, немного успокоившись, он признается: «Пока не поздно, сделаю необходимое пояснение. У меня нет никакого уникального опыта. Это я не только признаю – я настаиваю на этом, подчеркиваю это. Я не заядлый рыбак и вообще, наверное, не рыбак; я не дайвер, не путешественник, не спортсмен, не сплавщик, не биолог и тем более не ихтиолог. У любого из названных – больше информации, совершеннее методика ее осмысления, да и просто больше опыта. Я всего лишь человек, живущий у моря. Будь я ученым или рыбаком-профи – я был бы перегружен специальной информацией, перенасыщен впечатлениями, потерял бы ощущение причастности к чуду, которое меня посещает всякий раз, когда я гляжу на морду камбалы – свежеевыловленной или уснувшей на рыночном прилавке. Хочется верить в то, что мой восторженный дилетантизм – это преимущество. Я не делюсь экзотическим опытом – я говорю о повседневности. По крайней мере так я оправдываюсь, когда думаю о том, что, возможно, вообще не имею права писать о рыбе и море. Почти любой из моих земляков знает о рыбах куда боль-

ше, чем я, – не в разы, а на порядки больше, и на порядки же больше имеет опыта. Но никто из них не пишет о том, о чем мне хотелось бы читать. Молчит и сама рыба. Поэтому говорить приходится мне».

Очень важное признание, точное замечание в последнем предложении. Для того, видимо, и дает природа разный дар разным людям. Несколько даров в одном человеке, как, например, у Александра Ферсмана, который, будучи глубоким ученым, мог писать о камнях настоящие «поэмы», – редкость.

У Василия Авченко есть большой литературный дар. Несколько лет назад он поразил читателей своей дебютной книгой «Правый руль», теперь, по словам автора предисловия Захара Прилепина, накрыл читателю «такой стол, что залюбуешься». (Прилепин, кстати, написал предисловие и к книге Алексея Коровашко.)

Между «Правым рулем» и «Кристаллом в прозрачной оправе» у Авченко был еще «Глобус Владивостока», который может стать помощником для понимания некоторых терминов, топонимов Владивостока и его окрестностей, встречающихся на страницах «Кристалла...».

Новая книга увлекает, от нее сложно оторваться. От чтения первой части я отрывался два раза. Для того, чтобы сбежать в магазин и купить сначала камбалу (правда, тихоокеанской не нашел, пришлось жарить атлантическую), а потом – на поиски иваси. Иваси в продаже нет. Объяснение я нашел у того же Василия Авченко:

«Ивась – одна из самых загадочных рыб нашего моря. Она берет ся ниоткуда и исчезает в никуда, причем никто не может сказать, чем вызваны ее приходы и уходы. В 1930-е годы ивась в Японском море считался промысловой рыбой номер один. <...> В сороковые ивась пропал. <...> Следующий пассионарный взрыв пришелся на семидесятые. Добыча ивася вновь пошла на миллионы тонн. Специально под ивася на Дальнем Востоке строились целые флотилии и сети береговых заводов. Однако ивась исчез одновременно с Советским Союзом, и его промысел прекратился. На приморском побережье и сегодня в самых неожиданных местах натыкаешься на раскрошившиеся бетонные соты – солильные чаны. Мы не видели ивася около двадцати лет, пока в 2011-м он не появился вновь – на Сахалине, в Приморье. Откуда, почему? Я вдруг стал наткаться на него, порядком подзабытого, на рынках. Вспомнил эти крапинки на боках, изящное тельце и вкус, который, казалось, навсегда остался там, в восьмидесятых. <...> Почему ивась вернулся? Сейчас ученые изучают его численность и решают, стоит ли возобновлять полномасштабный промысел. Пока склоняются к тому, что скорого возвращения “большого ивася” ждать не стоит. Но, может, они ошибаются».

В подобном духе Василий Авченко пишет о каждом жителе моря, дальневосточных рек и озер, о каждом виде камней. Цитировать хочется страницами, тем более что, хоть книгу и не назовешь в строгом смысле прозой, штришков художественности в ней множество.

«Схема запутанного токийского метро похожа на человеческий мозг в разрезе: не очень понятно, что к чему, но всё работает»; «...маленький городок – неожиданный букет пятиэтажек посреди тайги и сопот Сихотэ-Алиня»; «...Вернадский, увлеченный биограф самых коренных обитателей нашей планеты – химических элементов».

Порой автор явно провоцирует на спор. У меня как человека, родившегося и выросшего на берегу Верхнего Енисея, вызывает протест такое утверждение Авченко: «После моря – настоящего моря –

любая пресная вода кажется разбавленной или прокисшей, как несвежее пиво». Тянет утверждать обратное; но я не бывал во Владивостоке, не нюхал Японского моря. Поэтому пока удержусь. Вот побываю и поспорю. Или соглашусь.

К сожалению, ближе к концу (а объем книги 350 страниц) наступает некоторое утомление. Наверное, не из-за того, что автор снижает градус повествования, иссякают интересные темы и детали. Нет, дело, по моему, в том, что не хватает героя. Повествователь есть, он живой, ему есть что сказать, но... Неспроста читателю так важны сюжет, конфликт, персонажи. Пресловутые завязка, кульминация, развязка. «Кристалл в прозрачной оправе», конечно, не беллетристика, не проза в привычном понимании, но и не этнография, не публицистика.

Авченко, я уверен, может писать повести, рассказы, романы. И сюжеты у него имеются, и герои, интереснейшие типажи и образы. Думаю, он в конце концов рискнет оторваться от документализма, посмотрит на себя-повествователя иным взглядом.

О Дальнем Востоке мы из нынешней художественной литературы знаем крайне мало. А знать хочется. Потому, видимо, так встретили роман Виктора Ремизова «Воля вольная» – на ура. Наверняка, если бы действие этого романа происходило в Карелии или на Каспии, о нем говорили бы меньше. Дело не в экзотике, нет. Дело в расширении географии в нашей литературе.

Писателей во Владивостоке, Хабаровске, на Камчатке, Сахалине немало. Но, к сожалению, и пусть они на меня не обижаются, – эти писатели в основном регионального звучания. Причины этого у каждого автора свои. Но есть и общая – отдаленность от центральных издательств, журналов. Василию Авченко посчастливилось стать писателем общероссийским. И здесь напомним ему его же собственные слова: «Поэтому говорить приходится мне».

Да, Авченко не грех проникнуться мыслью, что он должен говорить в современной русской прозе о Дальнем Востоке и за Дальний Восток. Тем более что ему есть что сказать. Вот выдернутая из «Кристалла...» почти наугад основа для целого романа:

«Мы пришли сюда и освоили эту землю. Одновременно эта земля освоила нас. Мы ее русифицировали – она нас тихоокеанизировала. Мы думали, что подчинили землю себе – и не заметили, как она подчинила себе нас. Европейцы, живущие к востоку от Китая, мы частично стали азиатами. В силу маньчжурской природы и морского питания даже сама наша физиология, возможно, эволюционирует в азиатском направлении, сохраняя вместе с тем базовые русские черты».

Много в этом абзаце? По-моему – очень много. Целая вселенная обозначена, которую так хочется разглядеть подробно.

## Дмитрий ЛАРИОНОВ

Родился в городе Кулебаки Нижегородской области в 1991 году. Окончил металлургический колледж, филологический факультет Нижегородского госуниверситета.

Лауреат газеты «Литературная Россия», фестиваля «Светлояр русской словесности». Автор поэтического сборника «Словоловие». Публиковался в изданиях «Дружба народов», «Литературная газета», «Литературная Россия». Стихотворения вошли в антологию нижегородской поэзии «Настоящие» (2015). Живет в Нижнем Новгороде

## МАРИЕНГОФ, КОРНИЛОВ, ЛУГОВСКОЙ. ТРИПТИХ

О книге Захара Прилепина «Непохожие поэты»

*И я с улыбкою угрюмой,  
как бы ступив через межу,  
от протопопа Аввакума  
в свое столетье ухожу.*

Ярослав Смеляков

### 1

«Непохожие поэты» – вторая книга Прилепина в знаменитой биографической серии ЖЗЛ; на первую (о писателе Леониде Леонове), согласно легенде, его сподвиг Дмитрий Быков; новая – попытка рукопожатия своим любимым стихотворцам. И оно, это рукопожатие, вышло тройным.

Получился триптих под одной обложкой.

«Просто когда-то, – объясняет в предисловии Прилепин, – мне довелось влюбиться в стихи этих поэтов – до какого-то терпкого, болезненного чувства».

Наверное, здесь следует напомнить, что незадолго до «Непохожих поэтов» в свет вышла антология из пяти поэтических сборников раннего советского времени (Прилепин отобрал лучшие, на свой вкус, стихотворения Мариенгофа, Луговского, Корнилова, Есенина и Павла Васильева). Этим поэтическим сборникам, в свою очередь, предшествовало издание собрания сочинений имажиниста-арлекина и первого денди советской республики Анатолия Мариенгофа.

Славно, что с момента издания сочинений Анатолия Борисовича уже третий снег выпал – но история продолжается.

Условий, в которых жили и творили вышеперечисленные литераторы, не знала ни одна мировая культура. Именно поэтому многие

биографии представителей первого ряда советской литературы, пусть даже и незаслуженно забытых, говорят и о человеке, их написавшем.

Зачастую такие художественные жизнеописания пристрасно конкретизируют эпоху.

У Прилепина этого нет.

Прилепин в таком случае расставляет акценты.

По такому поводу нам остается лишь воспроизвести прекрасные слова писателя Леонида Юзефовича: «Право судить и, следовательно, прощать мертвых Захар не признает ни за кем, в том числе за собой, а мудростью историка и художника, понимающего, что если в каждом отдельном случае ты худо-бедно способен отличить грех от добродетели, то в целом, в масштабах всей жизни, абсолютно невозможно вынести приговор кому бы то ни было».

Да. В публицистике – извольте занять позицию. А здесь – нарратив.

И потом, что уж там сейчас думать о героях и персонажах. Для полномерного суждения о художественных особенностях литературной продукции большевистской эпохи, читателю следует пройти по писаниям рапповцев и многих других; а также – перелистать, если угодно, худших представителей советской литературы третьего ряда.

Оно надо? И каков он, этот ряд?

## 2

Итак, Анатолий Мариенгоф (1897–1962). Борис Корнилов (1907–1938). Владимир Луговской (1901–1957). Примерно по 120–125 страниц на каждого.

Прилепин перерыл литературную канву 1919–1921 годов и обнаружил, что влияние того же Мариенгофа на тогдашнюю поэзию было колоссальным, по его словам – соразмерным с влиянием Есенина или Маяковского. А эпатаж и выходки имажинистов (да-да, тот самый performance) для истощенной гражданской войной московской публики вполне себе выполняли функцию гламура.

В книге также представлены впервые публикуемые сведения о родителях Мариенгофа, почерпнутые из архивов; с адресами и фактами дана малоизвестная картина жизни в родном Нижнем Новгороде.

Отношения Мариенгофа с Есениным – глава особая. На двоих поэтов совместных фотографий было больше, чем у Сергея Александровича с каждой его женщиной.

Нельзя было пройти мимо отношений Анатолия Борисовича с женой. О чувствах к Никритиной в мемуарах у Мариенгофа нет практически ничего, однако Прилепин нашел много интересного в текстах, не предназначенных для публикации.

Жаль, что сегодня для многих после короткого, но яркого взлета, Анатолий Борисович так и остался другом Есенина. Знаем, мол, отошел от поэзии, написал романчик-другой и сразу стал автором мемуарной прозы.

Отнюдь.

Корнилов – с берегов темноводной речки Керженец. Единственный из троих поэтов Прилепина, кто не дожил до середины столетия. Осенью 1936 года он был вырван из литературной жизни, через полгода – арестован, спустя год – расстрелян.

Жизни почти не было, зато сколько всего...

Когда-то его «Песню о встречном» пел практически весь Советский Союз, а старшие поколения и посейчас не забыли:

Нас утро встречает прохладой,  
Нас ветром встречает река.  
Кудрявая, что ж ты не рада  
Весёлому пенью гудка?

Думается, что именно к Корнилову Прилепин применил наиболее вольную художественную нарративную технику. Уходишь по строчкам — перед тобой не тяжеловесная действительность (как это часто бывает), а быстрый взлет и скандальный успех; города и люди; живой голос и дневниковые записи. И радушный, непринужденный в беседе Борис Петрович.

## 3

Владимир Александрович Луговской — москвич, одновременно певец ночей Каспия и «родной Итаки»; трибун, империалист и лирик со множеством ассоциаций и отзвуков. Часто о нем пишут, что после заслуженной славы он пережил человеческий кризис, который длился вплоть до заката его жизни.

Почти за четверть века после распада СССР вышла всего одна книга Луговского тиражом полторы тысячи экземпляров, а в первые тридцать лет после смерти — сотни тысяч книг.

Несколько работ о Луговском написала Наталья Громова.

Шаг за шагом, двигаясь по нелегкой судьбе последнего поэта, Прилепин натывается на признаки грядущего излома...

Хочется перейти к тексту: в двадцать пять лет Луговской написал стихотворение, которым сказал больше, чем своей смертью:

Дорога идет от широких мечей,  
От сечи и плена Игорева,  
От белых ночей, Малютиных палачей,  
От этой тоски невыговоренной;

От белых поповен в поповском саду,  
От смертного духа морозного,  
От синих чертей, шевелящих в аду  
Царя Иоанна Грозного;

От башен, запоров, и рвов, и кремлей,  
От лика рублевской Троицы.  
И нет еще стран на зеленой земле,  
Где мог бы я сыном пристроиться.

И глухо стучащее сердце мое  
С рожденья в рабы ей продано.  
Мне страшно назвать даже имя ее —  
Свирепое имя родины.

Прилепин после первой ЖЗЛ «вытянул на свет» Леонова. Возможно, у нас будет шанс убедиться в схожем эффекте с «почти забытыми» Мариенгофом, Корниловым и Луговским.

Скрестим пальцы.

## В ЭТОЙ КНИГЕ ЖИВУТ ЛЮДИ. ЭТО МЫ

### О новом сборнике стихотворений Алика Якубовича «Быть»

*Настоящие слова прячутся под языком.*  
Тонино Гуэрра

#### 1

Поэзия Якубовича – не традиционное стихосложение, но универсальная форма целостного проживания жизни; а последняя книга «акустических фотографий» – как бутылка коньяка. Такой не место на полке: отхлебнул немного, закрутил пробку, бросил в рюкзак – и до следующей остановки.

Частная жизнь по Якубовичу – штука крайне тяжелая. Пройдя через круговорот перемен и обстоятельств, череду встреч и прощаний, фантомы прошлого, бог еще знает чего, она заставляет своих героев забыть, что они – люди.

Однако большинство из них – нежны и уязвимы.

Простой и сложный message в нашем случае – суметь выстоять, остаться самим собой; а ностальгические авторские интенции – лишь способ поиска. И не в последнюю очередь – это поиск себя.

«О себе» мы находим следующее:

Он не был героем,  
Он просто был молод...

Тут нечто большее, конечно, чем просто слой воспоминаний. Да и не воспоминания это вовсе. И даже не «тоска по родному дому». Не ностальгия.

Ни много ни мало движение «назад» и есть путь «вперед» этого сборника.

Понятие времени для автора – одна из ключевых тем.

#### 2

«Быть» – пятая книга Якубовича. Корпус сборника состоит из 202 текстов и 92 фотографий. Если говорить о снимках, удивляет их обыкновенная человечность: они любят людей. Такие фотографии – жизнь в 1/30 секунды.

В этом смысле путь Якубовича – это путь к Яворскому, Шпагину, Урову, Дмитриеву. Его изображения не перетягивают внимание чи-

тателя на себя; зачастую передают интересный рассказ, а случается – образуют блоки, которые играют в книге роль отбивки.

Что важно – Алик умеет удивляться сам и удивлять других.

Традиционно – много Нижнего в новой книжке.

Есть Пермь. Конечно, Санкт-Петербург. Уголки Кубы и Ирландии; только понятие географии в нашем случае – условное. Если нижегородцы и смогут узнать родные виды и улочки, то питерские дворы и задворки других городов останутся непрочитанными.

Впрочем, это и неважно.

«Говорят, что поэтов надо сравнивать с кем-то, – писал Захар Прилепин, – с другими поэтами, например. Это дурная привычка, и я представления не имею, с кем сравнить Якубовича».

Рискнем предположить, что по преобладающей тональности большинства текстов, равно как и по жанровой принадлежности, Алик Якубович – элегик. Три четверти его стихотворений ретроспективны; реальность и романтика в этих стихотворениях обретает свой статус постфактум:

Рожденные  
На Северном поселке Автозавода  
Во дворе трехэтажного мата,  
Мы точно знали,  
Что жизнь – это праздник,  
Если не мешать  
Пиво с водкой,  
Дружбу с блатными,  
Милицию с рок-н-роллом.  
Мы делали все, чтобы про нас услышали  
«Голос Америки», «Радио Свобода»  
И, конечно же, та девчонка,  
Ради которой мы мешали  
Пиво с водкой,  
Дружбу с блатными,  
Милицию с рок-н-роллом.

О времени как таковом в новой книге можно найти немало коротких стихотворений. Такие верлибры случались и в предыдущих его сборниках. Собственно, большинство читателей и любят Якубовича за его стихотворения-цитаты.

Его книги – это одно великолепное изречение.

Двигаемся дальше: следующие главные темы автора – пространство и конец приемлемого миропорядка. Вот пример тематического соединения:

Время, забытое в отцовских часах,  
Оказалось холодной зимой,  
Когда слово «баня»  
Звучало как заклинание.  
И каждую пятницу  
Отец приходил с работы пораньше,  
Брал меня за руку,  
И мы ехали в продрогшем трамвае  
В это царство голых мужиков  
Где не было ни бедных, ни богатых,

Где все были по-разному равны  
 И внимательны друг к другу,  
 Где в парной, как в церкви,  
 Мужики берегли тишину,  
 Забываясь в своих маленьких надеждах.  
 А самое главное  
 Начиналось потом в буфете,  
 В этом шумном мужском братстве,  
 С пивом, с воблой,  
 С анекдотами про Брежнева.  
 Куда же подевалось это зимнее тепло?  
 И кто тогда мог подумать,  
 Что это была репетиция рая.

Однако ретроспективность в его текстах зачастую затрагивает действительность и будущее:

В жизни все вовремя,  
 Но почему так поздно,  
 Ведь полвека уже позади.  
 И случайно кем-то забытая книга  
 Через несколько страниц  
 Становится любимой.  
 Но ее нельзя читать лежа на диване,  
 И ты спешишь на вокзал,  
 Долго изучаешь расписание поездов,  
 А потом садишься  
 В первый попавшийся  
 И открываешь жизнь  
 На любимой странице...

Короткие верлибры его, остроумные и лишённые назидательности, замечательны тем, что создают резонанс в читателе.

А иной раз кажется, что Якубович берет пошлость, освежает ее и наполняет свойственным ему благозвучием. Ну вот, например, был у него в одной из предыдущих книг «парижский» верлибр. Помните? Что может быть пошлее романтических сентенций про коньяк, влюбленность и Париж (все в одном стихотворении)?

Нет ничего отвратительней.

Но Якубович взял и сделал из этого без малого шедевр.

Якубович – певец ускользящих мгновений. Стремительных и воздушных.

### 3

«Для меня эта книга, – делится мыслями Алик, – это не просто сборник стихов и фотографий. Это творческий отчет за три года. Это и мой альбом, и мои тексты, и мое состояние».

Так как к литературным текстам дозволено подбирать ключи, то попробуем и мы.

Предложим следующий:

Уход – это путь возвращения...

Или:

Горизонты иногда за нашей спиной.

Вышеприведенные строчки принадлежат итальянскому поэту и писателю, автору сценариев к фильмам Феллини, Антониони и Тарковского – Тонино Гуэрра.

Они вполне себе безоговорочно стреляют в пространстве всей новой книги Якубовича. И могли бы быть эпиграфом к ней.

Даже об умиротворении, которое приходит лишь с опытом (возрастом), и молодой жизненной бесшабашности говорят почти одинаково.

В первом случае: «Говорят, он псих и что так нельзя, / Даже птицы боятся его высоты, / Даже смерть просила у него валидол. / Говорят, вторым пилотом / У него Господь Бог».

Это Якубович.

Теперь иными словами. Обратное. У Гуэрра:

Мой дом стоит так высоко, что до него доносится кашель Бога.

Двигаясь от стихотворения к стихотворению, от фотографии к фотографии, читатель будет постоянно переходить из состояния в состояние; он пройдет путь «одинокого путешественника, которому никто не помощник».

И в конечном итоге с помощью текста и изображения сможет попасть в третье пространство. Взглянуть на полученную уникальную авторскую оптику извне.

«Быть» на самом деле – жизнеутверждающая книга. И вневременная:

Собери путь в себе,  
И старый рюкзак  
Обнимет тебя за плечи.

В книге Якубовича действительно живут люди. Это мы.  
И разделяет нас лишь страница.

## НИШТЯКИ МАКОШИ

О сборнике прозы Олега Макоши «Нифиля и ништяки»

### 1

Если набрать в поисковике имя и фамилию автора книги «Нифиля и ништяки» – увидим немало интересного. Попробуем?

Давайте. Нажимаем кнопки на клавиатуре – вуаля! «Скромный гений. Нижегородского слесаря признали писателем года в США», «Продавец из Нижнего Новгорода покорила Америку»; а стоит прокрутить новостную ленту пониже – «Из депо – в писатели».

Такие дела. Вы опять проглядели.

Слесарь? Продавец? Водитель троллейбуса? Еще и Америку, говорят, покорила. Эдак и госдеп до наших работяг добрался? Ну ладно, ладно. Улыбнулись. Простите.

Теперь о непонятках – сначала Олег работал автослесарем – хороший коллектив, тяжелая мужская нужная работа. А потом устроился продавцом в один из книжных магазинов, что на главной улице Нижнего Новгорода. Стал ближе к книгам. Его и по сей день любой желающий там может увидеть.

Собственно, в магазине с автором и познакомились.

### 2

Любопытная с ним история получается. Так вышло, что первая публикация Макоши, равно как и его первый литературный гонорар, случилась четыре года назад, в американском журнале «Флорида» (журнал выходит в Майами). Там наши бывшие соотечественники постановили, мол, рассказы нижегородца – лучшие. Присудили компетентной комиссией премию в 300 долларов. А в минувшем году уже и первая книжка случилась.

Проза Макоши – калейдоскоп человеческих историй о рабочем классе. Это проза о людях, занятых физическим трудом; о тех, кто в силу стечения обстоятельств до среднего класса не дотягивает. В своих ранних вещах автор рассматривает человека в свете его рабочих функций. В перспективе получается непроизводственный роман в рассказах.

Нередко он использует технику монтажа – тогда маленькие главы его рассказов объединяются тематически одним стержнем.

Многие герои его – новые босяки, которые прожили всерьез свое детство с открытыми глазами. Прожили (правда, не все) и постперестроечный период – где одновременно соседствуют поэзия и трагедия, обреченное и необходимое.

Он пишет о тех, кто живет рядом: бездельничает и трудится, пьет и страдает, любит и радуется. А что до названия книги – в переводе на бытовой язык «Нифиля и ништяки» буквально означает «хорошее и плохое». Или даже так: «не все плохое – плохое».

## 3

Думается (простите), есть у Макоши что-то от Антона Павловича. Природная склонность к острословию, может быть?

Макоша тоже умеет и любит выдавать фразы, западающие в память.

Памятно его размышление о соседях из рассказа «Сами мы местные»: «Такая история, с одной стороны, у Андрея Жильцова верхние соседи буйные – пьют, гуляют от души, а с другой – старинный друг, полицейский офицер в местном отделе и приличном звании. Вот он Андрюхе и говорит, ежели что, звони, приедем, разберемся. А как тут звонить, когда соседи в России, бывают, можно сказать, ближе родственников и дороже жены. Правда, бывают и наоборот».

То ли «нифиля», то ли «ништяки». Бог их знает.

Давайте доверимся Макоше – не все плохое – плохое.

Так и живем. И жить будем.

## Владимир ЯРАНЦЕВ

Родился в 1958 году в Калининне. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни», в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия». В многочисленных статьях, обзорах, рецензиях поднимает острые проблемы текущего литературного процесса. Автор книги статей и эссе «Еще предстоит открыть» (Новосибирск, 2008).

Член Союза писателей России. Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.

## НЕСЛАБАЯ КНИГА

«Жених и невеста» Алисы Ганиевой. Из дневника

*В первый же день книжной ярмарки «Тарки-Тау-2015» в Махачкале я познакомился с «той самой» Алисой Ганиевой. Провинциалу, мне каждое знакомство с «засвеченным» столичными СМИ писателем – всегда событие. Знал же я о ней не так уж и много: из когорты молодых «толстожурнальных» критиков, кажется, поборников «нового реализма», а с недавних пор писательница. С «новым реализмом» к нынешнему времени все уже ясно: порыв начала 2000-х угас, группа распалась на индивидуальности без явного желания стоять под знаменами какой-либо идеи или платформы, тем более такой досадно неясной, с сомнительным термином «новый реализм». Просто все повзрослели и, заслужив «имена», пошли дальше. В самый разгар «борьбы за идею» с меня хватило прочесть З. Прилепина, Р. Сенчина, О. Зоберна, Д. Гуцко, пробежал глазами статьи В. Пустовой. До А. Ганиевой я так не дошел, хотя имя знал: на рубеже 2000–2010-х оно было на слуху. Да и сам я ушел в сибирскую литературу и литературоведение, так что стало не до этого.*

*И вот презентация ее новой книги «Жених и невеста» в Дагестанской национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. Там ее назвали «книгой слабой» по сравнению с предыдущей «Праздничной горой», будто бы неправильно или даже искаженно изображались внутринациональные отношения в Дагестане. Московский гость Ирина Барметова, редактор журнала «Октябрь», литкритик и человек для автора этого журнала А. Ганиевой не посторонний, резонно возразила: книга тщательно выстроена, продумана, взвешенна. Только вот для чего написа-*

*на? Вопрос прозвучал как затравка грядущего обсуждения. В котором принять участие я не мог: во-первых, книг, ни той, ни другой, я не читал; во-вторых, было очень душно, и не только физически. И еще была заметна досада автора на непонимание ее книги. И почему-то в словах и глазах А. Ганиевой углядел вину – что не смогла донести до читателей в полной мере свои мысли и чувства и, может быть, согласие с тем, что она действительно не удалась. Тогда-то и созрело решение: прочитать, написать, объяснить, защитить. Начал с 2010 года, Ганиевой-критика.*

Критику легче: он имеет дело уже с готовым произведением, извлекая из него по очереди – идею, сюжет, композицию, систему образов, оценивает язык, стиль и, наконец, относит к какому-то из лит направлений, течений, школ. С этим А. Ганиева-критик справлялась легко и непринужденно. Так, в статье «Хрестоматийный глянец» обнаружила «метаморфозы писателей в действующих лиц глянцевого мира», включая «писателей из другой вселенной – из толстых журналов», сталкиваясь по пути с «перебежчиками из селебрити, бизнеса или VIP-зон коммерческих издательств в писатели». И в этом не «угроза», а только стимул для аналитиков литпроцесса, излишне замкнутых на своей «толстожурнальности». Сложности толкования современного литпроцесса находили у А. Ганиевой адекватные оценки, независимо от «возраста» (даты опубликования) данной статьи. Так, в статье 2005 г. «Не лезь в пекло вперед батьки» она писала о «зависании между барокко и классицизмом, между романтизмом и реализмом» нынешней литературы и через год, в статье «И скучно, и грустно» уже определяла «новый реализм» как «нечто между постмодернизмом и тем, что нас ожидает, не оуклившееся в метод предчувствие и предвкушение».

Годы шли, метод все не оукливался. И тогда А. Ганиева сама стала писать прозу. Чтобы решить иным способом означенную критическую проблему, превратить «нечто» во «что», отказавшись от жанра, обязывающего к точным формулировкам и вынесению вердиктов, спросим мы? Можно было бы и избежать искушения привязать факт перехода А. Ганиевой к прозе к отказу от литкритики, если бы не книга-феномен «Салам тебе, Далгат!» По оба ее «конца» стоят повесть с рассказом (начало) и подборка литературно-критических статей (конец), которые мы здесь цитировали. Посередине же, в сердцевине «Далгата» стоят «Очерки о Дагестане», которые, на наш взгляд, и являются ключом к данной проблеме «переходности». Эксперты, отметившие, что в этой первой книге А. Ганиевой «предметом изображения становится речь», правы отчасти. Этим «предметом» является для нее весь Дагестан в головокружительной сложности всех сфер его жизни. В котором все «между» и «нечто», и само существование которого как содружества народов и языков, когда житель аула не понимает своего соседа из другого аула в трех километрах от себя, настоящее чудо.

Собственно, это и можно назвать «новым реализмом», когда рассказ о Дагестане, в художественных ли, очерковых, публицистических ли жанрах настолько же выпукло реалистичен, насколько и метафоричен, иллюзорен, уводя писателя-реалиста к мифам и утопиям. Не зря Расул Гамзатов свою книгу «Мой Дагестан» рассыпает на десятки и сотни рассказов, историй, случаев из жизни дагестанской глубинки и остального мира. «Мой Дагестан» А. Ганиевой это и «Кавказский человек на rendez-vous» с пороками посттрадиционного кавказского уклада

жизни, и ирландец, доящий дагестанских коров и автобиографическая героиня, тщетно пытающаяся справиться со стадом бычков в окрестностях высокогорной речки Бец-ор. Что этот, изображаемый А. Ганиевой Дагестан действительно «Ее», убеждает то, что автор все более начинает говорить о себе, говоря о Дагестане. Мы узнаем о предках А. Ганиевой, прадедушки которой были «учеными священнослужителями», а родители просто учеными. Отец активно занимался политикой, основав «перестроечную» газету в известные годы. Вряд ли случайно поэтому, что дочь из такой культурной семьи с качественным школьным образованием оказалась в Москве и начала писать умные литературно-критические статьи, блещущие такими, например, пассажами: «Если онтогенез наложить на филогенез, барокко как раз будет соответствовать переходному пубертатному возрасту».

Рискнем предположить, что А. Ганиева в какой-то момент застенялась своего ума, побоявшись уйти в «высоколобость». В отличие от своей коллеги и соратника по «ПоПуГану» (Погорелая, Пустовая, Ганиева) Валерии Пустовой, снискавшей успех своей весьма «толстой» критикой. По крайней мере, в прозе А. Ганиева, наоборот, идет «на дно», к простым людям и разговорной лексике. «Далгат» удивляет нас, после онтогенеза с филогенезом, таким обилием просторечий жаргонного типа, что не успеваешь проглатывать все эти «по кайфу», «бычиться», «дохлик», «бакланиться», «понтуешься», «кисляки мочишь» и т. п. Будто А. Ганиева перенимает опыт тех «неореалистов», которых некогда критиковала – С. Чередниченко, М. Кошкина и др. Но верх берет вся та же сердцевина творчества А. Ганиевой, которую мы условно назвали «Мой Дагестан» и который отчетливо виден во всех ее последующих книгах.. Это тот пестрый мир, который зиждется на зыбком «между»: между отвязной молодежью, коррумпированными чиновниками, хранительницами очага женщинами, пузатыми силовиками, субтильными интеллигентами и религиозными ортодоксами и фанатиками, армия которых угрожающе растет. То есть между Магой, Хаджиком, Сайпудином, Яраги, Меседу и Мурадом, который один стоит всех прочих. А также – между бытовым мусульманством и салафитским, между русскими и аварцами (лезгинами, кумыками, лакцами и т. д.), между семьей и партией, между отцами и детьми.

«Обычному» человеку суждено попасть в этот зазор (пропáсть там), жить там. Ему неуютно, часто страшно, потому что это не ниша, не убежище, а тяжкий крест, голгофа. И потому Далгат – не Леопольд Блум Дж. Джойса, не Улисс, бродящий по Дублину ради экзистенциальных, мифологических, филологических и прочих игр автора-интеллектуала. Он, хоть и образован и культурен, в космополитическом смысле этого слова, но изначально трагичен в своем неприятии слишком уж радикальных перемен в дагестанском обществе. Тогда, когда молодежь стремительно опрощается (погонять по городу на тачке за девицами, покурить травки, потусоваться в кафе или на улице – ее главные занятия) или усложняется, следуя салафитской (ваххабитской) морали, бесчеловечной по сути. Вся беда Далгата в том, что он человек и ценит прежде всего человеческие отношения, потому и обречен.

Шамиль из «Праздничной горы» – тот же Далгат, но живущий уже в романном мире, более населенном и разветвленном социуме. Не случайно он журналист, по природе своей профессии общающийся с множеством людей. Впрочем, это и в природе дагестанского общества, с его до сих пор актуальными родственными связями, кланами, тухумами,

где знают свою родню и предков до седьмого и т. д. колен. Но все чаще Шамиль слышит о главном препятствии – некоем Вале, призванном отгородить Дагестан от России. Лишенный конкретики, наглядности, этот Вал становится сквозным образом-метафорой тех стен и перегородок, которые начинают возникать между людьми. И вот уже лезгины собираются провозгласить свой Лезгистан, кумыки – Кумукстан, невеста Шамиля Мадина отгораживается от него своим мертвящим салафитством, писатель Махмуд Тагирович огораживает-оберегает литмир своих произведений от новых порядков, задумав «перестроить страну», вернуть ее к образу «Праздничной горы», овеванному стариной и фольклором синонимом Дагестана. Пока эта Гора только в воображении Шамиля и его друга Арипа. И Аси, такой же отщепенки, как и он. В «Эпилоге» они справляют свадьбу, но слишком уж она похожа на утопию, как захват власти «бородачами» в Махачкале – на антиутопию.

Зерно посеяно – сюжет встречи двух людей особой породы «между», оказавшихся между двух миров и мировоззрений благодаря попытке сохранить свою человеческую суть, – и вошло в «чистом» виде в следующем романе «Жених и невеста».

Вынужден сознаться: читал я книги А. Ганиевой в обратном порядке: от «Жениха и невесты», купленных в Махачкале на ярмарке «Тарки-Тау-2015», к «Салам тебе, Далгат!» и потом к «Праздничной горе», прочитанных в Новосибирске. Благодаря такому «обратному» чтению и родилась версия толкования свежего романа А. Ганиевой в свете «нереализма», то есть «Моего (Ее) Дагестана» с выходом на трагизм существования человека как такового в мире, все более отчуждающемся от «обычных» людей. Первоначальное же чтение, вне контекста предыдущих, все объяснивших мне книг представило суть происходящего в романе как драму «полукровок». Ибо герои романа «Жених и невеста» – московские, европеизированные дагестанцы, которые тесно связаны со своей «почвой», но не менее крепко уверовали в общечеловеческие ценности нынешней цивилизации. Отсюда их кричащее одиночество в романе, оно очевидно здесь как никогда.

Патя, при всей своей общительности, открытости любому контакту, остается одинокой, кандидаткой в старые девы. Молодежный активист Тимур, скороспелый жених, собирательный образ всего, что ей чуждо и отвратительно (узость кругозора, конформизм, неразборчивость в средствах при достижении своих целей, наглость, нахрап), еще более отталкивает ее от поселкового общества, выдавливая ее в Москву, где ее ждет второй «Тимур» – Ринат. Марат и вовсе настоящий отщепенец для местных, включая родных и знакомых: один только список невест, составленный его матерью для обязательной женитьбы в назначенный день чего стоит, давая понять, что иначе, без настояния родителей, он и пальцем не шевельнет. А его работа в Москве, в адвокатской конторе, отдаляет его от малой родины и вовсе бесконечно.

Тем не менее, парадокс: суженым надо было уехать из столицы, чтобы дагестанская земля в виде некоего степного поселка, соединила их. Правда, не на счастье, а на беду. Но могло ли быть по-другому, если само общество в этом уголке Дагестана, его миниатюре, разделено на два лагеря, два мира – тех, кто живет по обе стороны «железки» и ходит в разные мечети. Все настолько безнадежно, что нет даже спасительного фантома Праздничной горы, куда можно было скрыться хотя бы во сне, в мечте, к чему можно было стремиться, обрести смысл жизни.

Вместо нее есть всемогущий, но и всеускользающий Халилбек, которого молва сделала Робин Гудом, фигурой легендарной: «Он не просто человек, не просто гражданин. Он – глыба, утес, скала», – говорят о нем почитатели. И не хотят знать, что на самом деле это аферист и двурушник. Нет сомнения, что именно он сорвал свадьбу, похитив Марата и доведя Патю до самоубийства.

Финал книги еще более пессимистичен, чем в предыдущих произведениях. Но является ли он сугубо политическим как неутешительный взгляд на настоящее Дагестана и плохой прогноз его будущего? Сомнительно. В конце концов, все происходит где-то на задворках Махачкалы, в каком-то поселке, месте маргинальном, где гибнут все мало-мальски чуждые ему (почти юродивый Адик, нонконформист-интеллигент Руслан-гвоздь), где нет ауры древнего горного края с его традициями и законами общежития. По сути, это фон, сцена для трагедии двух личностей, чья драма – в горе от ума и от сердца. Они оба слишком умны, чтобы быть «как все» и не замечать недостатков, может быть, и простительных.

И тут прозреваешь: по большому, высокому счету, можно говорить о трагедии одной личности, так как Патя и Марат – женская и мужская ипостаси одного «Я», испытывающего драму самоидентификации. Это гипотетическое «Я» горячо любит свой Дагестан, не выносит долгой разлуки с ним, но и не может найти себя, свое место здесь, неизбежно, как на казнь, возвращаясь в Москву, где есть хотя бы культурная среда. Разделив это исходное «Я» на М и Ж, Ж (жених) и Н (невеста), А Ганиева и написала роман, тут же и проговорившись устами своей героини: «Марат!.. С невероятно знакомыми и родными чертами лица. Такими чертами, что казалось, будто он – это я, только мужчина». «Проговорилась» даже типография, напечатав в «женской», от лица Пати главе глагол в мужском роде: «Я снова оказался» вместо «оказалась».

Сверяю это первоначальное, «махачкалинское» прочтение с прочтением «новосибирским», и вижу, что оно не очень-то и противоречит «новореалистической» версии творчества А. Ганиевой, наоборот, только подчеркивает его. Думая же о схематизме (дуализме), понимаешь, что исходит он настолько же от природного, наследственного ума А. Ганиевой, насколько и от полноты ее чувств, одновременно со стремлением быть доходчивее для читателя.

Тут-то и можно назвать «Жениха и невесту» романом «слабым». Но язык не поворачивается. Слишком уж любит А. Ганиева Дагестан и «обычный», и «свой», чтобы не оценить весь накал эмоций романа, который, возможно, автору еще и приходилось сдерживать, остужать. И наконец, считать ли недостатком, что этот роман нельзя читать в отрыве от предыдущих произведений А. Ганиевой? Слишком уж тесно все три книги связаны между собой. Наверное, автору стоит подумать об издании всех трех под одной обложкой. Может быть, это побудит автора к новым идеям, освободит от бремени этого трехкнижия для новых книг и поворотов в ее таком неординарном творчестве.

*Уже в Новосибирске, написав этот текст, я показал отрывки из него Алисе. Трудно сказать, что он ей понравился. Во-первых, она отрицала свою причастность «новому реализму»: «Никогда не была его поборником (и если вступала в дискуссии об этом явлении, то исключительно с критических позиций)». Во-вторых, ее «весьма удивило» мое «заключение», что, «мол, “Жених и невеста” не читается в от-*

рыве от других моих текстов», ибо роман этот «самостоятельный» и «прекрасно читается без всяких объяснений и дополнений». В-третьих, с утверждением «слабая книга» о «Женихе и невесте» она не соглашалась: «Разве я презентовала бы слабую, на мой взгляд, книгу?» И, наконец, «вина в моих глазах, – пишет моя корреспондентка, – вам тоже почудилась, но вы, разумеется, имеете право на любые субъективные наблюдения». И в самом конце, уже на прощание, она сжалась, разрешая прочитать концовку романа как самоубийство Пати, чего писательница «даже не предполагала». И – ура! – она «рада, что у всех получаются разные прочтения, разные итоги. (Этого я и добивалась.)».

Алиса, начал я отвечать ей, подхватывая ее последнюю фразу, о том ведь и речь. Писатель не может знать, как отзовется его произведение (иначе это не произведение), каким его увидят со стороны. И должен, по-моему, только радоваться или хотя бы приветствовать иные точки зрения. Вы, Алиса, мог бы написать я в полемическом задоре, видимо, из тех авторов, кто настаивает на том, каким его произведение мнится только ему самому, иное – от лукавого. Или, как написал мне однажды известный литератор Д. Б., «вы увидели в моем романе то, чего в нем нет». Хотя аргументы были представлены веские. Как и те аргументы, которые я привел в пользу неореалистической подоплеку романов и повести Ганиевой, о котором она писала, наверное, и впрямь не являясь его «поборником». Но я ведь этого и не утверждал и не доказывал. Писал же о влиянии этого честного и мужественного литнаправления на ее собственную прозу, независимо от того, ругала Ганиева его или хвалила.

И способствовала этому влиянию ее принадлежность к Дагестану, ее людям, земле, «почве», о чем так хорошо написано в ее «Дагестанских очерках». Потому-то я и отталкивался от них в своих размышлениях, чтобы попытаться понять эту своеобразную прозу. А совсем не для категоричного: «“Жених и невеста” не читается в отрыве от других моих текстов». Упаси меня бог от такой однозначности! Читаются, конечно, читаются, но только «в собственном соку» этого романа, в его пределах. А вот глубинно, «почвенно» – только вместе с другими текстами. Совет опубликовать их одной книгой – только совет, а не директива. Только пожелание, чтобы выйти к новым горизонтам своего творчества, взойти на новые высоты, глядя вниз на уже покоренные.

Но ничего этого я Ганиевой тогда не написал. Вместо этого поблагодарил за отклик, за критику. «Видимо справедливую», – приписал я галантно, в знак благодарности за прочитанный ею мой текст, но не согласия. Написав далее: «Обычная деловая ситуация», т. е. обмен мнениями, не всегда обязательно совпадающими, я рассчитывал все-таки поспорить, но попозже. Ибо разлюбил запальчивость, мне не раз вредившую и письменные перепалки (заочно еще легче перейти границы, чем очно). И вот теперь отвечаю. Прочтет ли Алиса из Задагестанья, т. е. из Москвы, этот мой запоздалый ответ, не знаю. Но долг – перед собой и ее произведениями – я выполнил.

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

## УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Выпуск издания осуществлен  
при финансовой поддержке  
правительства  
Нижегородской области.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий  
и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Редакция не вступает в переписку.

Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. Ответственность  
за достоверность фактов несут авторы  
материалов. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов. При  
перепечатке материалов ссылка на  
журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 30.05.2016.

Выпущено в свет 20.06.2016.

Формат 70×108 1/16. Усл.-печ. л. 23,1

Тираж 1000 экз.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии «Растр»  
603024, Нижний Новгород,  
ул. Белинского, 61.